

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕЛЛА

2(14)2020

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 2 (14) 2020

**Нью-Йорк
2020**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2020 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ
Я позабыл, откуда пришел6

ЕФИМ ГАММЕР
Пришельцы выходного дня (окончание)51

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ
Покушение89

НИНА КОСМАН
Рассказы 118

ВЛАДИМИР МАТЛИН
По морям, по волнам 155

ЭЛЛА МИТИНА
Мечты сбываются 169

ДЖЕЙКОБ ЛЕВИН
Дом Катехуменов 188

ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ КОВСАН.....45

АЛЕКСЕЙ ГЛУХОВСКИЙ.....81

ДМИТРИЙ БЛИЗНЮК..... 141

СЕРГЕЙ ЯРОВОЙ 147

ЮРИЙ БЕРИЙ. 206

КРИТИКА

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

В защиту литературной диаспоры (ответ Дмитрию Быкову) 195

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ДАВИД ГАЙ

Третий путь. Был ли он у Пастернака? 214

ЮБИЛЕИ

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

«Величия замысла» Иосифа Бродского 228

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

РАИСА СИЛЬВЕР

Я помню 246

ЮРИЙ ОКУНЕВ

Причудливая судьба. 262

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

От оргазма до бессмертия. 288

Андрей ОБОЛЕНСКИЙ

Я ПОЗАБЫЛ, ОТКУДА ПРИШЕЛ...

Фрагменты романа

В новом романе московского писателя Андрея Оболенского, уже печатавшегося в нашем журнале, показана история жизни талантливого музыканта-самородка Анатолия Фролова. Действие разворачивается с середины шестидесятых годов прошлого века до первых лет века текущего.

В момент нашего знакомства с главным героем ему 17 лет. Отца он не знает, его мать умерла в родах, он воспитывается в семье дяди, профессора-медика, который по странному стечению обстоятельств становится личным врачом Хрущева.

Роман пронизан описаниями поисков героя в музыке. Но профессиональная музыкальная карьера его, как ни странно, не привлекает. Он поступает в институт иностранных языков, и тут начинаются неожиданности. Вроде бы случайные, но очень странные совпадения и неожиданные встречи с разными людьми, проявляющими интерес к Анатолию. Его направляют в Париж для участия в международном музыкальном студенческом конкурсе, проводимом в Сорбонне ежегодно. Дядя-профессор знакомит Анатолия с его отцом. Георгий Соковнин оказывается таинственной личностью, выходцем из разведки, имеющим огромное влияние в официальных кругах, координатором глобальной политики. Анатолий узнает, что такие люди существуют во многих странах и именно благодаря им мир не рухнул в двадцатом веке. Поездка на конкурс осуществляется по заданию всемогущего отца.

А дальше нас ждет невероятная раскрутка сюжета, возникают драматические ситуации, в том числе любовные, в которые попадает герой, вынужденный носить другое имя и свыкнуться с вымышленной биографией. И как мы догадываемся, всем этим незримо

и негласно руководит отец Анатолия, выбравший сыну необычную судьбу.

Санаторий оказался строгих правил. По дорожкам степенно гуляли разного возраста парочки, больше, конечно, пожилые. Парк выглядел чистым, вылизанным, вымуштрованный персонал всячески проявлял почтительность, все улыбались и не смели заговаривать с отдыхающими. Молодых людей я в первый день не встретил, оно и понятно – детишки высокопоставленных родителей отдыхали и оздоравливались в других местах.

Часть дня до обеда отводилась процедурам. Меня осмотрели полдюжины солидных докторов, все как на подбор мужчины с бородками клинышком, сделали какие-то таинственные обследования. Но болезней не обнаружилось, поэтому предложили только физиотерапию.

Все номера были одноместные, довольно скромные, но вполне удобные, с большим балконом. Имелся клуб и кинозал, а в нём стоял хороший рояль. Я сразу же пошёл к начальнику клуба (именно так называлась его должность) и попросил разрешения играть, когда никого нет. Начальник, пожилой ухоженный мужчина с грустными глазами, выслушал мою просьбу благосклонно.

– Конечно, в послеобеденный отдых и до киносеанса. Рояль недавно настроили. Вы музыкант?

– Не совсем...

– Как же это – не совсем? Я полагаю, что если человек хочет проводить за роялем несколько часов в день, то он уж точно музыкант.

– В этом смысле, – я улыбнулся, – вы правы.

Он цепко глянул на меня.

– А позволено ли мне будет узнать, юноша, так, из чистого любопытства, что привело вас к нам? Здесь нет ваших сверстников, боюсь, вы заскучаете...

– Не заскучаю. Мне интересно с самим собой.

– Вот как? Завидую. Сам я страшно боюсь одиночества. Оно приносит воспоминания и чувство ненужности в этом мире. Думаю, я сделал много такого, что под влиянием времени перешло в иные категории.

Я заинтересовался и присел на стул. Не увидел в этом печальном, но совсем не занудном мужчине желания просто потрепать. Скорее, он действительно страдал от одиночества и ему хотелось поделиться, а я никуда не спешил.

– Вы работали в органах? – решив не стесняться и уже зная ответ, спросил я его. А что, мне детей с ним не крестить.

– Вы проникательны, – он потёр пальцами виски. – Меня зовут Велимир, родители нарекли так странно в честь одного сумасшедшего поэта. Но мне долго пришлось носить другое имя. Будем знакомы, Анатолий. Мне приятно.

– А откуда...

– Не беспокойтесь. Я утром просматривал новые библиотечные карточки, их всего несколько, вот и увидел, что по возрасту подходит лишь один Анатолий Фролов. Между прочим, я не раз встречался с вашим дядей.

– Каким же образом?

– Его приглашают сюда на консультации. Ряд наших гостей высокого ранга предпочитает обследования здесь, а не в поликлинике на Сивцевом Вражке или на Грановского... ну вы понимаете, а медицинская база у нас и получше будет, чем в московских клиниках. Так вот, ваш дядя, бывая тут, заходит ко мне, чтобы я нашёл для него некоторые издания в нашей богатой библиотеке. Дело в том, что из неё со времён основания санатория в тридцатые не изъяли ни одной книги. Последний раз мы виделись совсем недавно, он интересовался историей создания «Повести о пережитом» Бориса Дьякова, книжка произвела на профессора большое впечатление, её издали в шестьдесят шестом, представьте! Но я разочаровал профессора, сказав, что Дьяков до лагеря сотрудничал с НКВД, а после реабилитации вернулся на службу. «Повесть о пережитом» написана по заказу и представляет собой низкопробный продукт политической борьбы внутри страны. Об этом известно немногим. Я находил Сергея Ивановичу и другие книги, в том числе для служебного пользования, доставляемые избранным лицам специальной рассылкой. Переводные по большей части.

– Но профессор никогда особо не интересовался новейшей историей, да и историей вообще...

– Вы ошибаетесь. Профессор Фролов – умнейший человек. А

умные люди не могут быть безразличны к прошлому. Оно во многих проявлениях замазано у нас чёрной краской, имеющей свойство в коротких вспышках салютов становиться прозрачной, проявляя общепринятые трактовки событий по-другому. Именно это интересно таким людям как профессор.

Я совершенно бесосновательно спроецировал сказанное на себя.

– А вот мне неинтересно, – мои слова прозвучали так, будто я защищался, наступая. – Что было, то прошло. И плохое, и хорошее. Надо жить настоящим.

– Соглашусь, – кивнул Велимир. – Но вы молоды, а что остаётся мне? Видите ли, Анатолий, тени тревожат. Не то, чтобы мальчики кровавые в глазах, но мне и теней достаточно. Когда знаешь *зачем*, невольно возникает *почему*.

– И почему же?

– Это непростой вопрос. Многие мои друзья... и бывшие недруги (таких, поверьте, масса) полагают, что в наших душах посеяли страх, который не вывести ничем. В тех временах было много мистики, я знал людей, воскресших через десятилетия после смерти. Они выглядели состарившимися, но это были именно они, странно, я лично присутствовал на их похоронах... или расстрелах. Напротив, были другие, тоже умершие, но они проживали долгую жизнь среди нас, вполне осязаемые. Встречался я и с никогда не жившими собственной жизнью, но весьма известными и славными своими делами. Наш вождь недаром учился в семинарии, это значит, что на йоту он был ближе к богу, чем большинство атеистов с рождения или ставших атеистами в одночасье. В некотором смысле он сам святой, но дарованные ему стигматы ложные... хотя, как знать...

– Велимир, вы не ответили на мой вопрос. Вы знаете *зачем*, но не говорите *почему*.

– Разве? Да я, Анатолий, только об этом и говорю. Но если вы хотите яснее, то страх здесь ни при чём. Если он и был, то совсем невеликий. Великим было чувство сопричастности, настолько великим, что никто и не думал, а к чему именно он сопричастен. Лозунги не в счёт. И сейчас я знаю множество почтенных людей, которые живут с загадочным выражением лица и одинаково не желают рассуждать о причинах и следствиях. Хотят унести в могилу свои тайны.

– Но это же и есть ввевшийся страх! Пропитавший и мозги, и душу, если она вообще существует.

– Существует, не сомневайтесь, – улыбнулся Велимир. – Но вот насчёт страха вы ошибаетесь. Это не он.

– Тогда что же?

– Та же сопричастность. К великому, к маскам великого – их бесчисленное множество. К чудовищному злу и абстрактному до-бру – тут тоже масок хватает. К исторической значимости эпох, к реальным личностям, событиям... Знаете ли, тяжело жить, ощущая себя молью. А умирать с такими ощущениями ещё тяжелее. Невыносимо. Выручает сопричастность.

– Я не понимаю.

– И не поймёте, да вам и не надо. Ничего подобного пережить не придётся, такие исторические эпизоды не повторяются. Ведь эпоха Сталина, в отличие от родственной эпохи Гитлера, венец последовательности событий, берущей начало в далёком прошлом. Природе или богу не под силу выстроить нечто даже отдалённо похожее во второй раз, тем более что мир сейчас куда цивилизованнее. Скоро всё забудется, впереди жизнь совсем другая, такая большая страна не может развиваться вовне.

– Вовне чего?

– Контекста развития мира. Оттепель – не более чем новогодняя хлопушка, рассыпавшая немного конфетти-иллюзий, но для нас и она хороша, глоток амброзии после длительного употребления ржавой воды. А что будет впоследствии – никому знать не дано, только даже вакуум рано или поздно переходит в иное качество.

Я честно обдумал сказанное Велимиром.

– Вы знаете, всё это пустые силлогизмы...

– Это вообще не силлогизмы, – мой собеседник снова улыбнулся. – Силлогизм подчиняется логике и имеет структуру, а то, о чём я рассказал вам, лишь размышления, основанные на опыте. И вывод весьма спорный. Но я уверен в том, что всё так и есть.

– Нет, – упрямо сказал я. – Это неинтересно. Я не любитель общих рассуждений. Будь на вашем месте убеждённый сталинист, да ещё интеллеktуал вроде вас, он как дважды два доказал бы мне, что всё делалось правильно, и Хрущёв, поднявший руку на святое, последняя сволочь.

– Он и есть последняя сволочь. Человек, долгие годы бывший рядом с гением, пусть и гением зла, неважно, исполнявший любые его прихоти. Шут. Да ещё предъявивший наше грязное бельё всему миру. Тут сопричастность усложнённая, она сочетается со сладостью мести. Отсюда и оттепель, ужасно глупый и пустой эпизод истории. Никита мстил Сталину, но вовсе и не думал о свободах, это легко понять, даже ретроспективно проглядев события. А сталинизм... что ж... он запрошен временем: если бы Сталин не появился, придумали кого-нибудь другого, дай бог, не худшего. Народ нуждался в этом. В сталинские времена не было честных людей, Анатолий, понимаете, не было. Во всей стране. И за её пределами не так уж много.

– А вы?

– А что я? Та самая моль, которой будет тяжело умирать.

Продолжать не стоило, разговор разливался, как река в паводок, чтобы летом обмелеть, открыв в нас то, что лучше не видеть. Но все-таки я не удержался и сказал:

– Велимир, я не вижу нечестности в том, чтобы настраивать себя под время. Его не победить, поэтому нет нужды и бороться. Жизнь одна.

– Вы разрешите? – Велимир вынул пачку «Шипки». – Настраивать себя под время... хорошо сказано. Не подстраиваться, *настраивать*. Если вы так мыслите, Анатолий, то скажу вам, что ваш дядя активно сотрудничал с органами многие годы, до середины пятидесятых, после – не могу знать. Вероятно, он поступал так по зову сердца, ведь он искренний и добрый человек.

Я не удивился, понимал, что ни одна большая карьера в те, да и в теперешние времена не имела перспектив сложиться без этого. Дядю, естественно, не спрашивал, а вот теперь нашёл подтверждение. Но я не видел в этом ничего подлого, да и вообще страшного, был убеждён, что хитрый дядюшка ни на кого не возводил напраслины, а уж что он там плёл своему куратору — вполне мог себе представить. И о чём говорить – тогда одна половина страны стучала на другую. Но всё же я спросил Велимира:

– Мы так недолго знакомы, а вы выдаёте мне тайны. Зачем? От скуки? Не верю. Люди вашей профессии не болтливы.

– А вы крепкий орешек, Анатолий. Другой на вашем месте...

– Все, даже самые свободные и даже сейчас живут в заданных обстоятельствах. А я вовсе не крепкий, просто убеждён, что дядя никогда не напишет доноса на невинного человека. Он как нечего делать заморочит голову любому из ваших, обернёт ситуацию себе на пользу. А что.... вы вербуете меня?

– Боже упаси, – Велимир с изумлением посмотрел мне в глаза, и я поверил ему. – Я давным-давно не у дел, скажу больше, не сел в тюрьму, а обрёл тёплое местечко вот тут по чистой случайности. Да и кому вы, уж простите, нужны.

– Тогда зачем это всё?

– Ну... вам так или иначе предстоит когда-нибудь узнать правду, если она вас и не волнует. Тогда узнайте её от случайного человека, которого больше никогда не встретите.

– У всех есть скелеты в шкафу, у некоторых и шкаф не один.

– И у вас?

Я задумался.

– Скелеты есть. Маленькие. Но нет шкафа. И я постараюсь никогда его не иметь. Чтобы не тревожили искушения заглянуть туда. Как тревожат вас.

Велимир серьёзно посмотрел на меня.

– Вы молоды, а с вами интересно говорить. Рассуждаете как со-рокалетний.

– Спасибо за комплимент, хотя он весьма сомнительный. – Я поднялся со стула. – И благодарю за разрешение пользоваться инструментом. Мне, знаете ли, без этого трудно.

* * *

Мы прошли в дядин кабинет, я заходил туда только с его разрешения, это была святая святых. Там писались статьи, витали тени великих врачей и молодых аспирантов, воспитанных дядюшкой и ставших профессорами... я невольно развеселился при мысли насчёт великих теней. Но разговор, судя по всему, предстоял нешуточный, и моё веселье, кажется, было неуместно.

В кабинете горела настольная лампа с зелёным абажуром, на письменном столе в живописном беспорядке лежали исписанные и исчёрканные листы бумаги. Спорить готов, чья-то диссертация... даже и докторская. Мне с моим раздолбайством это дело не светило.

Дядя прервал мои размышления, молча показав рукой на кресло. Я сел. Но дядя продолжал молчать, сурово глядя на портрет своего отца, моего дедушки, известного до семнадцатого года адвоката. Портрет, как гласило семейное предание, был написан любимым учеником самого Репина, в чём я лично сомневался.

– Выпить хочешь? – неожиданно спросил дядя. – Думаю, тебе будет полезно.

– Нет, – я разозлился. – Что ты темнишь и тянешь? Янку обидел, мог бы объяснить по-человечески и не при всех.

– Хорошо, – согласился дядя. – Хочешь всё сразу – получишь. Через несколько недель ты уезжаешь. На четыре месяца... как минимум.

– Интересно, куда? – моя злость усиливалась. – И что, я должен пропустить семестр в институте? Мне диплом писать.

– Ничего. Диплом не убежит. Ты едешь в Париж.

– Куда?!

– В Париж.

– Боже мой, зачем? И как...

– Не торопись, – дядя плеснул в стакан виски и выпил. – Видишь ли, в Сорбонне уже давно проводят международные студенческие музыкальные конкурсы. СССР никогда не участвовал в них, жёсткие условия... неприемлемые для нас, и вообще... Поэтому никого не посылали. А нужда пришла, намечается год русской культуры во Франции, визит нового президента в СССР – де Голлю, говорят, недолго править... короче, это политика. Ты пробудешь там... сколько потребуется, пройдёшь четыре тура и дождёшься результата, но главное, что поедешь не с делегацией, а один, ну как в командировку или на временную работу.

Я не поверил своим ушам. У меня закружилась от восторга голова и закололо сердце. Но я взял себя в руки.

– Дядя, налей виски. Маленький глоток.

– Ну вот, я же говорил, – довольно заметил профессор и плеснул в пузатый коньячный бокал немного «Jonnie Walker», а я залпом проглотил обжигающий напиток. Стало легче.

– Дядечка, дорогой, – я бросился обнимать его, – как же здорово, это моя мечта! Ты знаешь, я могу бродить по Парижу с закрытыми глазами, всё изучил по путеводителям Луизы, каждый дом знаю!

И ты книги привозил! Боже мой, как мне повезло! Вот если я выиграю этот конкурс...

Но дядя не слишком разделял мои восторги.

– Не знаю, – буркнул он. – Конечно, не каждому выпадает, но...

– Что – «но»?

– Это первая и совсем малая часть нашего разговора.

– Есть и вторая?

– Есть. Завтра я намерен познакомить тебя с твоим отцом.

– Как?! Но, дядя... это же... – мне показалось, что меня ударили по голове пыльным мешком. Я откинулся на спинку кресла, зажмурил глаза и замер, переваривая сказанное. Зачем, почему именно сейчас... и что вообще происходит... отец... – я знал, что когда-то мне это предстоит, относился к факту спокойно, но сейчас, завтра!.. Неожиданности, тем более такие, до сих пор обходили меня стороной, и вот пожалуйста... Клубок, который я намеревался распутать и не удосужился даже начать, скрутился так плотно, что достиг тяжести каучукового мяча и больно стукнул по голове. Всё сошлось воедино, и удар оказался оглушающим. Париж ещё, конкурс этот... Сам виноват, надо было распутывать, пытаться по крайней мере.

Очнулся я оттого, что явно испуганный дядя тряс меня за плечо, поднося к моему рту всё тот же стакан с «Jonnie Walker».

– Выпей, – как сквозь вату услышал я его голос. – Я ведь тебя предупреждал...

Несмотря на то, что я впервые в жизни испытал подобный шок, мне хватило сил открыть глаза и приподняться с кресла. Дядино лицо и предметы в комнате прекратили кружение, и я почувствовал себя в своей собственной тарелке.

– Дядя, виски хватит, – я встал с кресла, а профессор, напротив, рухнул в своё, расплескав благородный напиток. – Мне значительно лучше. Ты прав, наш разговор, видимо, будет долгим.

– Слава богу... — пробормотал дядя. – Я всегда говорил, что в таких делах надо рубить сплеча, если растягивать, будет только хуже.

– Ничего, сплеча так сплеча, – сказал я, окончательно придя в себя и немного усвоив сказанное. – Ты профессор, да ещё академик, тебе видней, как лучше огорошивать людей до потери сознания... одновременно признаваясь во лжи... во вранье, чего уж там.

– Послушай, Толик...

– Нет, ты меня послушай! Это неслыханно – всю жизнь врать мне, а в один прекрасный момент ни с того, ни сего... Почему именно сегодня?

Но дядюшка тоже пришёл в себя.

– Сядь, – твёрдо сказал он, – и выслушай меня! Не надо обличений. Ты же не думаешь, что я сделал это просто так, безосновательно?

– И то верно... Ты никогда не был жестоким шутником. Ну, рассказывай.

– Толик, когда ты пристал ко мне так, что я не мог больше молчать... помнишь? – появилась необходимость отбить у тебя охоту задавать вопросы, касающиеся твоих родителей. Пока не придёт время. Оно пришло. Я был груб с тобой и... немного несправедлив к твоей матери и своей сестре... Прости меня.

– Что за перелом наступил? Дядя, ты ведь отлично знаешь, я не особо-то интересовался своими родителями – у меня есть ты и тётя, вы мои настоящие родители, но, согласишься...

– Согласен. Ты едешь в Париж, и вовсе не как турист. Один. Я сам езжу за границу с делегациями, в которых половина гэбни. Вторая половина – примазавшиеся партийные, всякая шушера, кто хочет... как это?.. на халяву съездить в загранку и прикупить тряпок. Ты должен понимать, что твоя поездка – нечто невероятное...

– Ну... в общем, понимаю. Так действительно не бывает.

– Это устроил твой отец. Он – человек в чёрном, которого ты видел в кабинете жюри, когда тебя пригласила туда Мария.

– Мария... Ах дядя, дядя...

– Да, я знаю всё, что касается тебя. Почти всё.

– Ладно, проехали. Расскажи, кто мой отец. Это пока интереснее Парижа.

– Пока? Ах, Анатолий, какой ты... холодный человек. Но это мне всегда нравилось. Я старался культивировать в тебе холодность и научить иронии.

– Зачем?

– Ты неординарен. Если не будешь холоден и ироничен, пропадёшь.

– Дядя, это вопрос терминологии – холодный, горячий, скользкий, глупый, мокрый... Рассказывай об отце.

Профессор замялся.

– Понимаешь, я и сам мало знаю о нём... а остальные не знают вообще ничего. Он человек-тень, у него тысяча лиц, они меняются так, что не уследишь когда...

– Ну да, конечно, – перебил я. – Для полной таинственности не хватает слов о том, что он работает в органах, а где ж ему работать, и жутко засекречен. Всегда, так сказать, на страже.

– Оставь теперь свою иронию, прошу. Я расскажу тебе всё, что мне известно, честное слово. Ты бы выслушал меня, – тон дяди вдруг стал заискивающим, неуверенным, казалось, он, огорошив, пытался исправиться, к тому же боясь чего-то. – Ты бы выслушал, а уж выводы делал бы сам...

– Хорошо, – я удивился: дядя никогда не говорил со мной так, я понял, что ему сейчас тоже нелегко и одёрнул себя. – Хорошо. Я слушаю. Прости.

– Твой отец, – начал дядя, нервно потирая затылок, будто у него от давления болела голова, – работает не в органах. Он находится неизмеримо выше их. И не только их... твой отец стоит даже над партией, он вне дутой идеологии, чужих шкурных интересов, интриг...

– Как это?

– Ты выслушай... Он на пять лет старше меня. Мальчишкой его взяли из провинциального детдома и поместили в специальную школу при ВЧК, которую он окончил экстерном за четыре месяца. НКВД, разведка, а дальше он не рассказывал. Понимаешь, твой отец с начала тридцатых был человеком, работающим вне зависимости от симпатий и антипатий тех, кто на вершине. Он никогда не имел званий и должностей, но он носитель высших тайн, ему известно о стране всё, и то, что навеки останется в глубинах секретных архивов или вообще не имеет документальных подтверждений. Его не заменить, это повлечёт не только крах всей системы безопасности, но и вытащит из небытия такие тайны, которые поставят с ног на голову всю историю шести десятилетий века, а существующую модель мироустройства с треском разрушат. С конца двадцатых твой отец создавал кумиров сообразно политической ситуации в мире

и в стране, создавал так, чтобы обойтись минимальной кровью в злой и непредсказуемой политике. Такие люди всегда были и есть во многих странах, но никто о них ничего не знает. Именно они творили историю, их дело переходило к их ученикам, они – совершенно закрытая каста, но, увы, мне об этом неизвестно, лишь догадки. Но штука в том, что твой отец... гений.

– Дядя, ты же не любишь таких слов. Гений... Почему?

– Потому что мир, в котором мы живём, не лучший из возможных, но вполне приемлем. А мог быть совсем другим. Или не быть вообще. И этим мы обязаны не просто череде случайных событий.

– Не верю. Такие люди долго не живут.

– Ещё как живут. Они вечны. Но нам о них ничего не известно. Твой отец ни перед кем не отчитывается, у него множество подчинённых во всех концах света, он координатор, принимающий решения. Ну... вроде масонов, чьё могущество, конечно же, легенда. Он делает политику, нашу – полностью, мировую – частью, договариваясь с такими же серыми кардиналами в других странах... ты же понимаешь, что понятие «серый кардинал» я употребляю из-за отсутствия точного определения. Но всё это малая часть айсберга, то, что он сам рассказал мне. Я не обижаюсь, он не имеет права вдаваться в подробности.

— Да... По нему и не скажешь, – я вспомнил неброского человека в чёрном костюме. – Как хоть его зовут?

– Георгий Александрович Соковнин. Он мне известен под этим именем с того дня, когда тебя забирали из роддома Грауэрмана. Его роман с твоей матерью был короток. Но про неё ты должен узнать от него, не от меня. Я долго врал тебе... вынужденно, но это не оправдание.

– Хорошо, – я вполне обрёл обычную уверенность... или *холодность*, о которой, не знаю, справедливо ли, сказал дядя. – Я увижу его завтра?

– Да. Он будет ждать нас в одиннадцать. Квартира на Плющихе. Я вызову такси.

– Но дядя... я должен быть готов... Ты рассказал так мало, а я и этого не переварил.

– Что добавить... Думаю, тебе надо составить собственное мнение... на своих догадках, как пришло и мне. Только на догад-

ках, по-другому никак. Насколько могу судить, твой отец не предан ни идее, ни родине, ни личностям, для него нет авторитетов. Он делает работу, назначенную ему временем. Его не интересуют власть, деньги, женщины. Он живёт много выше, где иные понятия и стремления. Но я не могу точно знать это, вполне возможно, что он человек одержимый, расшибающийся в лепёшку, чтобы мир не рухнул в тартарары, положивший на это свою жизнь, которая абсолютно уродлива с нашей точки восприятия, лишена обычных человеческих радостей и весьма аскетична. Он – механизм, машина, автомат... Я сказал, что он гений, так и есть. Но психика подобной личности всегда повреждена, именно это меня и пугает. Впрочем, разговор о сумасшедших и гениях неинтересен, такие рассуждения давно набили оскомину и ничего нового из них не извлечь. Так оставим это... я, клянусь, рассказал тебе всё, что знаю о нём, вернее, о чём пытаюсь догадываться. И прошу... сдерживайся. Я не представляю, как ты поведёшь себя. Импровизатор...

Всю ночь я не спал. Потому что не знал, как относиться к услышанному от дяди. Я впервые за много лет думал о матери, о таинственном отце, возникшем из прошлого и не имеющем места в моём будущем... да, именно так я и полагал, потому что человек из прошлого не может быть родным. Для этого нужно быть человеком из настоящего. Я думал и думал. Ещё и о том, что всю мою жизнь близкие или должны быть мне близкими люди вели вокруг меня игру, использовали втёмную, а кому это приятно, скажите? В голове царил полный кавардак, я то приходил в бешенство, то успокаивался привычной мыслью о том, что всё образуется и начнётся новая, не знаю, дурная или чудесная жизнь. Лишь под утро успокоился на том, что для меня, собственно, ничего не меняется. Ведь моя дорога та же, если не вмоготу станет, то плюнуть и забыть, потому что чужой человек в чёрном никогда не будет мне отцом. Мой отец – профессор, милый, иногда смешной, иногда жёсткий – разный, а моя мама – тётя Марина, вечно хранящая меня, в отличие от той женщины, что умерла, выкинув одного в этот мир, чью судьбу вершим не мы с профессором, а человек в чёрном. Под утро пришли мысли о поездке в Париж, я задремал, великий город летал надо мной чудесными туманными картинками, и я уже видел себя *врисованным* в них, от этого становилось легко и весело. В моём сне.

В десять постучал дядя. Завтрак был уже готов, никто не произнёс ни слова, я подумал о том, известно ли что-нибудь тётке Марине, понял, что известно, посмотрев на неё: она сидела в напряжённой позе с непроницаемым лицом.

Мы приехали на Плющиху без десяти одиннадцать. Шофёр остановил машину у подъезда большого старого дома с массивными дубовыми дверями, бывшего доходного. Нас уже ждали: невысокий лысоватый человек встретил на улице, произнёс «здравия желаю, товарищи» и пригласил следовать за собой. Мы поднялись на третий этаж в скрипучем старинном лифте с раздвижной решеткой, закрывающейся гармошкой, наш сопровождающий открыл обитую дерматином дверь и жестом пригласил в гостиную.

– Прошу садиться. Товарищ Соковнин прибудет через четыре минуты, – сказал он и исчез за занавеской, скрывавшей выход в смежную комнату.

Я огляделся. Гостиная казалась большой и своеобразно обставленной: старинная хрустальная люстра над круглым столом, накрытым бархатной скатертью, в двух углах — журнальные столики с мягкими креслами рядом. Одна стена сверху донизу занята книжными полками, другая — полностью задрапирована плотной зелёной занавесью, как и окна. Комнату освещали несколько красивых торшеров, дневной свет в неё не проникал. Да, книги разного калибра, стоящие вдоль стен высокими стопками.

– Дядя, интересная комната, да? – спросил я и удивился, что произнесённые громко слова показались мне шёпотом, утонув в плотной ткани портьер. – Ты был здесь?

– Нет, – кратко ответил дядя. – Думаю, это квартира для важных встреч. Смотри, сколько бутылок и бокалов в баре. Георгий один раз приглашал меня в особняк на Варварке, но там слишком роскошно. Это не его стиль. Он живёт в других местах. Везде. Или нигде.

Дядя произнёс последние слова со страхом, как будто попал на Страшный Суд и готовился предстать перед Господом. Я возмутился.

– Дядя, что с тобой? – я заговорил совсем уж громко, расправляясь, но мой голос всё равно казался шёпотом, терялся. – Ты известный на всю страну врач, лечил вождя, проректор, член всяких там европейских академий, а превращаешься в школьника, которо-

го могут наказать за двойку. Что, расстреляет тебя мой папаша? А я вообще плевать на него хотел, вместе с Сорбонной и конкурсом! Меня вырастил ты, а не этот доморощенный отец Жозеф!

Дядя опустил голову.

– Прости, Толенька, – тихо сказал он. – Знаешь, есть такая болезнь, названа именем открывателя Алоиса Альцгеймера. Это когда человек забывает то, о чём говорил минутой раньше, что видел и где был недавно. Вот и мне в присутствии Георгия кажется, что не помню, о чём шла речь пять минут назад. Наваждение проходит, появляется снова. Это потому, что мне не надо помнить, он помнит всё за меня, становится мной, а я растворяюсь, исчезаю...

– Бред! – моё возмущение достигло предела. – Что вообще за дела? Я ни разу тебя в таком разобранном состоянии не видел.

– Если б ты знал то, чего никогда не узнаешь, не удивлялся бы... Но об этом потом. Вот сейчас он войдёт...

Дядя угадал. Дверь скрипнула, и в комнате возник, да, именно *возник* тот самый человек в чёрном. На этот раз он был весь в светлом – летние туфли, чесучовые брюки, белый пиджак. Только длинные волосы остались тёмными, они чуть не доставали до плеч – как я тогда не заметил? И лицо его показалось другим, чем при первом свидании.

Я нарочно остался сидеть, дядя же бодренько поднялся с кресла.

– Здравствуй, Георгий, – он шагнул навстречу и протянул руку.

– Здравствуй, Сергей, – приятным баритоном проговорил мой новообретённый папенька и крепко пожал дяде руку. – Здравствуй, сын, – он двинулся к моему креслу. Приблизился. Мне пришлось подняться. Он попытался обнять меня, но я исхитрился шагнуть вбок, потому что позади стояло кресло. Таким образом смог избежать объятия. Он сохранил спокойствие, сделал шаг назад и протянул руку. Ладонь была прохладной и сильной, я вдруг почувствовал, что моя злость проходит, попытался удержать её, удалось – авось пригодится.

– Садитесь, друзья, – баритон стал бархатным до невозможности. – Сейчас принесут напитки, – он взял со стола приличных размеров колокольчик, оставшийся мной незамеченным, позвонил.

«Дворянин, чёрт тебя возьми! – возмутился я про себя. – Пижонит как дешёвка какая. Папенька...»

Уже знакомый лысоватый человек неслышно появился из-за портьеры, катя сервировочный столик с соками, вином и коньяком. Сразу исчез.

– Ну что же, – начал отец. – Вот мы, наконец, и встретились. Я многое знаю о тебе, сын...

– Послушайте, – мой голос задрожал от злости, действительно пригрозившейся. – Не называйте меня сыном. Сыночком и сынулей тоже не надо. Зовите по имени, пожалуйста.

– Хорошо, – в его голосе прозвучал интерес. – Ну а что же, ты не станешь называть меня отцом?

– Папенькой могу, – саркастически ответил я. – А если серьёзно, не стану. Дядя Георгий – это максимум, на что вы можете рассчитывать. Мой отец – вот, – я указал на дядю, делавшего мне страшные глаза. – Вы всерьёз думаете, что, однажды взяв слюнявого младенца на руки возле роддома, позволено исчезнуть больше чем на двадцать лет, появиться как чёрт из табакерки и слышать от взрослого человека слово «отец»?! Много чести!

– Это не так, – интерес в голосе исчез. – Я постоянно наблюдал за тобой и, смею надеяться, сделал для тебя немало. Но ведь и ты, насколько мне известно, не слишком интересовался моей персоной.

Что ж, упрёк справедлив, однако я продолжал, нужная в тот момент злость задержалась.

– Вы правы, но это не я родил вас, а ровно наоборот. Кстати, вы всегда так контрастны? То в чёрном, то в белом. Полутона не любите?

– Как и ты, – он усмехнулся. – У нас будет достаточно времени понять друг друга. Ты можешь пока называть меня так, как считаешь нужным, а я пойду навстречу твоему пожеланию. Сейчас скажу одно, Толя. Я с радостью нянчил бы тебя, был бы всегда рядом, стал бы любящим отцом, но я не мог, пойми, не мог, а ведь не было дня, чтобы я не думал о тебе. В сущности, я всегда был поблизости, только ты не знал об этом. А твоя мама... Она выполнила своё предназначение, я сожалею о её смерти, но если бы этого не случилось, твоя жизнь не была бы другой, потому что ты мой сын, а не её. Есть проклятие, данное мне при рождении: мучительно понимать, что

можешь всё, а главное – вне твоих возможностей. Главное – это ты, Толя. А не твоя мать.

И я вдруг странной вспышкой внутри себя поверил ему; сказанные слова были просты, но потрясающе искренни, честны и неприкрыто горьки. Я будто кожей ощутил его страдание, но изменить себе не собирался.

– Хорошо, дядя Георгий, – я вытер о брюки вспотевшие ладони. – Простите мою резкость. Я понимаю. Но и меня понять можно.

– Да, конечно, – быстро ответил он. – Столько всего за пару дней... Но вернёмся к этому позже. Профессор, ты что молчишь? Прав был, встреча нелёгкая.

– Да уж, – пробормотал дядя. – Толик у нас правдоруб, условности – не его стихия. Налей, что ли, коньячку, Георгий... Думаете, легко было вас слушать?

– Нелегко, – согласился отец, по-русски разливая коньяк в чайные стаканы. – Но сын простит блудного отца, пока дядю Георгия, а ты... для тебя ничего не изменится. Мне оставаться блудным, тебе – настоящим.

– Истину говорите, – встрял я, глотнув коньяку. – Но кто знает, что будет дальше...

– Я знаю, – спокойно сказал папенька. – Ты поедешь в Париж, затем – как карта ляжет. Но знаю ещё и то, что ляжет она как надо.

– Сплошные загадки...

– Ничего похожего. Всё в наших руках. Ты отправляйся сейчас к Яне, а мы с профессором малость попьанствуем. А завтра жду тебя здесь в полдень. Нам надо многое обсудить. Надеюсь, ты к тому времени окончательно остынешь и поймёшь, что я не посягаю на твою самостоятельность, наоборот, восхищаюсь ею, – кажется, он не врал.

Я посмотрел ему в лицо. Увидел в нём себя. Именно этого мне хотелось меньше всего.

На следующий день ровно в одиннадцать я уже стоял у знакомого подъезда. Дядя с тётей провожали меня как на войну, я очень удивился, случайно заметив, что дядя мелко перекрестил меня, тут же отвернувшись и сделав вид, что этого не было.

Ждать не пришлось. Вчерашний лысоватый коротышка встре-

тил меня внизу и проводил в уже известную квартиру, ровно как и в прошлый раз, сказав, что товарищ Соковнин через несколько минут прибудет. После чего исчез в прежнем направлении.

Товарищ Соковнин и прибыл через несколько минут, без единого шороха материализовавшись в комнате. Молча подошёл, протянул руку, жестом пригласил садиться.

Он молчал, а я думал о том, что он вчера сказал мне, и сегодня злости не было. Наконец, он заговорил, весомо и серьёзно:

– Анатолий, я просил бы тебя отбросить эмоции, которые вызвали вчера, и поговорить о том, что важно сейчас. Твоя поездка...

– Нет, дядя Георгий. Завершим сперва вчерашний разговор. Моя поездка, судя по всему, никуда не денется, а я должен всё понять для себя. Дядя, кажется, испытывает перед вами какой-то мистический страх. Я ничего подобного не испытываю, поэтому наговорил чёрт знает что. Хочу попросить за это прощения. Я не могу ни в чём обвинять вас, потому что ничего не знаю. – От собственной тирады, произнесённой без единой запинки, мне стало неловко, она прозвучала слишком сухо. Ну а почему нет? Обойдётся папенька пока без нежностей.

Отец задумчиво посмотрел на меня.

– Я не виноват перед тобой, Толя. Так сложились обстоятельства. Я делал... и делаю всё что могу. И прошу тебя, оставь свой холодный и официальный тон, ты говоришь... как на комсомольском собрании.

– Нет, – я усмехнулся, – если и появлюсь там случайно, то молчу, и меня за это ни разу не пропесочили. Уж не вы ли постарались?

– Что ты! – притворно удивился он. – Ни сном ни духом. Наоборот, Яне всегда намекали, чтобы она активнее вовлекала тебя в общественную работу. Но она почему-то не понимает намёков, касающихся твоей персоны.

И мы одновременно рассмеялись, гроза, висевшая в воздухе, унеслась и пропала в бесчисленных книжных полках и плотной ткани портьер.

– Значит... мир? – улыбаясь, спросил отец.

– Мир, – ответил я. На душе полегчало. Я вдруг поверил, что этот человек желает мне добра ещё больше, чем дядя и тётя, потому что знает, как это добро сделать.

– Надеюсь, он перерастёт в дружбу, а там посмотрим. Мы всё-таки похожи.

– Не знаю... – с сомнением ответил я. – Хочется надеяться.

– Но хватит сантиментов, – отец посерьёзней. – Времени мало, а я должен сказать тебе важные вещи. Слушай и воздержись от вопросов. Я всё равно не смогу честно ответить на них.

– Да... дядя Георгий.

– Не буду говорить о характеристиках, утверждениях в райкоме, об инструктаже в КГБ – это ерунда и пройденный этап, тебя давно утвердили и всё разрешили. Документы, паспорт, выездную визу подготовят, с тобой проведут много бесед о том, как вести себя там. Ничего с собой не бери, твой багаж полетит отдельно, получишь в Орли. В чемодане будет хорошая одежда, в нём же и деньги.

– Деньги?

– Ты же не собираешься жить на сто тридцать франков в день? Это так называемые суточные – на пропитание. Ты сын академика, – он снова улыбнулся, а я почувствовал благодарность за эти слова. – Но это детали, если понадобится стратегический запас, получишь уже в Париже. Я хочу поговорить с тобой о другом...

– Я весь внимание... дядя Георгий, – меня прямо-таки подмывало назвать его отцом: бог знает, какая сила заключалась в этом человеке, гипнозом он, что ли, владел, но загипнотизировать меня было нелегко даже ему.

– Как только ты прилетишь, с тобой будут контактировать люди из Конторы. Просто по долгу службы. Они постараются как-то тебя использовать: человек, едущий один и на столь долгий срок, им интересен, это и впрямь редкость. Здесь ты никогда не попадал в поле их зрения, мы и проверять не стали, так знаю. Но там...

– Меня что, будут вербовать? – я, как ни старался, не мог поверить в это. Сказанное слово было отвратительно, прозвучало совсем иначе, чем в барвихинском разговоре с Велимиром.

– Будут.

– Зачем же?

– Чтобы использовать тебя в дальнейшем, возможно, спустя много лет. В нужной им игре, пешкой или ферзем, как сложится, «замороженных» агентов не счесть. Поэтому на контакт не иди, прикидывайся недоумком, тяни резину, торгуйся. А главное, ниче-

го не подписывай. Помучают и отстанут, напишут рапорт, что для разовых агентурных поручений ты неперспективен. Но помни две вещи. Первое. Ты никогда и нигде не должен упоминать обо мне, ни из хвастовства, ни выпивши, ни случайно. Этим ты можешь создать большие трудности не мне, но многим людям, которые, сами того не зная, работают на меня. Второе. Всегда помни, что мои возможности безграничны, и я смогу помочь в любой ситуации, даже самой тяжёлой. У тебя будет номер телефона, по которому ты всегда можешь позвонить, и для тебя сделают всё мыслимое и немыслимое. Если встретишь там своих знакомцев, не удивляйся. Веди с ними себя так, как вёл бы здесь. Хотя этого может и не произойти. Не забудь взять с собой письмо Марии Иосифовны. Это важно.

– Неужели простая поездка для участия в конкурсе требует такой подготовки?

– Она не простая. В ней твоё будущее.

– Это почему же?

– Тебе пока знать не надо. И ты обещал не задавать вопросов. Придумай программу на каждый тур, занимайся музыкой, встречайся с Яной, чаще бывай у дяди с тётёй, ты их что-то совсем забросил, предвкушай парижские радости, это славный город. Ты сможешь, если захочешь, съездить на Луару посмотреть замки. А страхи советского человека из тебя вытащат, этим займутся опытные люди. Но у тебя этих страхов и нет. Интеллект – не совокупность знаний, это умение ориентироваться в чужеродном и незнакомом пространстве. У тебя проблем не возникнет.

– Хорошо. А вы расскажете мне о маме?

– Нет. Учитывая мои собственные впечатления о тебе, я не могу знать, как ты отнесёшься к моему рассказу, и рисковать не буду. Потому что хочу, чтобы мы стали близки... насколько это получится. Кроме того, я предполагаю, что твоя мать и история наших с ней отношений интересна тебе куда меньше, чем я сам.

– Ваши предположения всегда верны?

– Всегда. Но ты должен понять, что в сложившейся за многие годы сложной схеме места для твоей матери нет. Она – прошлое, её заслуга только в том, что она произвела тебя на свет. Я говорю так откровенно, потому что *предполагаю*, – он усмехнулся, – что тебе это безразлично.

Да, дядя Георгий – или всё же *отец*? – не ошибался в предположениях. И своей вины я в этом не видел. Так сложилось. Я *обязан* был интересоваться матерью, но тогда бы мне пришлось притворяться и выслушать много неинтересного, выдавливать из себя слезу, поддакивать, сокрушаться. Для чего? И отец это понимал.

– Вы предполагаете правильно, дядя Георгий, – что оставалось сказать мне. – Я спрошу вас об этом ещё раз, если почувствую острую необходимость. Но она вряд ли возникнет. Дядя сказал недавно, что я холодный. Он, наверное, прав.

– Прав. Но мне пора, Толя. Я позвоню тебе на этой неделе. На том мы и расстались.

* * *

Утром я проснулся с головной болью, чему имелись все причины. Хотел проваляться в номере до обеда, но пересилил себя и даже сделал зарядку, с неожиданной ностальгией вспомнив учителя физкультуры в деревенской школе и смешные плакаты в спортзале. Приготовился выдвинуться на осмотр башни инженера Эйфеля, не особо интересовавшей меня, но нельзя же пренебрегать традициями. Но тут позвонили с ресепшен и сказали, что некий месье Рюэль из иммиграционной службы просит разрешения подняться ко мне для уточнения небольших формальностей. Это показалось странным: за оформлением всех бумаг следили не мальчишки. И почему из иммиграционной?

Месье Рюэль не заставил себя ждать и появился через три минуты. Он оказался человеком среднего роста, невыразительной внешности, одетым в хорошо сидящий костюм и дорогие ботинки.

– Что вам угодно, месье? – я посмотрел на него через плечо, запихивая грязную рубашку в мешок для стирки.

Вместо ответа месье без спроса брякнулся в кресло, нахально развалившись в нём, и беспардонно, в упор стал рассматривать меня. Пауза затянулась.

– Что вам нужно? – теряя терпение, я повторил вопрос уже без церемоний. – Имейте в виду, что мои документы в полном порядке, а если вы из полиции, я с удовольствием побеседую с вами, но только в присутствии представителя советского посольства.

К моему величайшему изумлению он заговорил на чистейшем русском языке.

– Вас зовут Анатолий Фролов. – Он сделал паузу. – И вы недавно прибыли из Москвы на конкурс студенческого творчества. Так?

– Oui... то есть... да, – ответил я, ощутив, что похмельная головная боль вернулась.

– Вы комсомолец, Фролов, – почему-то с лёгкой укоризной произнёс он.

– Разумеется...

– Меня зовут Алексей Матвеевич. Поскольку, согласно условиям конкурса, вы прибыли в Париж в одиночестве, мне поручено оказывать вам содействие в незнакомой стране. Да. Советский человек должен гордо нести своё звание, и я здесь для того, чтобы с вами не произошло недоразумений. Да.

Пока он говорил, я успел прийти в себя.

– Какого рода недоразумения вы имеете в виду, Алексей Матвеевич? Я, знаете ли, комсорг курса... Да.

– Дуру мне тут не гони. Никакой ты не комсорг, а рядовой студент. Кроме того, учти, что ссылки на авторитет твоего дяди не помогут.

Если я и хотел сослаться на кого-то, то уж не на дядюшку и его авторитет. Я помнил, что в бумажнике у меня лежит визитная карточка без имени и фамилии, лишь с одним французским номером телефона. Ещё лучше я помнил, что в нём три последние цифры неверны, а правильный номер меня заставляли повторять несчётное число раз. Это придало мне сил, и я нахрапом пошёл вперёд:

– При чём здесь мой дядя? Он известный и уважаемый человек... со связями. Да. И вообще, я не знаю, кто вы такой. Скажем, бандит или вымогатель... из русских эмигрантов. Покажите-ка документы, а то я вызову полицию.

Мой собеседник рассмеялся.

– Не строй из себя идиота. Ты прекрасно понимаешь, где я работаю, и сделаешь всё, что я скажу. Да. Если не хочешь неприятностей на родине. И здесь тоже. Итак?

Вспомнив указания отца, я буркнул нечто утвердительное.

– Ну вот, уже лучше. Но сначала подпиши-ка эту бумажку, – он вынул из папки заранее заготовленный лист с каким-то текстом.

– Нет уж, дудки! – очень натурально возмутился я. – Ничего

подписывать не собираюсь. Вы что думаете, я буду работать задарма? Я учусь на последнем курсе, мне не переводчиком в «Интурист» хочется, а, например, в аспирантуру. Все подписи потом.

Алексей Матвеевич несколько опешил от моего нахальства, но листок, подумав, убрал в папку.

– Хрен с тобой, – буркнул он, – всё равно никуда не денешься. А ты нахал...

– С волками жить... – парировал я, ощущая всеми фибрами души незримое присутствие отца где-то близко, может быть и в комнате.

– Не хами, – равнодушно ответил Алексей Матвеевич. – Мне твои подписи не нужны, но порядок есть порядок, с меня тоже спрашивают. А для тебя имею сюрприз, перед которым ты не устоишь... и станешь как шёлковый. Да.

– Врёте вы всё, – надо было переть напролом, дабы прояснить обстановку и понять, как действовать. Мне казалось, что использовать волшебный номер телефона рано, события, собственно говоря, развивались так, как сказал отец. – У вас на меня ничего нет, – я повторил фразу отца, она и в голову не пришла бы мне. – И вообще, зачем такие грубости? Подход нужен, а вы работаете... как младший лейтенант из наружки, – терминологии меня вскользь поучил кто-то из наставников.

– Ты что, дурак? – поинтересовался Алексей Матвеевич. – Так разговаривать с офицером КГБ глупо. Ты один. Если что, кто тебе поможет? Я. Веди себя прилично, и помогу. Да.

– Ага, в Конторе прямо одни альтруисты сидят. Вы не добрый дядя, а я не старушка, умоляющая перевести её через улицу.

– Верно, – он задумчиво посмотрел на меня. – Но вот я покажу тебе сейчас одну фотографию, и всё встанет на свои места. Запомни сразу, что твоя кличка, выражаясь культурно, псевдоним... отныне «Лабух», на «Пианиста» не тянешь. Так будешь подписывать мне докладные — говорю же, и с нас требуют отчёта.

Вот тут я разозлился до белой пелены перед глазами.

– А не пойти ли вам своей дорогой, милейший Алексей Матвеевич, – змеиным голосом проговорил я, уже готовый сказать, что есть люди, которые уж постараются, чтобы его разжаловали в лейтенанты. Но отец умел внушать, и я сдержался.

– Не хами, – так же равнодушно повторил он. – Достукаешься. Но не буду затягивать. Вот, посмотри-ка сюда.

Он вынул из нагрудного кармана небольшое фото и, держа всеми пальцами, как удостоверение, поднёс близко к моему лицу. И тут до меня дошло, что моё парижское турне, кажется, подходит к концу.

На фотографии во всей красе был изображён мой друг Андрей Улицкий, он улыбался с глянцевого прямоугольника и будто хотел что-то сказать. Во всяком случае, мне это почудилось.

– Узнаешь?

– Д-да-а...

– Ну вот, а то быстрее, грубишь, полицией угрожаешь. Негоже так комсомольцу. Партия сказала надо, комсомол – сам знаешь, что ответил. Но я не люблю насилия, хочу, чтобы всегда было по душевной склонности или по простому согласию. Как с бабой. Без непоняток проще работать. Поэтому кое-что объясню тебе. На обмылка с фотографии я плевать хотел, он мне не указ. Вот удивляюсь только, как ты, сопляк, сумел ему так нагадить, что даже батя его освирепел до неприличности. Он большой у нас чин и лично приказал мне конкретно поработать с тобой. Для чего? – с наслаждением глядя на меня, продолжил он. – А во-первых, чтобы гонор твой сбить и показать, что вошь ты есть мелкая. Во-вторых, пользы дела для: тебе пребывать здесь четыре месяца или дольше, эмигрантов тут куча, доступ не ко всем есть, а тебе войти к ним в доверие – как два пальца обоссать. Так что будешь стучать на кого укажу, набирайся вдохновения, а радость сама придёт. Со временем. Да. Но дней пять на раздумье дам, спешить некуда – ох, чувствую, знакомство наше долгое... Почеши репу, что и как. Я сам тебя найду, когда срок выйдет. А там уже поговорим предметно. И никаких фортелей, уж будь добр. Если что, тебя через всю Европу в автомобильном багажнике провезут и на родину доставят. А там разговор другой состоится. Уяснил?

– Да...

– Тогда будь здоров.

* * *

Даниэль встретил меня улыбкой, сказал, что сегодня по городу кататься не будем, а поедем прямо в Бельвиль. Всю дорогу я дремал, в моих полуснах летала Софи, улыбалась, игриво грозя

пальцем, но возникала и печальная Янка, шептала мне что-то, я не понимал.

– Приехали, – Даниэль потряс меня за плечо. – Разговор у тебя серьёзный будет, соберись.

Николай действительно был серьёзен. Пожал руку, пригласил в комнату, сел в кресло напротив меня. Я собрался, как было указано, и приготовился внимательно слушать.

– К тебе приходил он? – Николай достал небольшую фотографию и показал мне. Я кивнул, – Алексей Матвеевич, улыбаясь, смотрел на меня и казался даже приличным человеком. – Невелика фигура, порученец из управления «С», нелегал. В Париже лет пятнадцать. Выполняет мелкую работу – подкупить, припугнуть, девку свою нужному человеку подложить. Шестёрка, конечно, да не совсем простая, имеет приличные связи, начальству не афишируемые, в парижской уголовной полиции, например. У Конторы в Париже развитая агентура, но работают топорно, разухабисто, всегда следы оставляют. Сочли, что с тобой хлопот много не будет, вот его и послали. Они не любят скрупулёзно изучать объект, рассчитывают, что и так сойдёт.

– Зачем ты мне это рассказываешь? Скажи лучше, как надо себя вести, и что вообще будет.

– О, – улыбнулся Николай, – впереди у тебя много любопытного, ты и представить не можешь. А рассказал я тебе о нём, чтобы ты знал, с кем имел дело. Это полезно знать.

– Слушай, а если конкретнее? Что ты тянешь?

– Ладно. Вина хочешь?

– С ума сошёл? Половина одиннадцатого.

– Вино здесь круглые сутки пьют. Не хочешь – не надо. Я знаю, что ты сегодня не ночевал в гостинице, знаю и то, как провёл вечер и ночь. Тебе дается два дня, чтобы уладить свои дела.

– В каком смысле?

– Не бойсь. В том смысле, что тебя неделю не будет в Париже.

– Да? И где же я буду?

– В Женеве. Давай свой паспорт.

Николай убрал мой серпастый и молоткастый в папку, из неё же вынул другой, тоже красный, но, как я успел заметить, с белым крестом (или плюсом, кто его знает). Протянул мне. Я раскрыл

красную книжечку и увидел свою фотографию с лиловой печатью и моей же заливчатской подписью, которой меня для солидности долго учил дядя.

– И что? – растерянно спросил я.

– И то, – ответил Николай. – В четверг мы едем с тобой в Женеву. На поезде. Восемь часов пути. Потом вернёмся в Париж. Пока тебе ничего больше знать не надо.

– Как не надо? – моему возмущению не было предела. – Я что, багаж?!

– Не совсем, – рассмеялся Николай, – но в твоём вопросе зерно истины есть. Не обижайся, пошутил.

– Ты не шути так больше, Кащинский, – ядовито ответил я. – Забыл, что ли, как на знакомство набивался?

– Помню, ты славно тогда играл... но, на гитаре не то, хуже. Вот вернёмся, повторим на фоно. Стихи увлекли?

– Ещё как... Слушай, но расскажи мне всё-таки, – заканючил я, – что дальше будет?

– Ничего плохого. Во всяком случае, я тебе сильно завидую. Если это тебя утешает. Поезжай-ка домой и отсыпайся. Я позвоню вечером, сообщу, когда отправляемся. Лады?

Дорога от Парижа до Женевы ничем особенным не запомнилась; за окном мелькали маленькие городки, посёлки, ослепительно жёлтые рапсовые поля, и я невольно сравнивал аккуратные, чистые и красивые дома с нашими советскими посёлками и деревнями, с завалившимися избами, которые строили так, как и сто лет назад, или пятнистыми пятиэтажками, словно заляпанными грязью. Поезд тоже был поразительно чист, не пахло углём и невымытым телом, как у нас. На одной из приграничных станций появились приветливые люди в форме, прошли по вагону, вполглаза проверяя паспорта. Николай сперва молчал, но мне удалось разговорить его, мы стали болтать о разных разностях, он прочитал стихи неизвестного мне поэта Гумилёва, которого, как он сказал, во времена революции по ошибке расстреляли. Стихи понравились, вызвали музыкальные ассоциации, я подумал, что по возвращении надо найти его книгу. Пытался я вроде бы случайно, между невинными рассуждениями навести Николая на разговор о том, что будет со мной, но он улы-

бался и умело ускользал, не оставляя во мне никакой обиды. Тогда я глубоко вдохнул и сказал ему, что совсем недавно думал о том, что, может быть, мне не стоит возвращаться, и сама мысль о прежней жизни наводит тоску, и никакой ностальгии по родине у меня нет. А ведь должна быть, хоть тресни. В нас это вбивали как молотком, но я, по-видимому, оказался неспособным учеником, устойчивым к ударам.

– И это предательство – бросить свою страну, – добавил я неуверенно.

Николай серьезно посмотрел на меня, и я понял, что после этих моих слов он не станет избегать разговора. Он и не стал.

– Знаешь, Толик, – помедлив, сказал он, – я не смогу дать тебе совета. То, что человек должен умереть там, где родился... мысль весьма спорная, но у нас общепринятая. Примерно такая же, как понятия долга и предательства. Любого советского человека с самого детства ставят в такие условия, что он ограничен в действиях и поступках, а это несправедливо. Но ради создания иллюзии справедливости объявляют, что кругом одни враги, хотя, если посмотреть с исторической точки зрения, этих врагов мы создали сами, нарушив в двадцатом веке поступательное движение мировой истории. Но это вопрос совсем другой.

– Да уж, совсем, – согласился я. – Ты не углубляйся, а скажи лучше, как быть мне, если такие нехорошие мысли появились. Я знаю – они нехорошие. Но чувствую – правильные.

– Вот-вот, чувствуешь, – подхватил Николай, – тебе и положено полагаться на чувства, а всё наносное, хоть и объективное, отбрасывать. Собственно, ты по большей части так и поступаешь.

– Почему это? – слегка обиделся я. – Ты считаешь, что я вообще не способен мыслить рационально?

– Способен, – утешил меня Николай. – Рациональное мышление сделает твою жизнь менее извилистой, это да, но настолько скучной и кислой для тебя, что будет сводить зубы. И ты быстренько забудешь о рациональном мышлении и вернёшься к интуиции.

– Но почему?! – Я действительно не понимал.

– Потому что ты невероятно талантлив. В отличие от меня, простого исполнителя приказов, хотя бы и очень умелого. А у таланта – другая мера и совершенно иное восприятие жизни, он свободен

априори. Поэтому у тебя есть право решать, где тебе лучше. У меня такого права нет, несмотря на то, что свободы куда больше, чем у гораздо более достойных людей. Но это свобода другого рода, она внешняя, она неинтересна. А ты всего лишь должен освободиться от самого себя... от своих заблуждений, что ли... от навязанного, привнесённого... Ты и сейчас почти свободен, но в этом плане совершенствование беспредельно.

– Любишь ты отделиваться общими словами, – проворчал я. – Ведь понятно, что я имею в виду конкретные вещи.

– А что неконкретного я тебе сказал? – удивился он. – Ты умён и талантлив, поэтому имеешь право решать. Вот и всё. Воспевать прелести Запада я не буду, ругать свою страну тоже, это бессмысленно. Тебе хоть раз бы остановиться, осмотреться и понять, что нужно и где лучше. Если тебе лучше здесь — это не хорошо и не плохо. Реальная действительность. Такие как ты вольны выбирать, и любые оценки такого выбора, особенно эмоциональные, равны навешиванию ярлыков. Что у нас очень любят. Больше ничего тебе не скажу, извини.

Я собрался обидеться, но передумал. Чему обижаться? Николай находился в жёстких рамках, я понимал, что любое неточное слово может привести его к крупным неприятностям. В отличие от меня. Под его защитой, да и раньше, без неё, я мог творить всё что угодно, и это «всё» мне прощалось. Простятся и крамольные мысли.

Прибыв в Женеву, мы взяли напрокат автомобиль и поехали в пригород. Николай провёз меня через весь центр, но самый богатый город Швейцарии меня не впечатлил, показался унылым, – множество людей в одинаковых костюмах и с портфелями в руках куда-то спешили, дамы после парижанок казались некрасивыми, чопорными и какими-то *высохшими*.

– Ты хоть теперь скажешь мне, зачем мы сюда приехали? – без особой надежды спросил я.

– Скоро узнаешь, – весело ответил Николай. – Тебя ждёт сюрприз. Из нашей беседы в поезде я делаю вывод, что приятный.

Мы выбрались за город и очутились на двухполосной дороге. Ехали часа два, наконец, свернули на просёлок. Он вывел нас к двухэтажному дому, его черепичная крыша с одной стороны скатывалась к земле, вернее, к аккуратно стриженному изумрудному газону.

Первый этаж был сложен из побелённых камней, второй – деревянный.

– Такой домик называется «шале», – сказал Николай, выбираясь из машины. – Их любят строить в Швейцарии и Австрии, в горах. Мы, собственно, приехали. Бери свой чемодан.

Мы прошли по короткой тропинке ко входу, Николай пропустил меня вперёд. В доме пахло деревом, вкусным, отдающим вишней табаком, стояла невероятная тишина, даже лай собак, как у нас в деревнях, не доносился. Повсюду я увидел тканые коврики-дорожки, покрывающие пол из светлых досок.

– Располагайся, – Николай бросил сумку на диван. Наши комнаты на втором этаже, вон там – кабинет и две спальни, кухня – отдельно. Но она не нужна, тут неподалёку хороший ресторан.

– А туалет где? – стыдливо спросил я.

– Эх ты, парижанин... Туалеты совмещены с каждой спальней, есть и отдельный – вон там, выбирай любой. Я пошёл наверх, переодеюсь и душ приму. Тебе тоже советую. Твоя комната справа, моя – слева.

– А что мы будем делать дальше?

– Поедем поужинать и вернёмся сюда. Вечером, часов в одиннадцать, приедет один человек. Он тебе всё и расскажет. А я своё дело сделал, у меня недельный перекур. Солнце, трава, деревья... и ни о чём не думать – мне такое редко выпадает.

Из ресторана мы вернулись около десяти, сытые и размякшие. К тому же меня мало что интересовало, в том числе и встреча с таинственным человеком, приехавшим, чтобы всё объяснить. Мои мысли были в Париже и крутились вокруг Софи. Я до безумия хотел её видеть. Кто бы мог подумать, что мне придётся страдать по такому ничтожному поводу, как отсутствие рядом девушки.

Я, задрёмывая в кресле, мечтал в воздушных снах о той же Софи, а Николай сладко храпел наверху, сказав, что ему незачем ждать прибытия упомянутого человека, поскольку он приезжает лично ко мне. Но мой лёгкий поверхностный сон быстро слетел, когда раздался звук подъезжающей машины. Я немного струсил, место казалось глухим – кто знает, кого принесло. Дёрнулся наверх разбудить Николая, но стало стыдно: как жить, шарахаясь по каждому поводу, да и объяснения мне дали исчерпывающие. Поэтому

я резко поднялся, прогоняя остатки дрёмы, и стал ждать. В дверь позвонили.

– Входите, не заперто, – крикнул я.

И в комнату вошёл человек, которого я менее всего ожидал сейчас встретить: отец.

– Ну, здравствуй, – с порога произнёс он. – Вот видишь, как всё складывается...

– Здравствуй, папа, – я забыл про «дядю Георгия», мой голос предательски дрогнул.

Я шагнул к нему, хотел обнять, но он протянул мне руку, и объятия как-то не получилось. Но главное было в том, что он не бросил меня на многочисленных, пусть очень хороших, но всё же помощников, а приехал сам.

– Проходи, – растерянно сказал я и тут же вспомнил, что приглашаю его войти в дом, где хозяин он сам.

Отец снял лёгкую спортивную куртку, повесил на вешалку.

– Я рад тебя видеть, сын. Ты, позволишь, наконец, так себя называть? Или всё же по имени?

– Да брось, папа, – не стоило продолжать начатую мной самой глупую игру. – Многое изменилось... за какие-то несколько недель... кто бы мог подумать?

– Да, многое... – он присел за стол. – Вон сумка, там овощи, свежий сыр, ещё какая-то еда... Порежь, готовить ничего не надо, разговор у нас долгий будет, за ужином оно веселее... в баре – хорошее вино.

Я мигом накрыл стол, порезал сыр, зелень, ветчину, откупорил бутылку красного вина, налил в бокалы.

– Ну что же, – отец поднял бокал и посмотрел вино на свет. – За тебя. Сегодня ты узнаешь многое, а завтра, – он глянул на часы, – через час-другой, для тебя начнётся новая жизнь. Если ты этого захочешь. Давай обсудим...

– Давай, – поколебавшись, сказал я.

– Налей вина... до краёв, так легче будет говорить. Ты тут в Париже не увлекаешься? Они без вина не могут, а знакомств ты свёл приличное количество.

– Нет, если в компании...

– Хорошо. Так вот... Ты парень легкомысленный, плывёшь

по течению, да только оно – вот удивительно! – всегда несёт тебя в нужную сторону. Ты не привык задумываться о причинах и следствиях, просчитывать вероятности, не забиваешь голову лишним. Влюбился... думаю, серьёзно, о хорошей девушке Яне забыл, нелегально подрабатываешь, мытарей в известность не ставишь, часы купил, о которых и министры с их командировочными не мечтают. Ведёшь себя не как советский человек, а как безродный космополит.

– Папа, ты приехал сюда, чтобы высказать мне это? Тогда зря стараешься, сам же сказал, что я легкомысленный, не ведаю что творю.

– Вот и я о том же! – подхватил отец. – Вернувшись на родину, ты не сможешь по-прежнему не ведать. Надо будет вилять, хитрить и выкручиваться, отвечать за то, что ни сном ни духом, а за границы уже наглотался, и твои вынужденные телодвижения будут во много раз заковыристее, сложнее и, поверь, ненавистнее самому. Но окажется гораздо хуже, если тебе опротивеет притворяться и врать, и ты попрёшь напролом. Тебя без церемоний остановят, дай бог, если не свернут шею. Или ты сам остановишься, махнув на себя рукой, тогда закиснешь и превратишься в обыкновенного скучного эгоиста с нереализованными амбициями. Мне бы этого не хотелось.

– Мне бы тоже. Но я точно знаю, что таким, как был, уже не буду.

Отец задумчиво смотрел на меня.

– И здесь немало проблем, – наконец произнёс он. – Надо много работать, чтобы выжить. У нас с этим проще: делай, что сказали и не выступай, получишь свою зарплату и с голоду не умрёшь. А тут колоссальная конкуренция, слопают, не поперхнутся, с протянутой рукой пойдёшь. Но дело в том, сын, что ты никому не конкурент, всегда был и будешь сам по себе, какая бы обстановка тебя не окружала. Но одиночка у нас и одиночка здесь – две большие разницы. У нас тебя затащат петь хором, а нет – сожрут, каких бы высот ты ни достиг. У тебя типаж не советский.

– И что же?

Отец долго молчал, прежде чем заговорить, и я чувствовал, что именно сейчас услышу самое важное в своей жизни.

– Ты, наверняка не задумывался, — заговорил он, — что твоя поездка на конкурс – дело из ряда вон выходящее. Что подобных

прецедентов не имеется. Что это вообще невозможно в нашей стране.

– Не задумывался. Почти.

– И правильно. Иначе вёл бы себя по-другому. Слушай, мой мальчик, и постарайся поменьше спрашивать. А вот ответить на самый главный вопрос тебе придётся. Но думаю, твой ответ ни на что не повлияет.

– Папа, – поинтересовался я, – а яснее нельзя? Или у вас так принято – долго ходить кругами, прежде чем задать вопрос... или предъявить счёт. Что до счёта, то он мне уже предъявлен. Остаётся вопрос.

– С тобой непросто говорить, – отец усмехнулся. – У тебя специфический тип поведения, редко встречающийся. Всегда отсекаешь то, что считаешь «мусором», может, и доставляя этим кому-то страдания, но упрекнуть тебя в этом трудно, формально правота всегда на твоей стороне.

— Я это уже слышал...

— Не сомневаюсь. Но главное в том, что у тебя всё получается, если ты не имеешь и представления о том пути, по которому идёшь, двигаешься по нему на ощупь. У тебя блестящая интуиция, поэтому ты ни разу не попал в серьёзную передрагу. Это свойственно высоким интеллектуалам или большим талантам.

– Есть в кого, – мне начали надоедать его длинные предисловия, я привык по-другому. – Дядя однажды назвал тебя гением.

– Неужели? – непритворно удивился отец. – Он льстит мне. Или боится меня. Вероятнее второе, у нас непростые отношения. Но это тебя не касается. Вижу, ты утомился моими рассуждениями, поэтому перейдём к насущному.

– Да уж, пожалуйста, – попросил я. – Мне бы в Париж вернуться, у меня мало времени.

– А вот тут ты ошибаешься. Времени у тебя более чем достаточно.

– Это почему?

– Потому. Видишь ли, Толик, когда ты родился, а твоя мать умерла, выходило так, что кроме тебя у меня нет никого. Родственники не имеют права знать обо мне, друзей нет, а если и были, то все погибли, в большинстве не своей смертью, я один. Но и меня,

в сущности, тоже нет, – когда у человека бесчисленное множество ипостасей, он размывается по чужим жизням и разным событиям, становится нечётким отражением в старом зеркале. И когда ты родился, я твёрдо решил, что должен сохранить тебя, чтобы остаться хоть чем-то в будущем. Ведь когда я умру, никто не будет знать, что на земле жил такой человек. А ты будешь. И я хочу, чтобы ты помнил.

– Папа, я...

– Не перебивай теперь, – голос отца стал строгим, скрежещущим. – Я многие годы наблюдал за тобой, знаю о тебе всё, даже то, чего ты сам не знаешь. Пойми, что такой как ты со временем не уживётся в стране, которой я в силу обстоятельств отдал не жизнь, отдать её несложно, но растворил в ней свою личность. Меня не стало. Впрочем, об этом я уже говорил, – он ослабил галстук и расстегнул пуговицу рубашки, и мне расхотелось торопить его, я увидел, что разговор даётся ему с большим трудом. А сам почувствовал себя мальком и поклялся никогда не вести себя с ним так, как с другими... клятву, конечно, нарушил, но именно в тот момент в первый и последний раз в жизни ощутил, что у меня есть родной отец.

– Об этом говорил... – он налил вина и выпил залпом. – Прости, мне трудно найти слова, не обижайся, потерпи...

– Да, папа.

Но он уже успокоился.

– Я не желаю твоего возвращения в СССР, и вся эта сложнейшая комбинация, придуманная... до твоего рождения, затеяна ради того, чтобы ты мог не возвращаться. – Он с явным облегчением посмотрел на меня, я увидел в его взгляде беспомощность и просьбу согласиться. – Ты погибнешь там или проживёшь серую жизнь, будешь вечно бороться неизвестно с кем или выклянчивать своему таланту преференции у ничтожных людей, тут много всяких «или». Я предлагаю тебе остаться здесь, заниматься чем ты хочешь, иметь в друзьях и любимых кого заблагорассудится, наконец, думать так, как научен. Стать гражданином мира. Ну а я буду приглядывать за тобой, пока жив, и, клянусь, не дам ни одного совета, если не спросишь. Вот что я хотел тебе сказать. Для этого и приехал.

Отец откинулся на спинку стула, на лбу блестели капли пота, он был бледен. А я... я где-то слышал, что перед человеком за мгно-

вание пронесится вся его жизнь. За минуту до смерти, например. Я о смерти не думал, но жизнь увидел всю целиком, увидел серой, вязкой, глупой, полной суеты и ненужностей. Ещё – понял, что если откажусь, потребую дни на раздумья, начну возмущаться тем, что за меня всё решили, стану расспрашивать и заниматься чепухой, второго предложения не последует. Я представлял, как много вложено в то, чтобы я очутился сегодня здесь и услышал то, что мне было сказано. Потом, я и сам совсем недавно думал об этом, пугался, но думал. Слова отца ошарашили меня, но я не потерял способности соображать и отдавал себе отчёт, что он всё сложил правильно в этой комбинации, просчитал сперва, давным-давно приняв решение, безумно трудное для него. Теперь эта же задача встала передо мной. Только она была куда проще.

– Я согласен, папа, — мой ответ получился не слишком твёрдым, но уж как сумел.

Отец прищурился.

– Ты уверен, сын?

– Да.

– Ну тогда моя работа и работа многих людей не пойдёт прахом. Я знал...

Он встал, подошёл сзади и взял меня за плечи. Я учуял его силу и подумал, что он всегда был уверен в моем «да», а то не заварил бы всю эту кашу. Он понимал мою суть куда лучше, чем я сам.

– Что же мне теперь надо делать?

– Я деталями не занимаюсь, их тебе объяснит Николай, ты сможешь задать ему любые вопросы. Вы покатаетесь пару дней по Швейцарии, советую съездить в Интерлакен, обожаю это место, бог плеснул туда немного покоя, на душе становится чище. Заезжайте в Берн, он интереснее, чем деловая пресная Женева. Знай, я выручу тебя всегда в случае чего, но по мелочам помогать не буду, ты должен устраивать свои дела сам, научиться зарабатывать на жизнь – он внимательно посмотрел на меня, – тебе это труда не составит. Начнёшь с малого, тут всё по-другому, но ты любые вещи схватываешь на лету. Учиться не захочешь, знаю, но нишу свою найдёшь и будешь счастлив свободой и возможностью заниматься тем, что нравится. За границей все простые люди живут в своей нише и не рассуждают о судьбах мира, в отличие от нас. Но в крайних обсто-

ятельствах ты, конечно, можешь на меня рассчитывать. Мы ещё не раз увидимся, ведь мы – родные люди.

– А как же дядя Сергей и тётя Марина?

– Сергей знает всё, Марина – многое. Ей только не сказали, что ты покидаешь дом навсегда, ей было бы гораздо труднее смириться с перспективой, чем с фактом. Поскучаешь без них, но времена меняются, вероятно в будущем увидишься и с ними. Тебе всё расскажет Николай. А теперь я должен отдать тебе это.

Он достал из кармана пиджака французский паспорт. Я раскрыл его и увидел свою фотографию, сделанную как будто вчера. Место для подписи пустовало. Я заметил дату выдачи – ровно пять дней назад.

– Теперь ты полноправный гражданин Французской республики. Тебя зовут Анатолий Фрель. Анатолий Фролов умер... Прости, мне надо ехать, – я видел, что отец убегает от меня. И не обиделся.

Он прижал меня к себе, отстранился и как маленького погладил по голове. Коснулся моего лба шершавыми губами и пошёл к двери. Не обернулся. Через минуту я услышал звук отъезжающего автомобиля.

* * *

Я увидел гнилую забегаловку столиков на десять, пока пустую. Двинулся к ней – мучительно захотелось есть. Но сначала выпить, чтобы поесть и не вырвало. В забегаловке действительно было пусто, у бара одиноко маячил молоденький официант. Он живо подскочил ко мне, я заказал бутылку коньяка, сказав, что меню посмотрю позже, сперва выпить. Он понимающе кивнул, принёс коньяк, сказал, что дальше меня обслужит другой месье, его смена закончилась. Я налил половину бокала, залпом выпил. Немного отпустило. Достал из кармана письмо. Коньяк разбежался по телу, руки не тряслись, как я ожидал. Сначала вынул из конверта небольшую фотографию – на ней была, конечно же, Софи. Она смотрела с бумажного прямоугольника на мир, которого давно нет, и в этом взгляде, поймавшем меня через уйму лет, я не заметил укора. Грусть была, да и только... Кроме фото, я нащупал в конверте записку. Когда разворачивал её, руки всё-таки задрожали, я глотнул ещё приличную порцию, дрожь прошла, да и страх отступил, но контуры предметов стали расплы-

ваться. От коньяка или от слёз, вот интересно. Посмотрим, что там написано... Господи, всего одна строчка! Вы думаете, «я люблю тебя»? А вот и нет: «Я знаю, что ты сильно любишь меня, но теперь это не имеет смысла. Прости», – вот что я прочитал. Оказалось не так банально, как вы думали... За что она просит простить? Да, понимаю... Конечно, прощу, ведь смысла-то и на самом деле нет.

Я взял конверт, фотографию и записку, аккуратно сложил их вместе и медленно разорвал на четыре части, ещё на четыре – и бросил под стол. И моментально полегчало: стало совсем пусто внутри, зато снаружи – тепло и спокойно. Захотелось остаться жить в этом сраном заведении, превратиться в таракана и поселиться в щели между подоконником и стеной. Класс! Зачем мне у моря? Тут уютнее. Жаль, нельзя...

От приятных размышлений отвлѣк шум. Я лениво повернул голову к стойке. Хозяин распекал жирного официанта, пришедшего на работу, чтобы сменить того, молоденького. Увидев, что я посмотрел в их сторону, стал говорить тише:

– Обслужи мне и марш в посудомойку, со вчера грязь там развѣл! Я через час вернусь, чтобы всё было вылизано. Без работы захотел остаться?! – хозяин звонко шлѣпнул ладонью по бритому затылку официанта и пошѣл к выходу. Воровато оглянувшись, официант плеснул себе в стакан водки, выпил и, чуть пошатываясь, направился ко мне.

– Мне будет угодно, чтобы я принѣс меню? – с пьяным подбострастием склонившись надо мной и дыша перегаром, спросил он. – У нас свежая говядина, а если желаете рыбу, есть отличный морской окунь. Его хорошо запечь с молодым картофелем, но придётся подождать. Закуску к коньяку? Сыр конте с кусочком сельдерея...

Мне тоже захотелось стукнуть его по затылку, я решил было попросить повернуться спиной, чтобы не вставать, но поднял глаза – и весь хмель слетел с меня как с белых яблонь дым. Передо мной, склонившись, стоял Алексей Матвеевич – обрюзгший, старый, пропитой, но это был он, он! Не перепутал бы нипочѣм! Слишком часто я видел во сне это лицо, скривившееся в ласковой улыбке. Меня он не узнал, цепкая память чекиста всё же подвела.

Сначала ледяной водой окатил ужас, но уже через мгновение я

понял, что бояться нечего. Перед глазами замелькали эпизоды моих собственных жизней и чьих-то чужих, знакомые лица и совершенно неизвестные люди окружили меня. Они смеялись, злорадствовали, орали немислимый похабный мат, их руки тянулись ко мне, но не доставали, а над этой вакханалией, улыбаясь всем своим сальным лицом, царил Алексей Матвеевич, последний из могижан моего полувекового существования. Он был выше всех, казалось, взлетел, став ближе к потолку, покрытому пожелтевшей штукатуркой, кривлялся, хихикал, простирая руку над толпой людей, тянущихся ко мне. И привиделось мне подобие нимба в виде непрозрачной искажённой пентаграммы чуть выше его бритого черепа. Ах, как всё неправильно у него... Или у меня?

Сыр конте с кусочком сельдерея...

Все исчезли. Остался один Алексей Матвеевич, уже без нимба, он терпеливо ждал моего ответа. Надо платить, куда денешься, время не терпит ни секунды, счёт же за выпитый коньяк мне простят, забегаловка не обеднеет.

Совершенно чётко сознавая, что делаю, я встал и с грохотом отбросил стул назад. Схватил Алексея Матвеевича за плечо и кулаком ударил в лицо, нещадно ободрав костяшки пальцев. Он упал сразу, я погрузил острый носок ботинка в мякоть живота и, будто впад в нирвану, упиваясь паскудным наслаждением, долго бил и бил его в пах, в шею и каблуком по лицу. Матвеевич хрипел, и не пытаясь защищаться, глаза выкатились из орбит, лицо стало пунцовым, потом посинело. Оглянувшись, я бросился к стойке, перегнулся через неё и схватил длинный и острый кухонный нож. Пнув Алексея Матвеевича в подбородок, отчего голова на секунду запрокинулась, полоснул ножом по выпяченному большому кадыку. Грузное тело задрожало, Матвеевич издал булькающий звук и вытянулся в струну. Я стукнул по черепу лезвием ножа, глубоко рая кожу, раз, другой, ещё и ещё, попытался увернуться от брызг алой крови и застыл над подёргивающимся телом. Отбросил нож в сторону и выбежал из кафе.

Я не знаю, сколько времени в запасе, не так уж много, это точно. Полиция ищет меня и скоро найдёт. Минимум человек пять видели, как я выбегаю из ресторана, они, несомненно, заметили кровь на моей одежде, хозяин не мог не запомнить меня. Поэтому я сижу

в грязной гостинице и не прячусь. Окна выходят на склады, за которыми железная дорога. Тепловоз катается туда-сюда, издавая пронзительные свистки, надсадно гудит. Но это не мешает. Мне ничто не мешает.

Я могу позвонить человеку со смешной фамилией, и он, не сомневаюсь, вытащит меня... но зачем? Очередная смерть и новая жизнь? Вот интересно, для всех троих или для одного? Да и для каких троих, если я сейчас один? Остальные разбежались, наверняка струсили. Стало быть... для меня? Да пошло оно всё!

Из гостиницы я выходил всего однажды, мне не нужен теперь просторный мир, только давящая маленькая комната, мне в ней уютно, как тому таракану. Я долго жил в Париже, поэтому знаю места, где продают что угодно. Вот эти два пузырька с ядрёным снотворным я и купил там. Мне светит пожизненное, потому что я никогда не расскажу, по какой причине зверски убил добропорядочного, хоть и пьющего гражданина Франции: никто здесь этого не поймёт. Да и не расскажешь, отец строго предупреждал, что я могу подвести под монастырь множество хороших людей. Зачем мне ещё и такой довесок... Я сделал то, за чем приехал: *завершил*. И оплатил все счета... кроме последнего, за коньяк. Мэй будет долго ждать меня, но уж в этом я не виноват. Её проблемы.

За едой не хожу, для чего она мне теперь. Достаточно ржавой воды из крана, она ненадолго убирает тошноту, мучающую меня. Зато я, не отрываясь, сижу над этими записками, надеясь сделать из них что-то удобочитаемое. Но будет ли кто их читать... Психиатр-криминалист? Так он русского не знает. Полиция или спецслужбы? Вздор, нет там ничего, явок, паролей, адресов и настоящих фамилий. Дела давно минувших дней, рассказ о человеке, имевшем неосторожность положиться на кого-то, кроме себя самого. Разве что какой-нибудь турист или эмигрант найдёт на барахолке и заинтересуется.

Ненадолго отрываясь от своих записей, когда устаёт рука, думаю о музыке. Кем бы я был без неё? Да никем. Отвратительно скучным, не очень положительным человеком. Музыка долго держала меня на плаву, хорошо, что я успел записать довольно много из того, что сочинил. Плюс мои прочтения фортепианной классики. Остаётся надеяться, что ноты и записи не пропадут. Есть большой цикл

пес, они, быть может, уже звучат на другом конце света. Но музыка в конечном итоге ни в чём не помогла мне, её силы не хватило на то, чтобы поднять меня, жука, перевёрнутого на спину, беспомощно дрыгающего лапками. Значит, и она ничего не стоит. Но я и есть музыка... так сказала Софи. Возможно. Тогда из этого следует, что я не сумел помочь самому себе и ничего не стою... я крайне слабая музыка, всего лишь три части скверной сонаты, сочинённой и исполненной людьми, едва ли не худшими, чем я сам. Но к чему сейчас меряться, кто лучше, кто хуже... Да и Джеффри Бриггз (мое очередное теперешнее имя) уже исчезает, потому что исполнил предписанное. На его месте неумолимо проявляется Анатолий Фролов, глядящий на холодный подмосковный туман, а не на грязные вагоны и бытовки. Он пока ничего не знает. Или уже знает всё. «И последние станут первыми...»

Но что будет дальше? Всё просто. Завершив записки, я съем оба пузырька таблеток, запью их водкой. А когда услышу нежный шорох надвигающегося небытия, допишу последние строчки. Вот эти:

«Надо жить так, как хочется. Потому что мы чужие друг другу. Мы все чужие. Так что прощайте – и живые, и умершие. Мне было не слишком интересно с вами...»

Андрей Оболенский живет и работает в Москве. Врач-педиатр, ведет частную практику. Пишет прозу. Имеет более пятидесяти журнальных публикаций, в том числе в США. Два его рассказа вошли в шорт-лист Волошинского Конкурса 2014. Призер Четвертого Конкурса им. В. Г. Короленко Санкт-Петербургского союза литераторов.

Московское издательство РИПОЛ классик выпустило его роман «7+2 или кошелек Миллера», о котором мы рассказали в № 4 (12) 2019.

Постоянный автор нашего журнала.

Михаил КОВСАН

ОБЭРИУТСТВУЯ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ

ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) – группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927 – начале 1930-х годов в Ленинграде. В группу входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев. ОБЭРИУты декларировали отказ от традиционных форм искусства, необходимость обновления методов изображения действительности, культивировали гротеск, алогизм, поэтику абсурда.

Нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься заставили некоторых обэриутов переместиться в «нишу» детской литературы (Введенский, Хармс, Владимиров и др.). Многие участники ОБЭРИУ и их родственники были репрессированы, погибли в заключении.

Обэриутствуя на краешке земли,
Зубы сгрызая, над собой повиснув,
Увижу: подо мною корабли
Разносят по миру немислимые мысли.

За ними чайки всякий сор клюют,
Стремительны, прожорливы, крикливы,
Любую оговорку в абсолюте
Возводят робкие рабы императива.

Висеть на краешке – занятие невежд,
Здесь подлинный смысл жизни недоступен,
Опилками посыпанный манеж –
Он, только он достоин черта в ступе.

А даже курить бросить непросто

Змеи весной кожу меняют,
Я все сезоны слова сочиняю.
Они вырастают сорно и сочно,
Однако случается, что кособочно.

Творенья мои изящны и зычны,
Но иногда от привычных отличны.
Ясны, но смущают строфы и строки,
Что вызывает их гнев и упреки.

От скверной привычки мне б отвязаться,
От сочинения слов отказаться.
Но те возникают без всякого спроса.
А даже курить бросить непросто.

Юродивый, вместо меня скажи

Юродивый, вместо меня скажи,
Что и себе я молвить опасуюсь,
Я от себя молчанием спасаюсь,
Но мочи нет. Взойди и доложи.

Мол, так и так, пославший меня нем,
Ночью и днем немотствует от страха,
Случайно молвит – голову на плаху,
И ждет, что воспоследует затем.

Гнетет его тягучий тучный страх,
Душащий сетью липкою паучьей,
Сгребаящий к костру сухие сучья.
Увы, с огнем молчащий не в ладах.

Слух лаком, но им голод не унять

Соблазна жар, и жареный петух
Уже клюет глумливо и нещадно,
По площадям гуляет гнусный слух,
Мол, с петухом неладно и нескладно.

Слух лаком, но им голод не унять,
Курятник пуст, и он бежит из дома,
Клюет булыжники и не желает вспять
Вернуться во всевластие Содома.

Его правитель честен, прям и строг,
Избыв издержки южного акцента,
Укажет каждому, где Бог, а где порог
И не возьмет за это он ни цента.

По-бабелевски все перебелю

По-бабелевски всё перебелю,
Но чистовик поправками изгажу,
Нелепого Иону изблюю –
Подтекст почищу, лейтмотив приглажу.

Но тащит меня чертово перо
Не в Переделкино – в никчемные проделки,
Не всё же слыть затюканным Пьеро,
Гоняющим с мальвинами в горелки.

Восстать! Лед в ванне звонко проломить,
Плюнув на зайца, в Петербург помчаться.
Судьбу ведь всё равно не умолить.
Посвататься! С красавицей венчаться!

И, ухая, во тьме бесенок рыщет

Сверкнет – и стих покатится звеня,
Заносчиво и с ухарством пяточным,
Рифмы за ним, извозчика гоня,
Суля на водку и на чай впридачу.

Но спят на даче. Никого не ждут.
Темно. Безлунно. Сипло ветер свищет.
В душе непроницаемая жуть.
И, ухая, во тьме бесенок рыщет.

Что ж, бес бесценный, вместе куковать
Нам выпало — жестокая удача.
Где молот, брат? Будем судьбу ковать.
Авось разбудим. И проснется дача.

Не будем, друг, любезны мы народу

Кого пугает смерть, того и жизнь пугает.
За домом пугало. А в клетке попугай.
Кто полагает? Кто располагает?
С трех раз, налив, любезный, отгадай!

Не будем, друг, любезны мы народу:
Он фикция, народа вовсе нет.
Прокурено, давай-ка на природу,
И там на чай я сочиню сонет.

Спасибо. Повторим. Что? Отгадал ты,
Хотя трехразовый еще не вышел срок.
Сонет – пустое. Чтобы не страдал ты,
Возьми на чай. Хотя чуть меньше строк.

Вроде ништяк сварганились стихи

Вроде ништяк сварганились стихи,
Хотя на «сукин сын» еще не тянут,
Уши от лишней красоты не вянут,
Но буйно зацветают лопухи.

Ну, это, брат, заврался ты, загнул
Про лопухи, те слушали вполуха,
Всем огородным подавай порнуху,
А ты им рифм штук двести в уши вдул.

Им нимфы, Фивы, фавны – маята,
Убогой жизни топкое томленье,
Про топлесс бы пустил на разговенье,
Или хотя б про танец живота!

Всё ждем, когда начнется VITA NOVA

Ну что, брат Пушкин? Как твои дела?
Дети? Жена? Журнал? Дороговизна?
А здесь у нас одна сплошная тризна
И сплетни: тот не ту, не та дала.

Те же дороги, те же дураки,
Но бенкендорфы страшно поглупели,
Нам цапаться не нужен casus belli,
А мелочь жрет по-прежнему с руки.

Вот вигелей – тех, прям, хоть пруд пруди,
Добро бы их, всё больше дондуковы,
Всё ждем, когда начнется vita nova.
Но где она? Известно. Позади.

Полезно ночью ванну принимать

Бессонница. Царь, полезай на крышу!
Под звездами страх тает, словно лед.
Звезды молчат, душа другую ищет
И на одной из крыш ее найдет.

Из белопенной яви проступает
Живую плотью радужный мираж
И книгу божьих замыслов листает,
Белым по черному: благословенна блажь.

Отныне остальное безразлично,
Все жены прочь: раздать, продать, прогнать.
Не мывшимся под звездами завидно.
Полезно ночью ванну принимать.

Михаил Ковсан родился в Киеве. По образованию филолог. В 1991 году репатриировался в Израиль. Исследователь иудаизма, раввин. Активно занимается литературной работой: прозаик, поэт, переводчик.

Постоянный автор журнала «Времена».

Ефим ГАММЕР

ПРИШЕЛЬЦЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Фрагменты романа нашего времени и фантастических ассоциаций

Окончание. Начало в № 1 (13) 2020

10

Дани отложил газету со своей статьёй. Чем бы себя развлечь? Он всё ещё находился под впечатлением телепатического разговора с сыном.

– Отец! Может, я теперь говорю из такого далёкого будущего, когда тебя нет. Поэтому ты не видишь меня, – рефреном звучало в нём, чем бы он ни занимался.

Внезапно подумалось: «Смерть, оказывается, самая компанейская девушка. Что ни день, сотни, а то и тысячи у неё встреч с людьми. При наличии таланта или просто желания, какой роман можно отгрохать! Что же её останавливает? Пожалуй, предсказуемость сюжета. А ведь жизнь... в том и прелесть, накручивает столь неожиданные повороты, что только успевай сбросить скорость, иначе разобьёшься».

Странная ситуация, но никак не избавиться от ощущения, что Орна – эта лейтенантша из полиции, которую он обучал боксу, будто явилась из прошлой жизни. У сына не спросить. Он осведомлён о будущем. А что было в прошлом, до рождения, даже ему не знать. А было, непременно было. Это чувствовалось всеми, как писали романисты в двадцатом веке, фибрами души. Не иначе, как дежавю.

Как известно, дежавю – в переводе с французского – «уже виденное». Проще говоря, психическое состояние, когда у человека возникает предположение, что он уже был в подобной ситуации.

Необходимо дополнить: ощущение того, что это уже было с тобой, чаще всего возникает в детстве и юности, реже в зрелые годы и совсем редко на старости лет.

Спрашивается, почему? И на ум приходит: связано это с реинкарнацией. В минувшие века ты чаще всего уходил в мир иной, не дожив до преклонных лет. Понятно: эпидемии, войны, набеги кочевников. При подобных пагубных обстоятельствах и продолжительностью жизни не приходится хвастать. Отсюда и дежавю посещает тебя на переходе от детства до определенного возраста, которым завершалась предыдущая жизнь. Другое дело теперь. И медицина радикально улучшена. И кочевников не пускают в твой огород. Живи, но помни: чем дальше от 60-ти к запланированным в обещаниях Всевышнего 120-ти, тем реже будешь сталкиваться с дежавю. Впрочем, может, это и к лучшему.

Может, и к лучшему. Но сейчас, когда перед глазами мелькает лицо Орны, немогогу. И возникло это ощущение не сразу, не в день встречи, не через неделю, а внезапно – сегодня, в тот самый час, когда по израильскому телеку прокрутили старый французский фильм с Бриджит Бардо «Бабетта идёт на войну». Что за чертовщина? И не понять. И растолковать некому. Хоть бы сквозь сон пришло понимание. Но и сон куда-то подевался. А выяснять тет-а-тет неприлично, да и отпугнёт девчущку, хоть она и офицер. Ринг для неё, видать по всему, таит меньше страхов, чем выяснение отношений. Тем более повязанных прошлой жизнью, где она не она, а ты не ты. Высшая математика! Но телефон под боком. И надо набрать всего семь цифр, а не влезать в дебри синусов и косинусов.

– Алло! Орна? Я свободен. Можешь подъезжать, если не потеряла интерес к боксу. И продолжим. Тебя выставляют в нашей команде на первенство Израила. «Пруха», говоришь? Окей! Пруха – не старуха!

Дани приготовил стол. Кувшинчик кофе, две чашечки. Сахарница, тарелка с малокалорийным печеньем. Вытащил из спортивной сумки перчатки, проверил упругость лап. И включил телевизор, полагая, что под его бормотание быстрее скоротает время.

Но с самого начала встреча с Орной пошла совсем не по плану, загодя оформленному в голове, и перчатки пришлось отложить в недоумении.

Милая улыбка юной гостьи и...

– Как у тебя с потенцией?

Ошарашенный вопросом, Дани поперхнулся глотком кофе.

– Хочешь проверить?

– Но в твоём возрасте...

– На том стоит и стоять будет, а кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет! – Дани, вытаскивая себя из растерянности, интуитивно включился в монолог князя Александра Невского из кинофильма Эйзенштейна.

И нарвался на смех. Но отнюдь не оскорбительный. Во всяком случае, в той растерянности, что сносила крышу, смех давал ему душевное облегчение и таил какие-то скрытые радости, не щедрой на приятные сюрпризы жизни.

Но в реальности, отогнавшей иллюзорные фантазии, сюрприз выглядел настолько сногсшибательным, что принять его за чистую монету – это посложней, чем спонтанное желание Орны раздеться и нырнуть в постель.

Представьте себе, пожилому человеку внезапно предлагают отправиться в публичный дом, да-да, не на партсобрание, не на теннисные корты, а именно в публичный дом. Какой? Тайный! Открытый – конспирации ради – только для русских туристов с кучей баксов в кармане, ищущих в Израиле восточные сладости, этакий экзотический рахат-лукум с танцем живота впридачу. И, само собой, не во имя туристического интереса, а с конкретной, сексуального толка целью: заказать себе девушку под номером 014, уединиться с ней в клетушке-комнатушке на отведенной для эротических наслаждений квадратуре дивана и... Вот тут-то, на первом этапе, и необходимо, дабы потенция не подвела. А дальше стремительный разворот событий, которые, понятно, никакого отношения к потенции не имеют. На этом этапе не помешает боксёрское мастерство и солдатская выучка.

Раскадровка приключенческой ленты выглядела так.

Крупный план. Объявление: требуются официантки в престижные русскоязычные рестораны Израиля. Условия хорошие. Оплата переезда и содержание в гостинице за счёт нанимателя.

Средний план. На фоне просителей Ольга – шатенка, глаза небесной выразительности, с раскосинкой, присущей россиянкам с примесью чингисхановской крови, невысокая, но с отличной фигу-

рой. (В скобках: тайный агент российского отделения международного Интерпола).

Дальше всё, как в голливудском боевике. Прибытие в Израиль, встреча в аэропорту с представителем фирмы, поездка к месту работы и... исчезновение.

– Только на днях удалось установить, где находится Ольга, – уточнила Орна. – Каким образом? Через спутник. По радиомаяку, вмонтированному в зубную пломбу. Кстати, ты там, в Эйн-Карем в середине восьмидесятых часто бывал, на выставках наших художников, да и сам выставлялся.

«Эйн-Карем, – подумалось Дани. – Тогда, в первой половине восьмидесятых новые репатрианты носились с идеей организовать в этом районе Иерусалима деревню художников. Очень уж было соблазнительное с позиций туристического ажиотажа место. Библейский пейзаж, просящийся на полотно, восточной архитектуры домики, утопающие в зелени, а над ними на холмах церкви разных мастей с благозвучными колоколами. Люди тут селились тысячи лет, но в историю поселение вошло тем, что здесь родился Иоанн Креститель, а в местном роднике, который и поныне точит воду, но уже из крана, омывала руки и ноги Мария, на иврите Мирьям, в ту пору уже носящая под сердцем Иисуса. Согласно писанию, юная Мария намеревалась повидаться со своей родственницей Елисаветой, беременной будущим Иоанном Крестителем, и потому направилась «в нагорную страну, в город Иудин», нынешний Эйн-Карем – западный район Иерусалима».

Из нахлынувших воспоминаний – в холодную воду.

– Дани! Мы решили направить тебя на встречу с Ольгой. Нам нужен человек, безусловно владеющий русским, пожилого возраста, не вызывающий подозрений и умеющий за себя постоять.

– Положим, и что дальше? – Дани отхлебнул кофе. – Я никак не вникаю в смысл этого маленького удовольствия. Ну, встречусь. Ну, – замаялся, но преодолел подкраившуюся неловкость, – проверю свою потенцию на пригодность для сексуального баловства. И? Смысл задания?

– Тебе предстоит выкрасть девушку. Она государственный свидетель обвинения. И прежде, чем мы устроим облаву на этот бордель, должна оказаться в безопасности.

– Не-е, – задумчиво протянул Дани. – Я вышел из возраста, когда ищут неприятности на свою задницу. Кофе добавить?

Он отправился на кухню за чайником с кипятком. Но – требовательный телефонный звонок, и снимай трубку, вникай в неразборчивое: «Алло! Алло! Это Дани?»

Секунда-другая на узнавание голоса, секунда-другая на желание положить трубку, но неожиданное упоминание имени Ольги остановило руку.

– Лев Самсонов! Что тебе на этот раз?

– Отрывочек! Всего один отрывочек из полюбившейся книги. Что-то приключенческое, с Интерполом, блядьми и русской мафией, хоть гони под рубрику «продолжение следует». Слушаешь?

– Ну?

– Разуй уши. Читаю. «Интерпол. Звучит? Звучит! Но разве что первый слог. А второй? Что за пол? Мужской? Женский? А, может, и вовсе средний? Впрочем, в каждой шутке есть доля правды. Если соединить в одном оперативном задании двух человек, интерполовку Ольгу и пожилого израильянина, то в результате этого незамысловатого сложения и получим средний пол. В словесном варианте – задание. Это я и осознал, как меня уговорили подключиться к тайной операции по разоблачению русской мафии...»

И тут, на самом интригующем месте, пауза, потом язвительное:

– Продолжение следует! Адью! Книга у меня! – и короткие гудки.

– Чёрт! – выругался Дани и мысленно прикинул: «Если бы сон, то можно сказать: «сон в руку». А так? Совпадение? Вряд ли! Получается, этот фокус с блядьми и мафией я уже проделал, и остался в живых. Так что прорвёмся – не надорвёмся!»

– Орна! Я согласен. Давай инструкции для этого умопомрачительного перепихона со спасением девственной души.

11

Роскошный «мерседес» – светящаяся эмблема «такси» на крыше – подкатил в предвечерний час к тихому, укрытому зеленью двухэтажному особняку, стоящему на отшибе от туристических троп, у самого взгорья, увенчанного церквушкой.

Дани расплатился с водителем, стоя спиной к наблюдающей за ним видеокамере над входной дверью.

– Не бойсь, Яша, – шепнул на прощание майору Прайсману и, не дожидаясь отъезда машины, шагнул к зданию.

«Первая проверка на вшивость, а, вернее, пароль «свой – чужой» – это домофон», – вспомнилась установка Орны.

Не оплошал. Нажал запечатленные в памяти цифры 0267.

За дверью открылся салон с сидящим у столика с двумя телефонами белобрысым амбалом-вышибалой, почти альбиносом.

Приветливый жест.

– Добро пожаловать! Откуда прибыл?

– Из Питера, – сказал Дани, усаживаясь на стул перед охранником.

– Как погода?

– Обычная? Осень – дожди, весна – дожди, лето...

– Ха, и лето – дожди, – догадливо подхватил белобрысый. – Всегда носи с собой зонтик.

– И паспорт.

– Правда – в матке! Вот-вот, паспорт. Пусть он у меня полежит, пока ты справишься с потребностями молодого... хм... организма. Как тебе насчитывать? До оргазма? До полного удовлетворения? На всю ночь?

Дани протянул российский заграничный паспорт, врученный Прайсманом.

Охранник, даже не раскрыв, бросил его в шкатулку, крышку которой оставил открытой.

«Вторая проверка на вшивость, а, вернее, пароль «свой – чужой» – это шкатулка».

– До полного удовлетворения, – сказал Дани, оформляя заказ. – Вынул из портмоне три стодолларовые купюры и небрежно бросил в шкатулку. Столько, согласно секретным расценкам, сообщаемым до отъезда туристам в России, полагалось за «полное удовлетворение» с попутными угощениями в виде марочного коньяка и замороженных закусок.

Крышка захлопнулась.

С той же доброжелательной улыбкой, с какой приветствовал клиента при появлении, белобрысый раскрыл перед Дани альбом с

фотографиями в красных и зелёных рамочках, так сказать обслуживающего персонала – с красотками, подходящими и для съёмок в голливудском блокбастере.

«Третья проверка на шивость, а, вернее, пароль «свой – чужой» – это фотоальбом». Но тут уже никакой ошибки не должно произойти. Адрес известен. 014. А то, что ни в коем случае нельзя выбирать девушек в красной рамке, так это оставим для других из живой очереди к телесным наслаждениям. Кстати, очереди как раз и не было, лишних посетителей в этот будничным вечер не наблюдалось, так как шкатулка была пуста.

– Мне вот эту, раскосенькую. Номер 014.

– Отличный выбор! Второй этаж, направо по лестнице, кабинет... да-да... именно 014. Паспорт верну на выходе.

По ковровой дорожке Дани поднялся на второй этаж. Вошёл в гостиничный номер, где его с радушием приняли как старого знакомого.

Вот она Ольга – виновница «торжества». Фризура «под мальчика», глазки подкрашены, с акцентом на соблазнительную раскосину, атласный халатик из бамбука, перехваченный матерчатым пояском в талии,

– Добрый вечер! Входите. Чувствуйте себя как дома.

Девушка автоматически выдала набор заученных фраз, включила магнитофон с возбуждающей потаённые желания музыкой, усадила на краешек дивана, подкатила столик на колёсиках с бутылкой коньяка и разными угощениями: лимонными дольками в сахаре, шоколадными конфетами, ассорти из арахиса, миндаля и семечек.

– Начнём развлекаться?

– Сначала выпьем! – напомнил Дани о потребностях организма, расторможенного непривычной обстановкой.

– Я и об этом.

– А поговорить по душам? – сказал как бы в шутку Дани, оттягивая время за его блудливый хвост.

– Здесь не говорят. Здесь развлекаются.

– А это зачем? – указал на видеоглаз в углу комнаты под самым потолком. – За свои деньги я хочу свои удовольствия, без свидетелей. А не эротический кинчик для каких-то извращенцев. Зачем мне компромат? Ещё подбросите в Думу или шантажировать начнёте.

– Не волнуйтесь, мы без шантажа, наш принцип: «деньги ваши стали наши», только и всего. А видеосистема в нерабочем состоянии. Всё, что здесь происходит, остаётся за закрытыми дверями. Как и ваши деньги. Вы мне верите?

Дани кивнул, деланно переборов недоверие, будто его полностью не покинуло опасение выявиться в голом виде на экране телевизора в каком-нибудь разоблачительном шоу. По заверениям Прайсмана, ничего подобного не должно произойти. Причина проста. Здесь правит бал царица Конспирация. Стоит уличить содержателя публичного дома в прослушке и подсматривании, как весь его раскрученный бизнес пойдёт насмарку. Мало того, последуют внутренние разборки, способные привести к последующему обнаружению неопознанных трупов. А вся эта аппаратура – сплошная мишура, оптическая иллюзия, своего рода предупредительный барьер для мудаков с неуправляемой психикой из разновидности маляков, подверженных внезапным выбросам адреналина.

Всё это прокрутилось в мозгу. Там и осталось, не попав на язык. Показывать излишние познания Дани не имел права. Ему полагалась выглядеть немного контуженным от предошущения праздника плоти. И это у него удачно получалось в ожидании момента, как выявится случай, чтобы представиться по-настоящему и объяснить истинную цель прибытия.

Но всё складывалось само собой, помимо его воли, причём, таким образом, что он должен был следовать, не сворачивая с курса, если прибегнуть к морской терминологии питерской юности, в фарватере, проложенном лоцманом сексуального моря. И он следовал за Ольгой, безропотно и покорно. Проще говоря, плыл по течению. Полагая, что объяснения, как и признания в любви, лучше доходят до женского ушка при пересечении дыхания, в ночной тиши, под духовитым одеялом.

Но его прорвало раньше, и не шёпотом, а по-Маяковски, во весь голос, на самом том разливе чувств, когда в глазах взрываются звёзды, и, кажется, что ты повелеваешь всем миром. Вот на этом пике страсти Дани и воскликнул: «Попробуйте сразиться с нами! Да, Скифы – мы! Да, азиаты – мы, – с раскосыми и жадными очами!» И обессиленный, пал на женскую грудь.

– Что с вами?

Ольге было отчего впадать в ступор: либо клиент в минуту оргазма сошёл с резьбы, либо это не клиент в обычном понимании, а связник. Какого Парнаса ради вспомнил «Скифов» Блока? Не потому ли, что «Скиф» – это её кодовое имя, зафиксированное в досье Интерпола? Но в лоб не спросишь. А клиент...

С клиентом произошёл обычный для пожилых любителей сексуальных утех конфуз. Он блаженно затих, посапывая, не в силах сползти с её тела.

Переждав минуту-две, затем ещё пяток томительных минут, Ольга стала осторожно расталкивать посетителя.

– Товарищ! А, товарищ? Второй заход! Не то вы тут проспите у меня на груди своё «полное удовлетворение», и тогда вам придётся доплачивать за всю ночь.

– Сейчас, сейчас, дай оклематься, – бормотал сквозь дремоту Дани, не любящий, когда его выволакивали из сновидений. А снилось ему, что он находится в экзотическом квартале красных фонарей, в роскошном будуаре, и прекрасная незнакомка, читая нараспев стихи Блока, делает ему тайский массаж.

Но проснувшись, он мгновенно сориентировался в ситуации и понял: время против него и катится в опасную для жизни сторону. Нужно немедленно, пока темно и тихо вокруг, приступить к решительным действиям. И действовать не по расписанию публичного дома. Не рваться на второй заход. Плюнуть на сексуальные подвиги, заняться, наконец, тем, для чего его и командировали на приём к проститутке. Не за примитивными радостями ослабленного возрастом организма, разумеется, а – прибегнем к высокому стилю! – во имя изволения девушки из сексуального рабства. Словом, вот тебе, бабушка, и Юрьев день, пора включаться в оперативное задание.

«Эх, как это я изобразю в своих мемуарах?» – подумал Дани, и приступил к действиям, которые впоследствии в полицейском рапорте назовут героическими. Прижался плотнее к Ольге, перекрыл ей рот ладонью, и едва слышно, на губах вынес:

– Я к тебе не за этим. Молчи, Скиф! – шикнул, предостерегая от вопросов. – Моя задача: вызволить тебя отсюда.

Ольга усиленно заморгала, изображая согласие.

Ещё бы, не согласилась!

– Они уверены, что отсюда не убежать, – продолжал Дани. – Окна за решётками, на выходе белокрысый – амбал-вышибала.

И опять усиленное моргание.

– Одного тюремщика не учли. Дом строился в сороковые, когда о кондишен никакого представления. Мы тебя запустим в вентиляционную шахту, выберёшься на крышу, и вперёд с песней. За домом тебя ждут наши. С багутом. Прыгнешь, и пусть тебе пишут письма до востребования. Одевайся!

Поспешно, не включая света, они переоделись.

Дани взобрался на спинку дивана, вытащив из брючного кармана складной ножик с четырьмя лезвиями, пилкой и отверткой. Отвинтил вмонтированную в стену воздухоудвную решётку. Приподнял Ольгу и запустил в лаз. Решётку вернул на место, расправил одеяло, чтобы не отпечатывались следы ног. И двинул наружу, бросив на прощание в осиротевший номер 014:

– Большое спасибо! Надеюсь, ещё увидимся.

На выходе белокрысый охранник вернул ему паспорт.

– Мистер Быстров, «полное удовлетворение»?

– Кайф без подделки!

– А я что говорил? Правда – в матке! До новой встречи.

– Надеюсь.

– Разве вы не остановились в Иерусалиме?

– Завтра в Эйлат. Какое же «полное удовлетворение» в Израиле без Эйлата?

– Счастливого пути!

С этим напутствием, не догадываясь, что оно пророческое, Дани вышел на улицу, обогнул дом и сел в поджидающее его такси с Прайсманом за рулём и Ольгой на заднем сидении.

– С благополучным возвращением! – сказал полицейский и дал газ.

Выскочив на шоссе, машина помчалась к иерусалимскому спуску и устремилась прочь из города.

– Куда ты гонишь? – удивился Дани.

– В аэропорт.

– Чего вдруг?

– Билеты, паспорта, одежда – всё в багажнике.

– Объяснись!

– Тебе, Дани, выпала дивная оказия – свадебное путешествие.

– Чего-чего?

– Свадебное! Что тут непонятного? Шикарный отдых во Франции. С молоденькой женой, – направил большой палец правой руки назад, на посмеивающуюся Ольгу. – К тому же на всём готовом. Рент-кар дожидается в Париже. Гостиницы оплачены, бухта денег в кармане. Гуляй, фраер, и не тушуйся. Ты не будешь тушеваться, Дани?

– Не буду, – буркнул Дани, догадываясь: их собираются спрятать от греха подальше на какой-то срок, пока разберутся с русской мафией и подготовят материалы к судебному процессу. Тогда и понадобится государственный свидетель обвинения.

– Конечная остановка – сюрприз, – продолжал Яков Прайсман. – Но так и быть, выложу, как на допросе доброму следователю. Ницца! У тебя там об эти дни как раз выставка, да?

– Коллективная-международная. США, Канада, Франция, Англия, Испания и я – Израиль.

– Вот и побываешь на ней, молодую супружницу приведёшь, покажешь себя в правильном свете, не половым гигантом... ха-ха... а как положено благочестивому мужу, художником. Но, – погрозил пальцем, – инкогнито. Ты ведь не под своим именем едешь завоевывать родину Ренуара, Сезанна, Гогена.

– Под каким?

– Помнишь свою боксёрскую кличку, а, Дани Молоток?

– Патиш?

– На иврите Патиш, а по-русски Молоток, и – оба, спонтанно, на два голоса – в каждом кулаке по нокауту!

– А она?

– Мадам Патиш. Или ты хочешь предложить ей более благозвучную фамилию.

– Иди ты к чёрту, Яша!

– Мне-то что? Можно и к чёрту. А вот тебе в турне, но с одним обязательством.

– Каким? – насторожился Дани. – Если это вроде ссуды, с последующей отдачей, то нельзя ли для таких прогулок подальше вы брать закоулок?

– Не дёргайся! Всё оплачено. Никаких возвратов. Но что надо,

так это отчёт о поездке. В любой форме. Необходимо подшить к делу, чтобы оформить все формальности.

– Отчёты писать не обучен. Не бухгалтер и не ревизор.

– Я же сказал, в любой форме. Пиши в форме репортажа.

– Тогда другое дело, – обернулся к Ольге. – Сварганим им репортаж?

– На меду и с пряниками.

– То – хорошо, – сказал Яков Прайзман. – На то он и медовый месяц. Только не афишируй присутствие в репортаже Ольги, на всякий пожарный...

И дал по тормозам у пропускного пункта со шлагбаумом – израильские солдаты в бетонной будке – на въезде в терминал аэропорта имени Бен Гуриона.

12

КУРС НА НИЦЦУ

(Отчёт репортажного типа о поездке во Францию)

Сначала были сновидения.

Потом километры-мили. И превращения сновидений в сказки. И превращения сказок в явь.

Начну с себя. Много лет я «отмахал» на ринге.

Я привык к тому, что я один, и противник мой один, и нам никто не мешает для взаимоубойного выяснения дружеских отношений.

Я привык к одиночеству на ринге.

Но я разговорчивый человек.

Мне чужда молчаливая медитация. И что? Я загнал себя в молчаливую медитацию. На весь срок отпуска.

Однако мне необходим собеседник. Что делать? И я придумал его за рулём.

Над моим прокатным «Ситроеном» – антенна, худящая как йог. Антенна – сводница. Извлекает голоса из мирового пространства и на бархатных ножках различных тембров вталкивает их в салон легковушки.

Я настраиваю приёмник на журчание израильского ручейка,

прибавляю громкости. Дальше – акт творенья, очеловечивание голоса, женского, естественно, голоса...

Вот теперь – скорость, чтобы похищенная из динамика женщина не выпрыгнула из машины. И – по указательным знакам. В ту или иную сторону – всё равно! Была бы Ницца – на карте! Ницца, где творил романы и рассказы Иван Бунин, создавал витражи Марк Шагал. Ницца, где на днях во Дворце культуры и спорта открывается международная выставка художников. На этой, грандиозной по своим масштабам экспозиции, представлены и мои работы.

На автобане Париж – Лион высветилась представительная заправочная станция с магазинами, мотелями и бесплатными стоянками. Время позднее, пора думать о ночлеге. Подкатил к магазину, поставил «Ситроенчик» на видном месте, у светящейся витрины. И пешочком к длинному, как казарма, зданию. По замыслу архитекторов, здание это являлось неким раем для автомобилистов всех стран и наречий. И столовая в нём. И ресторан. И газетный киоск для грамотных. И лавка с сувенирами. И, главное, гостиница, самая фешенебельная из «походных» – «Формула-1». Но куда затерялась эта «формула», никак не пойму. Я и на лифте. Я и по эскалатору. Я и по крутым, вкруговую восходящим лестницам. Нет моей «формулы». Сгинула. Направляющие стрелки везде, а приткнуться некуда.

Ладно! Не даётся мне «формула» на автозаправочной станции, рвану в близлежащий городок – там и прикорну. Как его звать-величать? Макон? Хорошо, в маршрутном листе нам Макон не писан, но... бытие определяет сознание и направление действий. Так я решил и двинулся к выходу. Но дальше, когда я «пошёл на выход», всё, в противовес моим желаниям, пошло кувырком. Я вперёд, а дорога выводит назад. Я прямо, а выходит криво. Наконец выбрался из казарменного здания. И по-быстрому к светящейся витрине, возле которой оставил машину.

Светящаяся витрина на месте, и говорит мне «бонжур, приятель-апаш». А «Ситроен», даже не сказав «адью», исчез с бензозаправочной станции. Со всем багажом и картинами личного моего производства. Я не Шагал, не Модильяни. Будут деньги, их картины приобрету. А свои собственные? За деньги покупать не стану, второй раз нарисовать не удастся.

Вспомнилось мне: на супердорогих «БМВ» или «Вольво» въезжать в Италию не рекомендуется. В агентствах отказываются страховать их, если турист направляется на родину Гарибальди: там украсть престижную иномарку – плёвое дело. На «фирменных марках», пусть даже будут они дешёвыми микролитражками, не рекомендуется въезжать на территорию бывших соцстран. Опять-таки крадут, причём не избирательно: не самые-самые «Антилопы Гну» для миллионщиков, но и любую заморскую «тачку», обутую в колёса. Но чтобы своровали машину в центре Франции? И у кого? У меня любимого! Такого не бывало! Проблема в том, что я даже в полицейский участок позвонить не могу из-за незнания языка.

Однако не всё потеряно, если при мне паспорт и тугрики, необходимые на расход. И я направился вокруг магазина со светящейся витриной, обманывая себя тем, что, может быть, моя машина самостоятельно перебралась подальше от ярких реклам в какой-то тёмный закуток. Но нет! Моя машина – не из породы управляемых мыслью. Не выискалась она и за магазином. Но там, за магазином, стояло несколько семитрейлеров, таких грузовиков, напоминающих размерами пульмановские вагоны. И мне, пусть и неискущённому в угоне автомалюток, стало ясно: загнали мой «Ситроенчик» в какой-то из этих неохватных гробов, и теперь – с песней! – умчат его за Кудыкину гору.

В мозгах – пар. В глазах – дым отечества, что нам радостен и приятен. В душе скребутся кошки с лошадиной силой.

Опомнился я уже в магазине со светящейся витриной – моим опознавательным знаком. Показываю паспорт недоумевающей продавщице и говорю сразу на нескольких доступных мне языках, нечто подобное:

– Майн коп не понимает, эскюз ми, мадмуазель, как это тиснули здесь, напротив ваших прекрасных глаз мой «Ситроен» – э блэк кар.

Продавщица поняла только слово «Ситроен», и выкладывает на прилавок каталог прокатной фирмы «Сеттер».

Снова принимают меня за американца. Снова хотят побаловать меня сервисом – высший сорт – за мои деньги. А их не так-то много, чтобы на каждой заправочной станции приобретал я по автомашине. Мне бы найти свою малютку да поспеть в Ниццу на открытие выставки, а там хоть трава не расти. Тут и проклюнулась

во мне здравая мысль: «А вдруг «твой магазин» с освещённой витриной стоит по другую сторону автобана?»

«Как так – по другую сторону?»

«А так! Заметь, в «твоем магазине» за прилавком сидела почти что старушка, здесь – совсем молодушка».

И тут меня осенило.

Я кинулся к бензозаправщикам.

– Куда, – говорю, ведёт эта ваша дорога-шоссе? В Лион?

Молодые ребята поняли меня, улыбаются, указывают направление.

– В Париж, – и показывают рукой, чтобы я не ошибся: туда-туда...

– Как в Париж, когда мне в обратную сторону?

На каком языке балакал с ними не помню, да и вспоминать неохота: три слова английского происхождения, одно русское, зубоскалистое, и на посошок французское – «мерси». Но помню, что рванул в казарменное здание, которое, как увидел теперь перекинуто аркой над асфальтовой магистралью. И торопливо мерил шаги по его бесчисленным коридорам. Ехал на эскалаторе, поднимался на лифте и кружил по лестницам. Но – баста! – не смотрел на зазывные стрелки, зовущие на ночь в «Формулу-1». Плевал я на все их «формулы», как и в юности, когда отверг техническое образование ради университетского.

И что в результате?

В результате выяснилось: во Франции не крадут маленькие «Ситроенчики». Стоит моя подружка у светящейся витрины, где её и оставили. Стоит напротив вполне пристойного магазина с продавщицей – почти старушкой, которая предложит тебе всё, чего ни пожелаешь, если при себе имеешь на это всё деньги. Деньги у меня были, но я предпочёл не покупки, а элементарное бегство – куда подальше от «полиглотовских» достижений, прибавляющих краски моим ушам.

Куда ведёт странника в полдень дорога?

Дорога ведёт в Альпы, из Шамбери в Женеву.

Дави на педаль газа, крути баранку, глазей по сторонам, пока не утомишься.

Ближе к вечеру я утомился. И было от чего...

Говорят, умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Я не хотел быть умнее других, и вот вяжу петли на заоблачном шоссе. Сумерки. Горизонт закрыт. Мотор надрывается.

На обочине вырисовывается альпийский отель «Карьер» – пристанище, громяхющее поддатой компанией. В вестибюле никого. В баре полно. И хозяйева там, и гости. Милое зрелище.

Старик с лицом Жана Габена сидит в углу за стаканом. Посасывает винцо, степенно беседует с приятелями. Тут все – приятели, все – жители окрестных деревень. Съезжаются вечерком к своему культурному очагу и делятся новостями.

Я заказал себе кофе с коньяком и комнату. Принесли кофе. Принесли коньяк. Сижу себе спокойненько, размышляю. Под рюмку «Курвуазье» и под сигарету «Тайм» это хорошо получается. И невольно – нет, не своими размышлениями, а своим видом привлекаю внимание окружающих.

Атмосфера этого высокогорного кабака напоминает мне тирольскую пивнушку времен давнего моего заграничного путешествия. В той пивнушке я небрежно бросил официанту – «бир», по-немецки «пиво». Слово это производное от ивритского – «бира», что тоже означает «пиво». Потому и далось мне легко, просто-напросто само соскочило с губ. Заказ, естественно, самый обычный для тамошнего разносчика слабоалкогольных напитков. Естественно, он был мгновенно понят и принят к исполнению. И мне, естественно, незамедлительно приносит кружку пива. Но ёмкость кружки была для меня неестественной, крупная ёмкость, в локоть величиной, а диаметром с эйнштейновскую голову. Что на это скажешь? «Гуд!» – да и только. Стал я пить. Пью-пью – дна не вижу. Но смотрю: приглядываются ко мне бочкоподобные граждане – тирольцы, в коротких, до колен, штанишках и зелёных шляпах с птичьими перьями. Пью-пью, допиваю – приближаюсь ко дну. Люди придвигают ко мне стулья. И под предлогом того, что принимают за своего, давай «шпрехать» с наступательным вопросом в голосе: кто я такой, пьющий литровую банку пива до дна? И откуда взялся на их вершине европейского мира? И как, при незначительном своём росте, метр шестьдесят с пятью дополнительными копейками, и без приметного невооружённым глазом брюхала, выхожу на поединок с их пивной бадёй?

Как? А так! И я плеснул в себя остатки, которые сладки.

Язык тирольцев ближе к идишу, чем я мог предположить. Идиш я более-менее понимаю, но говорить на нём не умею. Растолковать моим общительным соседям, что я старый боксёр, умелый стгонщик веса, я не мог. А то сказал бы им, что, сгоняя вес, ничего не ел, допустим, неделю, а ёмкости свои, для иллюзии сытости, наполнял водой. Затем перед взвешиванием успешно изгонял её из тренированного организма веками проверенным способом. Но всего этого я не мог им выложить даже при великом желании. Поэтому и воспользовался своей палочкой выручалочкой, которая почему-то безотказно действовала на всех европейских просторах.

– Их бин офицер, – сказал я.

– О! Гут-гут! Офицер!

Для немцев офицер – это лицо, не просто требующее уважения. Для них офицер – это, скажем – не ошибёмся, человек высшего порядка. Он способен на всё! И роту поднять в атаку. И весь персонал публичного дома положить по стойке «смирно». А в отношении выпивки с офицером вообще никто не в силах сравниться, разве что русский солдат.

Однако как растолковать всё это немцам? На пальцах? Но пальцев всего десять, а слов понадобится не меньше, чем патронов в пулемётной ленте.

– И какой же ты армии офицер? – донимают меня завсегда таи тирольского пивного заведения.

Подбираю обойму слов из всех известных понемногу языков. И – вперёд:

– Их бин офицер фром цава – (армия, иврит) – Израэль.

– О! Майн гот! – выводят с восторгом. – Израэль! Израэль! Даян! Шарон! Голда Меир!

– Израэль! Израэль! Ам Израэль хай! – «Народ Израиля жив!» – подключаю я к разномастному хору и припев знаменитой песни, звучащей по Евровидению и на эстрадах всего мира.

– Хай! Хай! Хайль! – поддерживают меня немцы. И начинают со знанием дела «шпрехать» на полупонятном тирольском наречии об израильской армии, и к месту или нет, всовывают в накопленные познания любимое с давних времен словечко «блицкриг».

Скорость, тормоза, снова скорость. И вот на горизонте конечный пункт путешествия – Ницца. Приморский город. Почти столь же прославленный деятелями литературы, как и Одесса. Насчитывает 400 тысяч душ постоянного населения, при наличии миллионного десанта из курортников, приезжающих регулярно на променад. Но какой город лучше – не знаю. По Одессе шастал три дня – не разобрался. В Ницце тоже дефилировал всего три дня. И опять не разобрался. Но кое-что увидел и подсмотрел. С горы в бинокль увидел, что Ницца расположена на лазурном берегу Франции, в небольшой по размеру бухте. Здесь, подсмотрел воочию, ходя ножками по мостовой, много ресторанчиков. Один называется очень уж ностальгически «Лаванда». Если не ошибаюсь, в Одессе продавали одеколон «Лаванда», которым местные эстеты брызгали себе на лицо, а не местные – в горло, чтобы унять похмелье. Здесь, в Ницце, «Лаванда» не для принятия внутрь. Здесь в «Лаванде» тебя принимают как заезжего принца. И несут, несут на подносах. Что? Сообщают: омары, креветки, крабы, мидии, лангусты.

В Ницце очень любят русское искусство. И еврейское, замечу, тоже. Тут есть музей Марка Шагала, в котором представлены его витражи.

В 1987 году моя графика выставлялась рядом с шагаловским голубеном, подаренным им нашей стране. Было это в Иерусалиме – в израильском парламенте Кнессете, где проходила первая, историческая, стало быть, выставка художников-репатриантов.

Сегодня мои работы экспонируются в Ницце – во Дворце культуры и спорта, рядом с музеем Шагала. Он с 1950 года жил в самой близости от собственного музея, в городке Ванс, на том же юге Франции, где и я сейчас нахожусь. И дожил почти до ста лет, чего и себе желаю.

В молодости, когда я читал книгу Бунина у дедушки в Риге, его сосед по дому Арон Фроймович Гаммер, коренной одессит, говорил мне, что в детстве ходил с ним, Иваном Алексеевичем, по одним и тем же улицам в районе нынешнего Главпочтампа и Нового базара. Было это в девятнадцатом году.

– Бунин был совсем взрослый и знаменитый, – говорил Арон Фроймович, – и ходил мимо меня в гостиницу и ресторан. А я был совсем ещё маленький, и отирал клёшами тротуар в обратную от

Бунина сторону, так как мне надо было поспеть в «хедер» – еврейскую школу для начинающих. Бунин писал тогда в Одессе «Окаянные дни». А я тогда примерял в Одессе на себе эти дни окаянные: по росту ли? тут не жмут? там не тянут? И убедился, шиты на вырост. До скончания века. А если и на размер меньше, то – ничего: голову отсечёшь, и в самый раз покажутся.

– Арон Фроймович! – поинтересовался я. – По вашему рассказу выходят, что все люди после примерки оставались без голов?

– С головой, сынок, не придумаешь, что при нашей бедности по части питания и одежды, но при наличии воровства и хамства можно коммунизм построить за двадцать лет.

– А за сколько можно, если с головой?

Арон Фроймович промолчал. Слишком для него был неожиданным переход из голодного девятнадцатого года к Хрущевским утопиям. Он близоруко сощурился, подняв на меня глаза. И, казалось бы, взглянул в день сегодняшний из своего детства, из того, памятного всей еврейской (и не только еврейской) Одессе октября 1919 года, когда в городской газете «Южное Слово» были опубликованы заметки Ивана Алексеевича Бунина.

«Опять еврейские погромы, – писал он. – До революции они были редким, исключительным явлением. За последние два года они стали явлением действительно бытовым, чуть не ежедневным. Это нестерпимо. Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнужданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за свою собственную жизнь и за честь и жизнь своих родных, близких. Жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника – это несказанный ужас, это мы все – уже третий год переживающие «великую русскую революцию», – должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг без конца восставать против всего этого, – без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что всё-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, пора одуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционерам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, не договаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, ко всякого рода схваткам, приглашает «в борьбе обрести право своё» или от-

кровенно ревьёт на всех перекрестках: «смерть; смерть!» – неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или чёрные хоругви с изображением белых черепов».

А вот дневниковые записи 1943 года, которые Бунин вёл в Грасесе, поблизости от Ниццы, где прожил на вилле с Верой Николаевной и Галей, женой и любовницей, с 1922 по 1945 год.

10. XII. Пятница.

10 лет тому назад стал в этот вечер почти миллионером. Банкет, Кронпринц, Ингрид. Нынче у нас за обедом голые щи и по 3 варёных картошки. Зато завтракали у Клягина – жито, рис, всё плавает в жиру.

Взята Знаменка.

18. XII. Суббота.

Прекрасная погода.

Всё думаю о краткости и ужасах жизни.

Слушал радио – прованс, музыка и пение – девушки – и опять: как скоро пройдёт их молодость, начнётся увядание, болезни, потом старость, смерть... До чего несчастны люди! И никто ещё до сих пор не написал этого как следует!

В девятнадцатом году Арон Фроймович Гаммер, в ту пору Ареле – маленький еврейский мальчик, пухнувший от голода, ходил в Одессе по одним улицам с Буниным. Сегодня я хожу в Ницце по улицам, несущим память о нём. С этой памятью я и уезжаю в Израиль.

Прощай, Ницца! Здравствуй, Иерусалим!

СЕКРЕТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЁТУ О ПОЕЗДКЕ В НИЦЦУ

(необходимо передать французским спецслужбам по борьбе с международным терроризмом)

Я долго раздумывал, писать ли мне это секретное дополнение, которое для неподготовленного человека может показаться фантастическим вымыслом. Но коль скоро речь идёт о спасении жизни около сотни людей, то опасения в том, что меня могут принять за неуравновешенного человека с явными психическими отклонениями, уходят на второй план.

Итак...

После посещения экспозиции «Золотой орёл Ниццы», когда я гулял по набережной в центре города, ко мне обратился мой сын, пребывающий в настоящий момент в Израиле за пределами 2045 года, да-да, там, в далёком будущем – я не ошибся.

– Отец! – сказал он. – Твоё радостное возбуждение после открытия выставки будет, несомненно, омрачено, если я сообщу тебе: ты шагаешь сейчас по человеческой крови, под ногами твоими валяются трупы людей, раздавленные тяжелым грузовиком. Но не дёргайся, не смотри на мостовую, выискивая кровавые пятна. Картина не сегодняшнего дня. Это произойдёт через год, в День взятия Бастилии. Точная дата – 14 июля 2016 года. Однако сегодня, за год до событий, есть возможность предотвратить трагедию. Доведи до сведения органов по борьбе с терроризмом, что водителя грузовика зовут Мохаммед Лауж-Булель. Он выходец из Туниса, ему 30 лет. При подъезде к набережной, остановившись у полицейского поста вечером 14 июля, он скажет, что везёт мороженое для детишек, отмечающих праздник вместе с взрослыми. И машину пропустят. Без проверки. После чего этот 19-тонный грузовик на скорости 60 км. в час протаранит огромную толпу, задавит 86 человек насмерть, взрослых и детей. Количество раненых 308. И только затем террорист будет застрелен.

Эту кровавую бойню невинных людей необходимо предотвратить!

Со слов сына, я уяснил: управлять временем невозможно, но исправлять можно. Правда, не прошлое. Оно как фотоснимок, от-

печатано навечно. Исправлять можно только будущее. Как? Представьте, что разведчик времени находится, допустим, в 22 веке, а его так называемый агент влияния – наш современник. Ему передаётся информация из будущего о том, что случится в определённый день, месяц, год. Благодаря этому обычный человек, отнюдь не супермен, имеет шанс предотвратить в поле реального нашего времени грядущее несчастье.

Вот таким разведчиком времени является мой сын.

Сейчас не место и не время объяснять, почему мой сын Там, в будущем. Главное, в ином: мы способны уже сейчас, с помощью таких подсказчиков, как он, изменять предстоящие события, которые грозят нам несчастьями и бедами.

Просто доверьтесь! Верьте на слово! И действуйте согласно моей оперсводке! Спасённые от гибели люди будут вам благодарны!

13

Что остаётся? Идти и не сворачивать. Рассчитывать всё равно не на кого. Или ты, или никто.

С этими мыслями Дани вошёл в управление полиции на Русской площади, надеясь отстоять своё требование об отправке докладной записки силовикам во Францию.

Израильский околоток бурлил жизнью, напоминающей о близкой смерти. В связи с ножевой интифадой стены украсили плакатами с надписями «враг не дремлет», будто бы вывезенными из заплесневелых складов советского агитпропа. Впрочем, враг действительно не дремал, и не где-нибудь, а в общей камере, куда насовали кучу палестинских пацанов, пойманных у Шхемских ворот с финками, выточенными из напильников. Один из них – сказывали, предводитель – пырнул патрульного, а затем набросился на Орну. Но налетел на кулак, и минут пять окоचуривался на мостовой с нокаутом в зубах. Теперь террориста предстояло вызвать на допрос и определить: передавать дело в суд, с учётом реального срока или дать послабление по малолетству и отпустить на вольные хлеба под условное наказание.

Камера предварительного заключения была раскалена от гнева арестантов, не имеющих возможности из-за оперативности силови-

ков похвастаться количеством убитых евреев, а мозги дознавателей – от напряжения. Им бы поскорее закончить все разборки до наступления субботы и разбежаться по домам, к сдобной жене, сладкому вину и вкусным блюдам.

Кивнув вошедшему приятелю, майор Прайсман спросил у Орны:

– Как его, твоего ножевика? Ахмед аль?

Девушка пододвинула следователю раскрытую загодя папку с делом №000374 под яркий кружок света настольной лампы.

– Смотри здесь. Я у него имя не спрашивала, когда дала по морде.

– Ладно тебе, не дуйся, – проворчал Прайсман и – к Дани. – Слушай, старик! Твой отчёт я отволок по назначению. А секретное приложение... Ты всерьёз хочешь, чтобы нас упекли в сумасшедший дом?

– Почему нас?

Орна прыснула в кулак и, зажимая рот, выскочила в соседнюю комнату.

– Ну да, с тобой всё понятно, – невозмутимо повёл Прайсман. – Писатель, почему бы как Мопассану не погостить в палате номер 6? Но за какие прегрешения меня туда совать? Посмотри хоть раз по телеку программу «Пришельцы из прошлого», и туман в твоих мозгах рассеется.

– Смотрю. А что? Никакого тумана!

– Военных летчиков, асов! В Штатах за сообщения о встречах с НЛО отправляют на психиатрическое обследование. И – прощай небо, здравствуй – жёлтый дом. А ты хочешь, чтобы я выставил на посмешище всё полицейское управление.

– Яша, я без фантазий! И ты будь реалистом – доверься мне.

– Ну да, я твою депешу в Ниццу. А меня за самоуправство на досрочную пенсию.

– Посоветуйся с начальством.

– Тогда дорога – в жёлтый дом. Спасибочки, не надо!

– А что тебе надо?

– Спокойной жизни.

– Как ты можешь так говорить, когда...

– Давай-давай, договаривай.

– Когда самому предстоит погибнуть при террористическом акте. А знаешь? – вдруг загорелся Дани совсем несуразной мыслью, но вроде бы безумно логичной и правильной. – Знаешь? Если бы я дал тебе имя того гада и адрес? Того, кто в 2025-ом рванет концертный зал, а?

– Того?

– Именно того, кто грохнет тебя.

– И твою жену. Помнится, ты говорил...

– Говорил, и повторю: вам убойный вариант выпал на двоих.

– Откуда у тебя данные? Ты ведь не справочное бюро.

– Сын дал, для пущей безопасности и с намёком, что я дружу с полицейским, а полицейский...

– Без намёков. Не устрою же я охоту на человека на основе твоих психических прогнозов. Имя! Ну?

– Ахмед аль Кувейти, Восточный Иерусалим.

– Стой-стой! – развел руками Прайсман. – А не тот ли это Ахмед, что у нас в капезухе? Орна! – кликнул лейтенантшу. – Тащи сюда этого... Пора познакомиться со своим убийцей, – и залился смехом, пряча за ним подступающую нервозность.

Ещё большая нервозность разлилась в нём при виде явившего в сопровождении конвоиров шпингалета – узкие плечи, курчавая голова, островерхие уши – признак садистских наклонностей, по утверждению физиономистов. И надо же, не первый встречный. Узнаваем, чёрт его побери, без всякого напряжения памяти. 12 ноября, на открытом первенстве Иерусалима, расспрашивал спортивного врача, обслуживающего соревнования, сколько мастурбаций следует совершить перед боем для улучшения физической подготовки. Вроде бы, у китайцев в «Дао любви» вычитал, что мастурбация, но без выброса семени, позволяет организму окрепнуть и ведёт к долголетию. Когда же врач посоветовал ему больше думать о технике бокса, чем о первом мужском признаке, признался на психе, что при подготовке к бою уже сделал это, и не один раз. Правда, без выброса семени у него никак не получается.

Не получилось у него и с выигрышем. В результате спонтанных семяизвержений организм лишился специфической выносливости, и пацан, «сдохнув» во втором раунде от бессмысленных атак, проиграл с «явным».

Может быть, поэтому, помня о позорном поражении, он и набросился у Шхемских ворот на Орну, признав в ней восходящую звезду недавнего турнира.

Взглянув на плюгавого террориста, от чьих рук уготовано принять смерть через десять лет, майор Прайсман вытер кистью руки мокрый рот и хрипло сказал:

– Что тут допрашивать? Орна признала нападавшего, и достаточно. Раненый полицейский признает потом, в госпитале, при очной ставке. Дело передаём в суд. А сейчас, – вновь брезгливо протёр рот, – уведите!

Конвоиры завернули Ахмеда к выходу и разнесли тяжёлые шаги по коридору.

Дани с недоумением уставился на Прайсмана.

– И никаких вопросов?

– Окстись! И без вопросов, небо ему обеспечено в клеточку. Посадим на червонец. И обойдёмся без свежих могил, если твой сынок не ошибся с именем.

– Дело не в его ошибке.

– Во мне? – хмыкнул Прайсман, догадываясь о мыслях спаринг-партнёра.

– Во всех нас! – взорвался Дани. – Сажаем-сажаем, а стоит одному нашему попасть в плен, тут же выпускаем их досрочно.

– В обмен на... – Прайсман посмотрел вопросительно, словно ожидал новых имен.

Но Дани имена не назвал. Он сказал нечто иное. И сказал гораздо круче, чем прежде.

– В обмен на жизнь. Твою, Любы и... Там, в концертном зале погибло семнадцать человек.

Дани хлопнул дверью и рванул на улицу с ощущением, что от нехватки воздуха у него перехватило горло.

Рефреном звучало: «Погибло семнадцать человек... И если ты... я... кто-либо из нас не предпримет заранее кардинальных действий, то так оно и будет!»

– Если бы да кабы, – слышалось в мозгу, словно послано вдогонку из следовательского кабинета.

Неосознанно Дани включился во внутренний монолог.

– Яша! А ты не задумался, почему ветхозаветные пророки пред-

сказывали события, прибегая к условно-придаточной форме предложения? Ах, тебя филологические ухищрения не занимают, тебе подавай преступников и неоспоримые улики. Тогда послушай. Условно-придаточная форма подачи пророчеств даёт возможность исправить будущее, которое представлено воочию, как на телеэкране, разведчику времени. Назови его ангелом или в терминологических рамках технического прогресса, космическим пришельцем – значения не имеет. И понимай главное: в его обязанности вменяется телепатический контакт с агентом влияния в прошлом, в библейскую эпоху, с так называемым пророком. Допустим, в пору римского владычества он говорит: если вы, евреи, не будете еженедельно отмечать царицу-субботу, вам предстоит новое вавилонское пленение. И всё ясно! Никакого раздвоения понятий. В будущем чётко, как на видеоплёнке, запечатлено новое вавилонское пленение. Однако его можно избежать, если соблюдать традиции, и видеоплёнка будет смыта, на ней появится новое изображение. Так что перед нами полное согласование намерений и поступков. Однако с определённого срока, после разрушения второго храма, пророки, вернее, их небесные наставники, куда-то подевались. И остаётся полагаться на себя. Судя по всему, ныне, если полностью довериться сыну, мы воссоздали собственных разведчиков времени, и к ним, понятно, испытываем большее доверие, чем к неведомо кому: так как они плоть от плоти, дух от духа – наши, кровные, единоутробные, родные и столь же заинтересованы в благополучии землян в будущем, как и мы.

14

Ноги «сами» пошли, «сами» выбрали направление и как бы «сами», без волевого усилия привели к Грошику. А что там ходить? Пару сот метров от полицейского управления на Русской площади.

Накануне наступления субботы, в пору, когда добропорядочные израильтяне собираются за семейным столом, в баре было почти пусто. Один подвыпивший гражданин в пиджаке и галстук – явно, турист из России – не в счёт, пусть и толчётся между столиков в поисках собутыльника.

– Составишь компанию? – икая, указал на бутылку водки, – Угощаю! А где я тебя мог видеть? В Москве? Нет?

– В зоопарке, – сострил Дани, отгесняя мужика к стойке бара: пусть брюхач Грошик разбирается с ним, и устроился у окна, за столиком, обычно занимаемом Норой.

Грошик вышел из-за прилавка, оттащил неповоротливого клиента в уголок. И сердито сказал:

– Базлан! Сиди тихо и не рыпайся, не то полицию вызову.

Полиция тотчас и возникла на горизонте, но в образе и подобии Орны. Правда, при всем боевом снаряжении – револьвер на боку, за спиной пара наручников. Несколько смутившись, она сказала Грошику на иврите:

– Я не пью, а кофеёк, пожалуйста.

Пьяный мужик, икнув, поспешно расплатился и потёк, осторожно ставя ноги, чтобы не расплескать своё содержимое, из питейного заведения – подальше от непредвиденных неприятностей.

А Дани в благодарность за «очистку воздуха от вредных испарений» пододвинул Орне стул, на манер парижского гарсона, со всей возможной галантностью.

– Вояж тебе пошёл на пользу, – благосклонно, словно светская дама, отреагировала на ухаживание лейтенантша, усаживаясь за стол.

– Не всегда же быть дикарём-динозавром!

– Вот-вот, испугалась за тебя. Накричал, разбушевался, хлопнул дверь. Как бы insult не схватить?

– Не пудри мне мозги, Орна! Я тебя ещё не вывел в чемпионы Израила. Какой insult?

Грошик выявился у стола, графинчик с коньяком, рюмочку, две чашечки с кофе – всё разместил и, приподняв цилиндр, раскланялся с той же грацией, с какой Дани орудовал со стулом.

– В одних университетах учились?

– Наше вам с кисточкой! – ответил Грошик и улизнул за стойку бара.

– Он в университетах не учился, – ответил Дани. – А я... Знаешь, Орна, мне покоя не даёт одна шальная мысль: будто я был близко знаком с тобой в какой-то прошлой жизни. Ты веришь в реинкарнацию?

– Положим, да.

– И я верю. Но не ухватить мозгой: где, когда?

– Маспик (хватит) тебе, Дани! Я и без реинкарнации понимаю, куда ты клонишь. Хочешь уложить меня в койку. Мол, раньше, в той жизни была тебе покорная жена. Одна подушка на двоих. Не повторить ли эту затею снова, а?

– Брось. Я серьёзно.

– И я серьёзно. А если несерьёзно, – засмеялась, – тогда в духе твоих общений со знакомым ангелом и сыном, живущем в далёком будущем. Слушаешь?

– Валяй! – Дани изобразил на лице внимание, хотя не рассчитывал услышать что-то интересное.

Однако был приятно поражён фантастической вольностью изложения, что от полицейского, приученного к сухим рапортам, не вправе ожидать.

– Что ж, реинкарнация, так реинкарнация! Было это, – она сощурилась, припоминая. – Лет этак... сто лет назад, в канун октябрьской революции. На Земле война, разгром, голод. А у нас, на том свете, тишь да благодать: бабочки летают, кузнечики стрекочут, и потустороннее солнце опускается в море, устраивает нам сказочный закат. Только что мы повстречались. И, не успев слова сказать, влюбились до немоты. Ты в меня. Я в тебя. И ни за какие коврижки нам не хочется разлучаться. Тут же поклялись друг другу в любви до гробовой доски. Поклялись, хорошенько, не подумав об исполнении. А когда подумали, выяснилось: на том свете при всём старании до гробовой доски не получится. Выходит, чтобы выполнить клятву, надо, прежде всего... Что? Да-да, Дани, по глазам вижу: догадался. Надо родиться. Возликовали мы душой и побежали за телом. Куда? По назначению, в приёмный покой: откуда нас, снабдив хвостиками и булавочными головками, прямиком посылают в чёрный квадрат, либо треугольник. Нет, не угадал, не Малевича, другой, но гораздо более ценный для зарождаемой жизни. Ты, понятно, пострел – везде поспел. Раз-два и в дамках. А я опоздала родиться. Причина? Тривиальная. Маманька сделала аборт. Чик-чирик, и нет меня, занимай снова очередь. А у нас очереди на всю оставшуюся жизнь. Вот задача! Когда же, наконец, вытащила счастливый жребий и кинулась на поиски возлюбленного, он, оказывается, уже не свободен, да к тому же изрядно постарел и вышел в тираж. Говоря языком ОБС – одна бабка сказала, мало на что способен.

– Брось! – вспыхнул Дани, кинув от возмущения вторую порцию коньяка в рот. – Ты не с той бабкой говорила. Поговори с Ольгой. Я и сегодня...

– Сегодня, дорогой мой писатель, – продолжала дурачиться Орна, – доведись по утрам уходить от тебя после ночных прегреждений, на ум придёт только одна мысль: а книги его куда лучше... Съел?

– Хватит! Ишь, специалистка! Лучше дай адрес Ольги.

– Конспиративная квартира, Дон Жуану вход закрыт.

– Но я ведь её муж!

– По паспорту. Кстати, уважаемый двоежёнец, ты также и муж Любы, сбежавшей от тебя в Питер. Муж, что объелся груш, почитай, по самое «не могу».

– С Любой у нас, если на откровенку, не складывается. Давно перескочили за серебряную свадьбу, но никакой совместной жизни. Не разводимся по той причине, что ей перекроют «шлихот» – командировки в Питер. Правда, это секрет.

– Как и местопребывание Ольги.

– Но я ведь живой человек! – кинул в рот третью порцию коньяка, опустошив графинчик.

– Ладно, – смилостивилась Орна. – Я так и думала, этим кончится, когда рванула за тобой сюда.

– Ну?

– Значит, так. Выскакиваешь из своего Гило на туннельное шоссе, даешь газ через арабскую территорию, пять минут гонишь по шоссе №68 до поворота на Бейт Шемеш. А там влево руля и выезжаешь к мошаву Ган Дувдуваним.

– Вишнёвый сад?

– Вишнёвый, вишнёвый. Новые репатрианты семидесятых годов. Чего же хочешь? Чехова им подавай в Израиле.

– От МХАТа тоже не отказались бы.

– О МХАТе забудь. Твой билет в театр иного рода – маленький домик за колючкой у самого леса. Условный звонок: три коротких, длинный и два коротких. Летишь?

– На крыльях любви, ноги уже не держат, – Дани отшутился на скоростях первой, пришедшей на ум остротой, и – к машине.

Орна, прикусив губу, посмотрела ему вслед, нервно передёрну-

лась, словно сбросила какой-то груз с плеч и бездумно уставилась на бармена.

– Чего смотришь? Любовь потеряла?

– И мне коньяка, – сказала Орна.

– А говаривала, не пьёшь.

– Птички не пьют...

– Когда поют, – согласился Грошик и налил Орне по-русски, не пять капель, не десять, а все двести грамм, и не в рюмку, а в специально припасённый для страдальцев от неразделённой любви гра-нёный стакан.

***Ефим Гаммер** – прозаик, поэт, журналист, художник. Родился в 1945 году на Урале. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики.*

С 1978 года – в Израиле. Работает на радио «Голос Израиля» – «РЭКА».

Автор многих книг стихов и прозы. Публикации в израильских, российских, французских, американских литературных журналах, альманахах, сборниках: «Литературный Иерусалим», «Новый журнал», «Север», «LiteraruS», «Дальний Восток», «120 поэтов русскоязычного Израиля», «Алия», «Бабий яр», «Алеф», «Лехаим», «Семь со-рок» и других.

Лауреат многих литературных конкурсов и международных конкурсов художников в США, Европе, Австралии.

Алексей ГЛУХОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

Дежавю

жизнь моя
ты словно дежавю
всё как будто
по второму кругу
чувствую мечтаю и живу
мы с тобой привязаны
друг к другу
как бы ни противился судьбе
строю те же планы
и надежды
разочарования в тебе
снова повторятся
как и прежде
узнаю я всё до мелочей
что уже случилось
и бывало
обретаю заново друзей
тех же самых –
ни кого попало
тех же женщин
знаю и люблю
недрузгов всё тех же
ненавижу
одного себя не узнаю
в зеркале разглядывая ближе

Маяковскому

Целясь в сердце, трудно промахнуться,
так же, как и в бьющийся висок...
Что же ты, глашатай революций,
не ослабил вовремя курок?

Как же ты не выдюжил, громада,
или слишком нежная душа?
Кто тебе сказал, что так и надо
жизненные ребусы решать?

Слишком часто нет на них ответа,
слишком горек вывод и жесток.
Так похоже жерло пистолета
на двери внимательный глазок...

Ты в него отныне
не заглянешь,
чтобы подсмотреть свою судьбу.
Хлопнет выстрел, на пол ты осядешь,
борозда разгладится на лбу.

Деменция

пустой очаг
в котором больше нет
горящих дров
живых воспоминаний
где только пепел
от сгоревших лет
ещё искрит
моментами сознания

а время для раздумий истекло
последние минуты излучая

и памяти разбитое
стекло
в единое собрать
не успевая

Да будет снег!

«Да будет снег!» – сказал Господь.
Его словам послушно внемля,
врата раздвинул небосвод,
и снег обрушился
на землю.

Она, томясь, его ждала:
сухой мороз, как пламя,
выжиг
сады, пустынные поля,
и покрывала листьев рыжих.

Но снег упал и погасил
земли промёрзшей лихорадку.
Она к весне накопит сил,
и снег растопит –
без остатка.

* * *

Если бы я мог увековечить
дорогие сердцу имена,
всем зажжёт бы памятные свечи.
Может, кто-то вспомнит
и меня...

* * *

Сяду в бабушкино кресло
у тоски на поводу,
в день безрадостный,
воскресный –
в реку памяти войду.
Позову с собой Булата
(уж грустить, так до конца).
Прошвырнётся
по Арбату
до Бульварного кольца.
Перекинет он гитару,
как ружьё – через плечо.
Может, мы споём
на пару
и бульвар
пересечём.
На троллейбусе последнем,
с ностальгической
тоской,
мы за дружеской беседой
доберёмся до Тверской.
Подворотни, переулки,
захудалые дворы...
Наша длинная прогулка,
как лекарство от хандры.

* * *

Позовите меня на ужин,
не к застолью,
а просто так.
В память нашей забытой дружбы,
когда был я дружить мастак.

Когда громко звучали тосты
за здоровье и за успех...
Мы ходили друг к другу
в гости,
безоглядно любили всех.

Пригласите меня на ужин –
просто к будничному столу.
Я хочу быть кому-то нужен
до тех пор, пока сам люблю.

* * *

живописца палитра бедна и убога
и не может осенний пейзаж передать
остаётся просить
свежих красок у Бога
и опавшие листья
как книгу листать

Он откроет пред нами
свою кладовую
разрешит что хотим выбирать наугад
я волшебную краску возьму золотую
чтобы ею покрыть вымирающий сад

а потом ещё охры
из тюбика выжму
кое-где подмешаю
в «рецепт» багреца
станет осень теперь
и понятней и ближе
точно вышла она
из-под кисти Творца

На операционном столе

Я ждал развязки поскорей,
сестричкой операционной
обритый, чуть не до бровей, –
по собственным её фасонам.

Лежал как жертвенный пирог,
укрытый простынёю чистой.
Хирург – армянский добрый бог
с руками, как у гитариста,

прошелся гаммой ре-минор,
по обездвиженному телу...
Под ангельски-поющий хор
душа под потолок летела.

Могло казаться, что я жив, –
лишь под влиянием наркоза.
А я иные рубежи
в погоне за уснувшим мозгом

уже осваивал в тиши
потустороннего предела,
ища приюта для души,
которого она хотела...

Метро

Я люблю метро ночное
с редким шумом поездов,
где не нужно ехать стоя
и глядеть поверх голов.

В час ночной, когда не спится
от московской кутерьмы,
под землёю очутиться,

перейдя границу тьмы.

Там в пустынных переходах,
как невидимый слепой,
опираясь лишь о своды,
эхо тащится за мной.

И дежурная зевает,
проходя насквозь вагон,
и меня не замечает,
досмотреть давая сон.

Моё Останкино

Наш старый дом, привычный наш мирок!
Здесь вид из окон, как на мир вчерашний,
где, точно вехой, северо-восток
прибит к земле Останкинской башней.

Где пончиков горячий аромат
с дворцовым перемешивался духом,
и ветер среди парковых оград
играл в июне тополиным пухом.

Здесь шум трамвая в стык оконных рам
протискивался, стены раздвигая,
и Троица звонила по утрам,
колоколами гулками качая.

* * *

год новый наступил –
не суть как важно
со временем перестаёшь считать
они похожи
друг на друга каждый
тем что уж больше

нечего терять
но всё-таки идёшь
к заветной цели
себе упрямо пробивая
путь
туда где брезжит свет
в конце тоннеля
боясь его
задуть или спугнуть

Алексей Глуховский родился в Москве 22 апреля 1955 года. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал на радио. С 2001 года живет в Баден-Бадене (Германия).

Стихи пишет с юности, много лет занимался художественным переводом с немецкого, французского, сербского языков.

Поэтические переводы печатались в сборниках издательства «Художественная литература», в «Литературной газете» и др.

Автор сборника стихотворных переводов «Слова» (Москва 2013), а также поэтических книг «Лирика» (Нью-Йорк, 2015), «Вид из окна» (Москва, 2017), «Знаки времени» (Москва 2018).

Лауреат Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира»-2018 в Льеже и 6-ой Международной поэтической премии «Образ» за 2018 г

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

ПОКУШЕНИЕ

Главы нового романа

*«У вас всегда есть свобода выбора:
вы можете выбрать иное будущее.
Или иное прошлое».*

Ричард Дэвид Бах

О том, что его собираются убить, президент России узнал во время прощального ужина с британским премьер-министром. Стоит ли принимать эту угрозу всерьез, и кто может стоять за ней? Британские спецслужбы? Бежавшие из России и обосновавшиеся в Англии олигархи? А может быть, это кто-то «из своих», кому президент давно привык доверять, тех, кто ежедневно льстиво улыбается ему в лицо, но тайком плетет против него заговор...

Вторая загадка: неужели в святая святых, в заветные кремлевские глубины пробрался «крот»? Кто он? И на кого он работает? На англичан, американцев, немцев или на какого-то неведомого, таинственного «Другого»? Перед «кротом» поставлена невероятная задача, подобной которой не выполнял еще ни один шпион, и от его успеха зависит судьба не только России, но, возможно, и всего остального мира.

Пролог

О том, что его собираются убить, президент России узнал в четверг, в 20.12 по Гринвичу, во время прощального ужина с британским премьер-министром в лондонском Мэншн Хаус.

Перед первым тостом президенту подложили несколько листов с текстом заранее приготовленного короткого спича (всё же он

недостаточно свободно владел английским, чтобы импровизировать). Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил еще один лист, отличавшийся от других по фактуре и по оттенку белого. На нем бледным шрифтом была набрана одна только фраза по-русски: «На Вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие три-четыре недели. Отмените все зарубежные поездки».

Он не верил, что странную бумагу подсунули ему его собственные помощники. Дипломатический протокол всё осложнял, прервать обмен любезностями и в лоб, при всех, спросить хозяина, кто подсунул под нос гостю эту странную записку, казалось делом невозможным, скандальным. Единственное, что он решился сделать, так это поднять записку со стола, сложить ее вчетверо и демонстративно спрятать в карман у всех на виду. При этом внимательно следя за выражением лиц присутствующих. Но в глазах премьера и других министров отразилось лишь легкое мимолетное удивление: что это за бумагу прячет русский гость? Выглядело это так, что никто из них не имел понятия о содержании странного послания.

Президент надеялся, что в конце мероприятия, при прощании, они смогут оказаться наедине с премьером хоть на несколько секунд, и тогда можно будет задать некий наводящий, осторожный вопрос, чтобы убедиться, что сам глава британского кабинета тут ни при чем. Но ничего из этого не вышло.

А ведь всё так хорошо шло! Настроение было отличное: премьер ясно давал понять, что теперь, при новом раскладе сил в британской политике, всякие там Литвиненки и Скрипали будут забыты, равно как и обвинения во вмешательстве в выборы и референдумы. Новая страница будет перевернута, сказал Найджел во время доверительной беседы один на один. Только проявите терпение: не так легко радикально изменить общественное мнение, придется это делать постепенно, но неуклонно. Экономические связи будем в первую очередь развивать. Поможем вам с кое-какими технологиями (премьер подмигнул при этом), с Украиной тоже поддержим, постараемся закрыть ненужные никому обсуждения в ООН. На нашу прессу и Би-би-си надавим, чтобы они уменьшили количество критических по отношению к вам материалов. У нас, сказал он, всё больше возможностей воздействия на СМИ. Но

громких заявлений пока от меня не ждите, придет время и для них, но только не сразу.

По дороге в аэропорт, а потом и в самолете он колебался: показать бумагу начальнику охраны Теркунову или нет? Если кому-нибудь вообще доверял он в этом мире, так это ему. Но проблема была не в доверии. Всё же любимый охранник был вовсе не интеллектуал и не хитрый политик, а человек простой и естественный. Как он поведет себя, узнав о таком? Не увидят ли люди вокруг по его напряженному поведению, что происходит нечто чрезвычайное, не начнутся ли нездоровые пересуды, не поползут ли по Кремлю слухи? А ведь всё это могло оказаться зловредным, провокационным розыгрышем. Скорее всего, так оно и есть, думал президент, всё надо тщательно взвесить, прежде чем хоть как-то реагировать.

В самолете он удивил охрану, заявив, что по пути в Москву работать не будет, залег в кровать, шуганул напуганную горничную, погасил свет в спальне и залез под одеяло.

Он всегда презирал рефлектирующих слабаков. Приучил себя заполнять решением конкретных задач каждую секунду своего времени, не давать мозгу заниматься разрушительным самокопанием. Быть железной машиной, не знающей сомнений и колебаний, а не каким-то жалким, трусливым человечешкой. И вот в кои-то веки – расклеился. Мысли полезли странные, формулировочки подлые. Например: «космическое одиночество». Ни жены не осталось, ни любовницы постоянной. Сыновья? А что сыновья? Они выросли тупыми бездельниками, все в мать. Видеть и слышать их совершенно неинтересно. Нисколько. Друзей уже тоже нет, всех растерял. Да и какие, к черту, могут быть друзья у президента? Ну и хорошо, что – «космическое». Иначе не бывает, власть пугает и завораживает, людишки смотрят подобострастно, поджилки у них трясутся, они неискренне поддакивают и лыбятся. Какой от них толк? Никто ему не нужен.

Надо взять себя в руки. Для начала спросить себя: что это ты так? Это что еще за минута слабости? Испугался смерти? Вот уж нет, никогда он ничего не боялся, да и жить, если быть до конца честным, уже несколько поднадоело. Но погибнуть в результате какого-то там заговора, дать себя победить, обыграть – это было бы невыносимо обидно. Он даже зубами скрипнул от злой досады.

Но нельзя спешить с выводами, надо спокойно, хладнокровно разобраться, всё взвесить. С чего начать? Понятное дело – с Англии. Именно здесь искать информатора и уже через него определить, реальная эта угроза или нет. Но даже если это просто попытка его запугать, ее тоже надо пресечь в корне. И авторов примерно наказать. Чтобы был урок другим. Никто не смеет запугивать президента великой страны.

Вдруг вспомнил о «кроте», который якобы обнаружился чуть ли не в самом Кремле. Может, тут есть какая-то связь? Он не поверил Мельнику в свое время, когда тот прибежал с выпученными глазами – тот всегда норовит раздуть из мухи слона. И заодно уесть конкурентов с Лубянки. Его мотивы были настолько очевидны, что президент даже слегка разозлился на него в тот момент. Говорил с ним сухо и даже не захотел вдаваться в детали. Главное, никаких нормальных доказательств – ни агентурных сообщений, ни хотя бы перехвата – расшифрованной телеграммы какой-нибудь вшивенькой. Ни-че-го-шеньки! Big data, какие-то большие данные, видите ли. Бред сивой кобылы. Некие алгоритмы вырывают из потока вроде бы не связанных друг с другом событий, из тонн сырой статистики скрытые тренды, которые якобы показывают, что есть предатель. Заумь сплошная. Скорее всего, чушь собачья. Теркунов так и говорит. А устами человека из народа, простого и бесхитростного, как известно, глаголет истина. А вдруг не всегда глаголет? Может, действительно, наступил новый загадочный век, виртуальный, цифровой, мир соцсетей. У Теркунова, правда, есть какой-то примитивный, устаревший мобильный (считается, что смартфоны гораздо уязвимее для хакеров), да еще и профессиональный уоки-токи. Еще есть такая тяжеленная штукавина, которую издали можно принять за толстый телефон и которую за ними везде таскает прикрепленный офицер ФСО. Но это спецустройство для кодированной связи, скремблированной, по-научному. Но уж фейсбуки, да какие-то грамы и твиттеры-шмиттеры... Это точно не для них.

Минута слабости была преодолена. Президент снова стал властителем, а не жалким рефлектирующим субъектом. Спать совсем не хотелось. Он вскочил, пошел в душ. Стоя под струей ледяной воды, понял, что ему теперь хочется поверить в то, что заговор против него на самом деле существует. Эта вера снова придавала жиз-

ни какой-то смысл. Он вошел в подзабытое уже состояние азарта. А ведь когда-то он больше всего любил это острое ощущение. Обтираясь потом огромным мохнатым полотенцем, он думал:

«Что предпринимают в таких случаях? По логике, согласно прецедентам, надо бы создать рабочую группу из руководителей ФСО, ФСБ, СВР, а может, и ГРУ. А они должны будут мобилизовать все возможности своих лондонских резидентур. Но после массовой высылки из-за дела Скрипалей возможности эти всё еще ограничены. И главное: как избежать утечки? Увеличивая число вовлеченных и осведомленных, в разы возрастают и шансы на то, что информация утечет.

Нет, это не годится! Кроме того, есть всё же некоторая вероятность того, что «крот» действительно существует. Проверяли и ничего подозрительного не накопили, но разве в этой профессии можно быть хоть в чем-нибудь когда-нибудь уверенным? Нет, надо пойти другим путем. Заместитель у Мельника серьезное впечатление производит, несуетное, надежное. Это он, кажется, гребаного перевертыша Гамдуллина на чистую воду вывел. А Мельник пытался себе эту заслугу присвоить, как всегда. Если затеваться с операцией, то надо, чтобы о ней знало минимальное число людей. Трое или четверо, ну может быть, пять человек. И чтобы члены этой группы понимали: если произойдет утечка, легко можно будет определить виновника. А внутри нее иметь пару доверенных лиц, с кем можно было быть более откровенным. Какой-то мотор группе требуется, один, но особенный оперативник. Как зовут этого мельниковского зама-то? Птичья фамилия какая-то.

Глава первая

Щеглов любил не только щеглов, но и скворцов, зябликов, коноплянок и многих других очаровательных птиц. Только чаек он не выносил. Не выносил настолько, что даже пожалел, что назначил встречу агенту в небольшом приморском городке, казалось бы, уютном и милым. Но город оказался совершенно испоганен этими высокомерными, наглыми созданиями.

С чайками в последнее время случилась невероятная эволюция: они бросили ловить рыбу и стали кормиться на помойках, выращивать

еду у более слабых и даже воровать ее с тарелок у людей, рискнувших подкрепиться на свежем воздухе. Стали совершенно всеядными, поглощали всё подряд, даже хлеб, жареную картошку – всё что попало. Они загадили всю набережную, скамейки, припаркованные машины, и окна домов своим едким, жирным, трудно оттирающимся гуано. Эх, знал бы Антон Павлович, каким кошмарным существом станет воспетая им птица! Послушал бы он, как омерзительно и истошно орут чайки по ночам, лишая сна приморских жителей. А Вознесенский? Взглянул бы поэт, как они копаются в мусоре вместо того, чтобы парить над морем. Раздумал бы называть чайку «плавками бога» ...

Приехав в город из Хитроу, Щеглов погулял по красивой старинной набережной, пока «няньки» окончательно не убедились в отсутствии наружного наблюдения, в том числе и с дронов – для этого их снабдили новейшими израильскими приборами. Во время этой чудесной прогулки он повстречался с одной жирной, белой, наглой. «Что же ты делаешь? – спросил он ее строго. – Посмотри, какой тебя создал бог: для чего он дал тебе такой мощный клюв, такую невероятную зоркость, поразительную скорость реакции? Для чего это всё – для того, чтобы попрошайничать, еду воровать да мусорные мешки дербанить? Какой позор! Вон оно море, рядом совсем, лети, лови рыбу, черт бы тебя побрал!».

Чайка устыдилась, бросила разорванный черный мешок и улетела – но увы, не в сторону моря, а вглубь жилого квартала.

Но вообще-то это лицемерие – винить птиц, думал Щеглов. Кто превратил их в летающих крыс, как не мы сами? Еще одно отрицательное, гадкое последствие нашего небрежного отношения к природе, к еде, неожиданного изобилия, которое мы неспособны ценить и беречь.

Щеглов сидел в номере гостиницы «Карлтон», пытался любоваться видом на сияющий синим блеском Ла-Манш, на изрезанный холмами французский берег на другой стороне канала, на яркие цветочные клумбы набережной. Но что-то не выходило расслабиться и получать удовольствие. Чайки мешали своим ором за окном, да и предстоящая встреча с Хануриком не вдохновляла. Хотя это было непрофессионально: позволять себе эмоционально окрашенное отношение к агенту. Ну противный тип, и что с того? Какое это имеет значение?

До встречи оставалось еще семнадцать минут – Щеглов решил посмотреть, не пришло ли срочных сообщений по мессенджеру спецсвязи. Аппарат был замаскирован под небольшой планшетник не слишком новой модели, даже его интерфейс выглядел вполне стандартно для айпада. При включении на экране среди нескольких обычных иконок пряталась одна неприметная, с мультипликационным рисунком. Ткнешь в нее пальцем, и явится толстое дурацки веселое лицо с высунутым языком, а также виртуальная клавиатура. Если в течение пяти секунд не нажать определенную комбинацию (три тройки подряд и тут же два нижних подчеркивания), иконка вернется в исходное положение. Если все сделать правильно, то появится интерфейс, требующий ввода пароля. Но его надо проигнорировать, иначе, при попытке вставить в окошко любую цифру или букву, планшетник замерзнет на пятнадцать минут, а потом всё опять придется начинать заново. Чтобы сделать skip – пропуск – надо нажать на другую иконку, с черным кругом, тогда на экран выползет новое окошко с надписью «выбор игры», в которое нужно очень быстро вставить пароль – комбинацию из одиннадцати больших и маленьких букв, цифр и подчеркиваний, причем компьютер менял пароль в среднем каждые семь дней. Записывать его правилами запрещено – надо запоминать. Для профессионала, владеющего мнемотехникой, это не проблема. Обмен сигналами мессенджера шел через 5G, избегая вайфая, маскируясь под текстовые файлы одного из телеграм-каналов: это был тройной уровень шифрования. Появляющиеся на экране месседжи оставались там около тридцати секунд, если вы не задерживали их там трехкратным нажатием клавиши пропуска. Но максимальная задержка составляла лишь три минуты, после чего весь текст в любом случае бесследно исчезал навсегда.

Щеглов работал с Михаилом Векслером – оператором-айтишником высшей квалификации. Он его сам и притащил в отдел: Миша был старый друг, надежный, проверенный в разных ситуациях товарищ. К тому же он сумел его материально заинтересовать в работе над некоторыми совместными проектами – нюанс, помогавший Щеглову спать спокойно по ночам и не сомневаться в сохранности своих секретов. Хотя главного секрета он, разумеется, не доверил бы никому и никогда. Себе самому и то доверял с трудом.

Сначала на экране появились три девятки – код, означавший

высокую степень важности, равно как и то, что информация передается эксклюзивно ему, Щеглову, без посторонних глаз.

«Этого еще не хватало, подумал он, что там опять стряслось?»

После кода появился и текст. «На вашу личку получено следующее зашифрованное сообщение. Шифр мне неизвестен».

И дальше – четыре колонки цифр на восемь строк, по пять знаков в каждой строке.

Под личкой в данном случае имелся в виду вовсе не частный фильтр аккаунта в Фейсбуке, а щегловский адрес в служебной отделецкой сети, которой заведовало Федеральное агентство правительственной связи и информации. Якобы надежный канал для секретных и даже совершенно секретных коммуникаций. Некоторые всерьез в это верили. Но Щеглов прекрасно понимал, что, во-первых, он контролируется сотрудниками ФАПСИ, которые наверняка всё читают и докладывают наверх (а может, и не только туда), а, во-вторых, как его уверил Михаил, канал вполне мог оказаться проницаем для хакеров.

«Кто отправитель?» – написал в ответ Щеглов.

«Отправитель скрыт, но я пробил следы – получается, что пришло с лички Смотряева».

Комендант Кремля Смотряев, великовозрастный адмирал, заслуженный ветеран был совершенно номинальной фигурой, призванной служить арбитром и хранителем служебной этики. Но на практике он ни во что не вмешивался и, тем более, ни в каких интригах не участвовал. Представить себе, что Смотряев с какого-то перепугу вдруг будет посылать зашифрованные сообщения, да еще заметая при этом следы, было совершенно невозможно. Значит, кто-то влез в его личку. Но кто и зачем?

Щеглов вдруг ощутил неприятный холодок в желудке: он начал догадываться, от кого могло прийти странное сообщение.

В любом случае необходимо было успеть прочитать и запомнить весь зашифрованный текст прежде, чем компьютер его сотрет. Это требовало максимальной, «злойной» (как называл про себя это состояние Щеглов) концентрации. Чайки за окном должны были исчезнуть, свет божий померкнуть, тело свое он должен был перестать ощущать. Не было ни прошлого, ни будущего, только четыре колонки цифр.

Как только сообщение исчезло, Щеглов написал:

«Миша, расшифровать сможете?»

«Попробую. Но гарантии нет. Хитрая штука, без ключа может быть, и не получится»

«Так может быть, это пустышка? Случайный набор цифр?»

«Всё может быть. На этот вопрос смогу скоро ответить, есть программа, проверяющая наличие смысловой структуры».

«Хорошо. Но боюсь, времени нет ждать. Давайте сделаем так: войдите в мою личку и оттуда переправьте это всё Мельнику. С таким сопровождающим текстом: «Вот что я сегодня получил якобы от Команданте. Расшифровке пока не поддается. Специалисты работают. Но можно с высокой степенью вероятности утверждать, что это наезд. Цель, очевидно, в том, чтобы заставить отдел собственной безопасности подозревать, что я состою в конспиративной связи непонятно с кем. Примитив, но может сработать. Счел необходимым вас предупредить. Щеглов». Конец текста».

«Принято, всё будет сделано», ответил Миша.

«И срочно».

«Принято: срочно».

«Держите меня в курсе, если удастся из шифра хоть что-нибудь извлечь. И поработайте над определением источника, вдруг что-нибудь прояснится».

«Принято: поработать над определением источника».

«Спасибо, Миша».

Щеглов имел все основания надеяться, что расшифровать текст не удастся ни компьютерному гению, ни кому бы то ни было другому. И тем более трудно, да что там, совершенно невозможно было представить себе, чтобы эксперты-айтишники смогли хотя бы приблизительно определить источник поступления. Даже сама попытка вообразить такое показалась Щеглову смешной. Он улыбнулся этой мысли, хотя ему впору было разозлиться. Беззвучно шевеля губами, он бормотал, непонятно к кому обращаясь: «Вы что творите, вообще – через ФАПСИ, через личку Смотряева – это же безумие! Просто черт знает что такое! А может, и вправду у них чувство юмора такое... и если посмотреть со стороны, действительно смешно».

Но надо было сосредоточиться и срочно. У Щеглова оставалось еще восемь минут до назначенного времени встречи с агентом.

Он опустил жалюзи, сел в кресло в углу номера, закрыл глаза. Колонки цифр поплыли перед глазами – как будто он нажал кнопку «play» у себя в мозгу. Извлечение информации и «чтение» тоже требовало концентрации, хотя и другого рода.

Ханурик опоздал почти на сорок минут. «Няньки» с обеих сторон входа в гостиницу нервничали, их прикрытие могло быть скомпрометировано. К тому же администратор отеля мог заметить, наконец, что гостиничные камеры наблюдения, находившиеся под воздействием специальной аппаратуры, показывают что-то не то, какие-то неподвижные картинки, даже вызвать инженера мог бы. Конечно, «няньки» заметили бы такое развитие событий и подали сигнал тревоги, да и «починить» камеры до поры до времени никому не удалось бы, но зачем лишний раз привлекать внимание?

Наконец Ханурик появился. Щеглов рассматривал его с холодным интересом, как энтомолог глядит на очередной, ничем не выдающийся экземпляр в своей обширной коллекции.

Высокий, нескладный, болезненно худой, с какой-то заплетающейся походкой и недобрый взглядом исподлобья, с агрессивно выпяченным вперед подбородком – ханурик он ханурик и есть. Конечно, в шифровках и отчетах у него было другое обозначение – бессмысленная шестизначная комбинация букв и цифр. А для того, чтобы подписывать отчеты и доносы-сообщения, агент выбрал себе идиотский псевдоним «Львович». Но про себя Щеглов звал его исключительно Хануриком. Очень уж ему подходило.

Но денек вообще-то выдался еще тот. Всегда такой безобидный, услужливый и робкий Ханурик пришел в странном, взвинченном настроении. Долго, но как-то неискренне, не глядя в глаза, извинялся за опоздание.

– Вы не представляете, что творится. Давно в Лондоне не были? Так приезжайте, вы его не узнаете. Как пошло с этого чертова брекзита, так никак не успокоится. Демонстрации, контрдемонстрации, стычки с полицией. Ни пройти, ни проехать. Анархисты лютуют – витрины бьют, машины жгут. А новое правительство и радо: есть предлог ввести чрезвычайное положение, принять закон, запрещающий, якобы временно, любые протесты, кроме одиночных пикетов.

– Да, я слышал, – сказал на это вежливо Щеглов, делая вид, что

не замечает угрюмости Ханурика. – У нас это в прессе довольно широко освещают. Получается, англичане-то у нас как бы учатся.

– Именно! И полиция тоже стала такую лютость проявлять, такого несколько лет назад и представить себе нельзя было. Вернее, это не полиция, а национальная гвардия, они ее тоже у нас содрали. Людей хватают за здорово живешь, просто даже прохожих, у меня приятеля ни за что ни про что недавно замели. Он просто у выхода из метро стоял, по мобильнику разговаривал, а к нему сзади подошли, дубинками отмолотили, он с тех пор лечится. Суды, правда, здесь еще сопротивляются, хорохорятся, отказываются приговоры штамповать, так правительство протолкнуло закон, разрешающий за участие в беспорядках сажать на тридцать дней без суда. Столько народу наарестовывали, что пришлось специальные лагеря создавать. И, говорят, там людей держат неопределённое время, и некоторые потом исчезают непонятно куда. Так что извините за опоздание, приходится теперь в объезд передвигаться, а районы, где крутилово, избегать. Ну и весь общественный транспорт из-за этого всего работает из рук вон.

– Ладно, понимаю. Но раз такое дело, может быть, лучше было бы пораньше с запасом выезжать, а то ведь вся конспирация может к черту пойти. И давайте раз так, скорее к делу. Скажите, Павел, удалось ли вам...

Но тут Ханурик довольно резко оборвал Щеглова и неприятным тоном заявил:

– Подождите, прежде чем к делам переходить, я хочу один вопрос вам задать.

– Вопрос? Это, что, срочно? Ну, хорошо. Задавайте.

Глядя снова куда-то в сторону, Ханурик сказал:

– Я хочу знать, на кого я работаю.

И насупился, изображая решительность.

Это было на него совсем не похоже. «Ни с того ни с сего ему бы такое спрашивать в голову не пришло. Что-то случилось, похоже», думал Щеглов. А вслух сказал вроде бы равнодушно, с намеком на снисходительную усмешку:

– Как это: на кого? На меня, на кого же еще?

– Это я понимаю. Но вы-то сами – кто ваш работодатель?

Ханурик нервно улыбнулся и добавил:

– Или их несколько?

Щеглов придал лицу грустно-серьезное выражение и сказал:

– Ах, Павел, Павел, ну что с вами, в самом деле? Нервы сдают?

Вы что, не догадываетесь, где я служу?

– В ФСБ, а может, и в СВР, кто вас знает...

– Павел, вы меня удивляете...

– Извините, а вы не можете показать мне какой-нибудь документ? Чтобы я больше уже никогда и ни в чем не сомневался?

– Хорошо, но только из моих рук. Никому отдавать не имею права ни на секунду. Таковы правила.

Щеглов такое развитие ситуации предвидел, а потому, пользуясь тем, что поездка его была хорошо залегендирована (он даже прикрылся диппаспортом), рискнул захватить с собой служебное удостоверение. Конечно, это было вопиющее нарушение всех мыслимых правил – тащить за бугор важнейший служебный документ, он не сомневался, что коллеги поразились бы его легкомыслию, презрительно объявили бы такое поведение сугубо непрофессиональным. Но, во-первых, шанс, что его могут обыскать, несмотря на защиту зеленого паспорта, стремился к нулю. А во-вторых, ему доставляло тайное удовольствие сознание того, что он хоть чем-то не похож на обычных шпионов, что он – особый, что он – Щеглов. Теперь он изобразил легкую досаду – чего только не сделаешь для докучливого собеседника, вздохнул, достал из внутреннего (за молнией) кармана куртки красные корочки. Открыл их так, чтобы фамилия, имя и отчество оставались закрыты пальцами, а должность и звание и, конечно, фотография, были видны. Ну и последнее слово в названии выдавшей удостоверение организации ему тоже удалось будто случайно закрыть. Недаром он долго и упорно тренировался. И вот тренировка дала свои плоды. Получилось: Федеральная служба...

Ханурик, ни на секунду не сомневался, что в конце идет: «безопасности». То есть ФСБ!

– О, генерал-майор! – почтительно ойкнул Ханурик. – Начальник отдела, хоть и непонятно какого. А вашего имени мне знать не полагается?

– Нет, – отрезал Щеглов. – Таковы правила.

– Вы, наверно, никакой не Андрей Валентинович...

– Я пользуюсь разными именами в разных обстоятельствах. Но все они – мои... Уж стал забывать, как меня мама с папой назвали.

– Да, тяжелая жизнь...

– Зря иронизируете. Действительно нелегко, – сказал Щеглов, аккуратно пряча корочки в карман. Думал: «Хорошо бы всё-таки подвигнуть наших технарей изготовить эфэсбэшную ксиву. Это, конечно, противозаконно. Но для оперативных же нужд!»

Пора было добавить ложку мёда.

– Кстати, Павел, у меня для вас хорошая новость. Мы увеличили с сегодняшнего дня ставку вашего гонорара.

И Щеглов протянул агенту толстый конверт.

Ханурик оживился, стал тут же пересчитывать 20-фунтовые купюры (Щеглов поморщился: не интеллигентный всё-таки тип!).

Но искомый результат был достигнут мгновенно. Ханурик был явно впечатлен суммой. Всю его ершистость как ветром сдуло. На плохо выбритом лице тайного алкоголика появилось сладко-удовливое выражение, глазки заблестели.

– Я скажу вам, почему я в таком испуганном настроении сегодня пришел, – словно изливая душу сокровенному другу, говорил он.

– Две недели назад меня позвал на обед один сотрудник российского посольства. Сказал, что он офицер ФСБ. Сулил деньги и угрожал, шантажировал. Знает кое-какие мои грешки... ну вы в курсе, сами их использовали, чтобы меня заставить сотрудничать. Сказал, что если я откажусь, то сдаст меня англичанам, и те меня вышлют. А на родине потом мной займется Следственный комитет... Вы всё-таки так грубо не действовали. Ну я, честно говоря, удивился. Что, думаю, правая рука не знает, что делает левая? Ну я возьми, и скажи: а я и так уже на вашу контору тружусь. Он не поверил, стал расспрашивать, что и как. Я сказал, что фамилию вашу не знаю, что правда, а имя-отчество назвал, признаюсь. Он нахмурился, сказал, что не слышал ни о каком Андрее Валентиновиче, что я всё вру.

– Ах, Павел! Вы же давали подписку о неразглашении!

– Да, но я думал, это не может относиться к такой ситуации, когда та же самая контора...

– Ну не волнуйтесь вы так, Павел. Это недоразумение мы урегулируем. А пока...

Беседа вернулась в заданное русло. Щеглов сделал вид, что его

более всего британские контакты «Икса» волнуют. Как эти контакты проистекали? Что обсуждалось? Даже выражения лиц имели значение. Не говорю уже о сказанных словах.

– Но я же не при каждой его встрече присутствую. Мне Юра Симкин рассказывает кое-что, но не всё же, – говорил Ханурик. – Я же не его ближайший друг. И я остерегаюсь настаивать, может показаться подозрительным. И потом... не может быть, чтобы я у вас был один-единственный. Я чувствую, еще вокруг Бориса Михайловича есть и другая ваша агентура...

Щеглов поморщился.

– Говорите: «вокруг Икса». Приучайтесь к элементарной конспирации. И уверяю: вы – мой единственный источник в его окружении.

(«Самое смешное, думал Щеглов, что это правда. У ФСБ их наверно тьма, у СВР и у ГРУ тоже кто-нибудь да есть. Но у меня-то, у меня лично, да и у всей моей конторы никого, кроме несчастного Ханурика рядом с «Иксом» не имеется. Только он ведь мне не поверит – а и черт с ним»).

Агент действительно смотрел на Щеглова скептически и гнул своё:

– Конкуренция, небось, кто ближе подберется и больше узнает...

– Может и так, в любом случае, нам надо в этой конкуренции победить. Но давайте ближе к делу. Видели вы каких-нибудь британцев рядом с Иксом?

– Однажды я сидел у него в конторе на Найтсбридж, в предбаннике перед его кабинетом, ждал Симкина, как вдруг выходит Икс и рядом с ним англичанин – в полосатом костюме, при галстуке, высокий, худой, голова седая. И они о чем-то говорят. Я точно не уловил, но, кажется, речь шла о совместном ужине. Зовут его Джеймс, Икс называл его по имени, а не по фамилии. А вы же знаете, в современном английском слова «ты» нет, но раз по имени, значит, уже, типа, приятели... Я потом его еще раз видел: они вдвоем с Иксом выходили из такси, куда-то вместе ездили. Но самое интересное вот что: я спросил Симкина, что это за тип, Джеймс этот? Я как-то не заморачивался, спросил без всякой задней мысли, думал бизнесмен это какой-то или спонсор всяких там либеральных организаций. Но Юрка так за-

дёргался... Знаете, что мне он сказал? Не лезь, говорит, в это, целее будешь. Что было не очень-то умно с его стороны, потому что любой дурак после такого догадался бы, что тут нечто особое, стрёмное.

– О! Это уже интересно, можете описать этого англичанина поподробнее?

Но Ханурик явно не был мастером словесных портретов. Рост, худоба, седина в волосах, костюм в полоску – дальше этого он продвинуться не мог.

Тогда Щеглов достал из портфеля еще один планшетник, на который Миша загрузил в числе многих других интересных программ софтвер «Фоторобот». И принялся терпеливо монтировать носы, рты, глаза, лбы, подбородки, прически... Это была изнурительная работа, Ханурик терялся, сомневался, менял свои решения, а ведь Щеглов тоже не был профессионалом в этой области. Намучились они с ним знатно, но в конце концов какой-то правдоподобный портрет у них получился. Впрочем, неизвестно было, насколько он соответствует оригиналу. Ханурик смотрел на экран скептически и бормотал:

– Не знаю, не знаю, чего-то не хватает вроде...

Щеглов догадывался, что речь идет о старом сотруднике русского отдела британской контрразведки MI5 Джеймсе Финче – в прошлый раз лондонские эфэсбешники показывали ему его фотографию среди нескольких прочих. Но полной уверенности не было. Щеглов решил, что он в кои-то веки попросит потрудиться и самого Мельника. С ненавистным ФСБ он, конечно, связываться не захочет, но в Ясенево, в гости к начальству Службы внешней разведки, может и прокатиться, пообщается там, вспомнит старые времена, по рюмочке даже, может быть, хлопнет. А заодно покажет им портрет, попросит строго конфиденциально проверить, посмотреть в базе данных, Финч это или нет. А если нет, то кто это?

Встреча с агентом затягивалась, но нужно было вывести его на важнейшую, главную тему. При этом нельзя было показать, насколько она важна. Поэтому Щеглов притворился, что его более всего волнуют рутинные сведения о деятельности Икса и его окружения в Британии.

– Вы письменные ответы на мои вопросы, надеюсь, приготовили? – строго спросил Щеглов агента.

– А как же!

Щеглов читал торопливый трудночитаемый почерк Ханурика и думал про себя: «Сколько же денег и сил уходит на работу по этому направлению? А зачем? Какой такой уж особый эффект Икс может иметь? Какой вред нанести? Ну не нулевой, всё-таки кое-что он может – в смысле воздействия на международное общественное мнение, вот в России какие-то события пытается финансировать, не подозревая, что все это под колпаком у ФСБ... Но это все мелочь, на которую можно бы внимания не обращать, если бы не паранойя и болезненная мстительность на самом вершине. Не пропорциональны эти усилия совершенно ничему. Гора рождает мышь... И вообще: если всё и дальше так пойдет, то новая британская власть скоро Икса вышлет, а то еще и выдаст его в Россию на расправу».

Щеглов сидел, повернувшись к окну, будто задумавшись, и равнодушным тоном, как бы между прочим, сказал:

– И вот еще что... у нас сейчас все помешались на терроризме, поэтому на всякий случай должен спросить: тема возможных терактов никем в окружении «Икса» не обсуждалась? Ну прямо или намеком?

– Да нет, какой там терроризм, это же всё такие пацифисты... Ну, если не считать Мищенко, который любит прилюдно обещать устроить в Лондоне покушение на российского президента. Но кто же Мищенко принимает всерьез? Он же фантазёр, все это знают...

– И всё же это интересно... можно конкретнее?

– Что-то он такое болтал, что, когда президент приедет с визитом, надо будет подложить мину на пути следования... Но никто его толком не слушал, честно говоря, все над ним посмеивались... привыкли уже к этим фантазиям. И вот президент приехал и уехал, и ничего, разумеется, не произошло. Да откуда у него, у Мищенко такие возможности, теракты в Лондоне устраивать, и кто ему это позволит?

– Всё равно, это любопытно... скажите, Павел, а вокруг Мищенко никакие новые субъекты не вертятся в последнее время?

– Вроде бы нет.... Хотя погодите минуту, вспомнил! Стал к нему наезжать его бывший коллега по ГРУ, некий Полянин... если не ошибаюсь, его фамилия... нет, кажется, Полянский, ... да, точно, Сергей Полянский. Он теперь на пенсии и какое-то охранное пред-

приятие в Питере возглавляет... в большой обиде, вроде бы, на своё бывшее начальство, а заодно и на кремлевских, несет их всех по кочкам, а Мищенко и рад...

– А вы можете описать, как он выглядит, этот гость из Питера?

Но нет, Ханурик оказался совершенно бессилён описать Полянского – тот, в отличие от англичанина, вообще ничем не выделялся. Ни ростом, ни телосложением, ни какими-то запоминающимися чертами лица. Просто идеал шпиона какой-то. Потом Ханурик, как того и ожидал Щеглов, снова вернулся к волновавшей его теме.

– Так что мне делать с товарищем из посольства? Что ему говорить, когда он снова приставать будет. Он ведь и телефон мой знает, и адрес...

– Как его, говорите, зовут? – спросил он Ханурика.

– Николай Михайлович, фамилия Игнатъев, кажется...

– Наверно, это псевдоним, – сказал Щеглов, – но зовите его так, как он вам представился.

Щеглов был уверен, что новый знакомец Ханурика – это подполковник Евгений Никитич Болотов, числящийся первым секретарем посольства, а на самом деле работающий заместителем резидента ФСБ в Лондоне по оперативной работе. Про него ничего такого уж особенного накопать не удалось, так, нечист на руку слегка, но кто же в наше время чист? Участвовал как-то в создании эфэсбешного общака, который у его двоюродного брата в квартире хранился. Но из подслушки было известно, что он обижался на родственника и на родную контору за то, что ему от тех богатств перепали сущие крохи, которые он уже потратил и теперь вынужден жить на зарплату. А это очень несправедливо.

– Не так важно, как его зовут на самом деле. Главное – понять, чего он от вас хочет. Хотя я вообще-то догадываюсь...

Ханурик был поражен настолько, что непроизвольно открыл рот и смотрел на Щеглова круглыми паническими глазами.

– Я, я... не знал... я думал опасно об этом говорить...

– Опасно об этом молчать – в присутствии вашего куратора. Вы думаете, это часто бывает: чтобы агента вел генерал? Редчайший случай. Особая честь. И вы видите, как мы к вам относимся, хотя бы по размеру гонораров. Но если мы почувствуем, что вы нас обманываете, что вы от нас что-то скрываете... то, берегитесь, Павел, у ге-

нералов в нашей стране огромная власть. Могу уничтожить любого, стоит только пальцами щелкнуть.

И Щеглов – для убедительности и наглядности – щелкнул перед самым носом у Ханурика большим и безымянным пальцами левой руки. Это у него с детства был такой странный талант – производить чрезвычайно звонкий звук таким щелканьем. Еще умел очень звонко языком щелкать – это уже только для развлечения маленьких детей годилось, но уж в этом качестве работало безотказно.

– Ну, давайте, Павел, колитесь. Чего от вас хотел этот ваш условный Николай Михайлович?

– Он хотел... он предположил... предложил... спрашивал, могли бы я...

И Ханурик замолчал. Его речевой аппарат отказывался воспроизвести страшные слова.

– Ну, давайте, давайте, а то наше время кончается... Давайте я вам помогу. Он выяснял, можете ли поближе подобраться к Иксу и, если потребуется, помочь его физической ликвидации, так ведь? Не знаю, конечно, что они там планируют, то ли опять «Новичком» ему что-нибудь намазать, или полоний куда-нибудь подлить. Надеюсь, хоть новенькое что-то придумали?

Это была чистой воды провокация: Щеглову были известны истинные планы эфэсбэшников, знал он и то, что это наглая инициатива лондонской резидентуры, никакой санкции на эту операцию пока не было. Даже резидент Гавриленко не решился официально ее поддержать, говорил Болотову, что тому придется, если что, действовать на свой страх и риск, и дальше – или грудь в крестах или голова в кустах...

Ханурик молчал и смотрел на Щеглова со странным выражением лица.

Потом он сказал:

– Вы ошибаетесь, Андрей Валентинович. Вас дезинформировали. Ни про какое убийство речи не было. Да я бы такое и обсуждать не стал...

Щеглову пришлось изобразить удивление.

– Нет уж, поверьте, Андрей Валентинович, сначала, правда, мне тоже так показалось, что этот Игнатьев, или кто он там, к этому ведет. Я испугался и сказал: нет, хоть режьте, но на мокруху я

не пойду. А он говорит, какая мокруха? Возмутился так, знаете, для виду, наверно. Да ничего подобного! К компьютеру Бориса Миха... простите, Икса, надо подобраться. И кое-что туда загрузить, только и всего. Я думаю, ну это другое дело. Тоже стрёмно, конечно, но не так всё же, не так.

У Ханурика даже челюсть задрожала от переживаний, от вспоминания о том, куда он чуть-чуть не вляпался.

– Только, говорю я, Николай Михайлович, вряд ли у меня это может получиться. А он говорит, а мы вам поможем. Дайте нам помозговать чуть-чуть.

Щеглов решил, что придется всё же сказать Ханурику правду – в качестве предположения, рабочей гипотезы.

– Я, Павел, предполагаю, что они заставят вас загрузить на компьютер Икса детскую порнографию. Массу всяких детишек без штанишек. В ужасных позах. За хранение детской порнухи на жестком диске здесь сейчас сажают беспощадно и на долгие сроки. И никакие свидетели, никакие дополнительные доказательства не требуются. Есть порнуха педофильская на жестком диске, извольте, пожалуйста бриться. То есть за решетку. Лет так на десять-пятнадцать. А там человека, попавшего в такую историю, еще и укокошить могут, ведь уголовники педофилов не любят. Сильный ход... Только вы ведь попадетесь, Павел. Загляните себе в душу. Ведь сами знаете, что попадетесь обязательно, непременно, без вариантов. Раве нет?

– Да, да, попадусь. Я знаю! Но что же мне делать? Что делать? Вы не можете этому, как его, Михалычу или как его – приказать, чтобы он оставил меня в покое? Вы же генерал! Ведь кроме скандала, ничего не получится!

– Не волнуйтесь, Павел. Я сделаю всё от меня зависящее... Но, поймите, ситуация несколько вышла из-под контроля. Особенно скверно, что вы про меня ему рассказали, этого нельзя было делать. Теперь все осложнилось. Но ничего, выход, кажется, есть... Только категорическое условие: про меня и наши встречи с вами – никому ни слова. При следующей встрече скажете, что, никакого Андрея Валентиновича не существует. Что это плод ваших фантазий. Это вы его так проверяли, скажите.

– Значит, мне всё-таки придется с ним опять встречаться? – эта идея явно не радовала Ханурика.

– Придется. Другого пути у нас нет.

– Ну он же станет давить. Даст мне какую-то дрянь на флэшке, наверно. И заставит загружать на компьютер Икса.

– Необязательно. Может дать вам линк, интернет адрес, на который надо будет войти с компьютера Икса. И может быть, еще открыть приложение какое-нибудь. Что-нибудь в этом роде. Не удивлюсь также, если у них есть прибор, который надо всего-навсего положить в карман и постоять несколько минут рядом с компьютером, и тот автоматически, через Блютус, заложит туда всё что надо.

– И что же мне делать?

– Тяните время. И вот что вы должны будете немедленно принять. Воспользоваться вот таким аппаратом связи.

Щеглов протянул Ханурику стандартный кнопочный Самсунг. Тот с опаской взял его в руки.

– Зайдите в список контактов. Видите номер? Он там один всего. Видите?

– Вижу... но... Погодите, погодите! Это выглядит как британский мобильный номер, начинается с 07. Но в нем двенадцать цифр, такого не бывает. Должно быть одиннадцать.

– Вот именно. Но этот сработает, причем только с этого аппарата. Хотя разговаривать по нему не получится. Но это и не требуется. Вам по нему надо только СМС-сообщение послать. Если ваш Николай Михалыч передаст вам флэшку или любой другой носитель, то вы пошлете по этому номеру букву «S».

– Что это значит?

– Какая разница? Допустим, «shit», дерьмо. А если дерьмо будет в форме электронного адреса, то воспроизведите его совершенно точно и тоже пошлите по этому номеру. Только не ошибитесь ни в одном знаке. Десять раз себя проверьте. Потом тяните время, скажите вашему Игнатьеву, что никак не получается приблизиться к компьютеру Икса. Тяните до тех пор, пока не получите ответа. Если это будет буква «S», то вам будет указано, где и кому надо этот предмет передать. И следите за тем, чтобы наш телефон в чужие руки не попал. Он так устроен, что никому другому, кроме вас, им воспользоваться не удастся просто потому, что он рассчитан только на обмен двумя эсэмесками. По номеру ничего вычислить невозможно. Но вас он может подставить. Поэтому осторожнее. В крайнем

случае притворяйтесь валенком и говорите, что случайно набрали неправильный номер. Но лучше до этого не доводить.

Видя, как Ханурик побледнел и чуть ли не в обморок упасть готовится, Щеглов решил его подбодрить.

– Послушайте, Павел. Что бы ни случилось, ну не убьют же вас, в самом деле. Ну вышлют на родину в самом крайнем случае. Уверю вас (тут Щеглов снисходительно усмехнулся, как полагалось по сценарию и согласно причитавшемуся ему образу), уверю вас, в России тоже можно жить. Это вам не сталинские годы. И не гражданская война.

– Но Следственный комитет...

– Со Следственным мы договоримся, не сомневайтесь. Но повторю: все эти обещания действительны при одном только условии: никому, ни Игнатьеву вашему, ни тем более англичанам, если они вас возьмут за жабры, ни одного слова про меня. Не было меня, вообще не было. Я вам приснился, понятно?

– Понятно. Но... про англичан... вы думаете, высока вероятность, что они меня... здесь же у меня деньги вложены, дети в школе учатся...

– Вероятность такого развития событий совсем невелика. Успокойтесь. И высылка на родину – это самый пессимистический сценарий. Если вы будете честно сотрудничать со мной. С нами. С нашей службой. Уверен, до этого – до высылки – не дойдет. А вот если вы вдруг нас решите обмануть, то Павел, я вас просто уничтожу. Сотру в порошок. В переносном или даже буквальном смысле. Помните об этом. А также о том, что в случае успеха вас ждет дополнительная солидная премия – и это сверх новой ставки гонорара. Так что работайте.

– Я постараюсь. Честное слово, изо всех сил постараюсь.

– Вот и отлично! Я скоро выйду на связь снова. А с Игнатьевым или как его там... я разберусь, не думайте об этом.

Потом пришлось отвечать еще на несколько бессмысленных вопросов Ханурика. Успокаивать, нацеливать на работу. Щеглов говорил с ним, а сам тем временем половиной мозга просчитывал сложную шахматную партию. Если он сделает так, а не эдак, какова будет реакция Мельника? А англичан? Надо ли им слить историю о планах загрузки детской порнографии на компьютер Икса? И как

тогда поведет себя ФСБ? А как будет реагировать сам Икс? В этой новой многоходовке было слишком много неизвестных.

И вдруг что-то случилось, словно какая-то посторонняя сила вмешалась и помогла Щеглову просчитать партию. Весь пазл внезапно сложился, каждая клеточка встала на свое место.

Щеглов, видимо, прокололся чуть-чуть, позволил своей радости на долю секунды отразиться в лице.

Что-то бормотавший Ханурик прервал себя на полуслове и подозрительно уставился на него.

– Могу спросить, чему вы радуетесь? – сказал он.

– Да нет, Павел, просто головная боль сегодня мучила, а сейчас отпустила. И – слышите? – чайки вдруг орать перестали. Тишина – это благодать.

Ханурик только грустно помотал головой. Ему было не до тишины.

Глава вторая

У начальника отдела собственной безопасности Ягодкина были холодные блекло-голубые глаза. Они двигались очень медленно, подолгу, не моргая, без малейших эмоций задерживались на собеседнике, и как будто постепенно заглатывали его. Многим увидавшим его с близкого расстояния приходило в голову слово «удав». Это сравнение казалось тем более уместным, что у Ягодкина образовался солидный пивной живот, в котором могли вроде бы поместиться проглоченные им человеки.

Некоторые его так и звать стали – за глаза, конечно. Удавом.

И еще он вполне владел старым чекистским приемом – говорить так тихо, чтобы заставить собеседника напрягаться и терять уверенность в себе.

Он смотрел – точнее было бы сказать, пялился – своими рыбьими, ничего не выражающими глазами на комбинации цифр – четные колонки на восемь строк, по пять знаков в каждой – и еле заметно шевелил тонкими бледными губами.

– И всё-таки: это что может быть такое? Не верю, что все ваши компьютеры, все ваши хваленые искусственные интеллекты совсем уж ничего не смогли понять? – говорил Ягодкин, а началь-

ник шифровальщиков Серопкин вытягивал шею, пытаясь его слышать.

Он ненавидел вызовы к Ягодкину, потому что никогда не был уверен, правильно ли он понял сказанное или нет. Каждый раз приходилось угадывать, а это было чревато. Но и переспросить было невозможно.

– Определенности никакой, – сказал он. – Но мы работаем. Коллег из СВР и ФСБ, а то и из ГРУ, неплохо было бы привлечь, если вы разрешите, конечно.

– Подождем пока. И вообще – что это нам позориться перед коллегами? Расписываться в своей беспомощности? Надо бы самим разобраться, твою мать.

Наступила томительная пауза. Ягодкин смотрел на Серопкина в упор своими бледными пустыми глазами, точно готовясь его проглотить, а тот ёрзал как школьник, и отводил взгляд в сторону. И совершенно не понимал, что еще ему надо сказать.

Наконец Ягодкин соизволил спросить почти шепотом:

– Но это же шифр, не так ли? Это хотя бы понятно?

– Скорее всего да, шифр.

– Не пустышка?

– Да нет, программа есть одна, показывает высокую вероятность того, что в послании содержится определенная информация.

– Вероятность говоришь? И какая же – если не секрет – в процентах?

– Шестьдесят семь с половиной процентов.

– И это считается много?

– Да.

– Не ожидал я, что вы так обделаетесь. И что бывают еще на свете неразгадываемые шифры... Так, значит, говоришь, пришла это хрень с лички Смотряева?

– Именно.

– Это точно?

– Да, это удалось установить. Хотя тоже было непросто. Следы заматались.

– И ты предполагаешь, что это хакерское дело? Кто-то смотряевскую личку взломал и давай оттуда эту галиматью посылать... А может, это всё-таки сам команданте так развлекается?

– Трудно себе представить. Своего отдельного шифровальщика у него нет. В компьютерах он, мягко говоря, не силен. Еле-еле имейл освоил. Интернетом практически не пользуется.

– Бред какой-то... Ах, Щегол, Щегол, кто же это с тобой на связь выходит... И что же такое этот кто-то тебе сообщает, а?

Снова возникла пауза, и снова Ягодкин смотрел в лицо Серопкину не мигая. А тот сопел и думал: «Это, если я всё правильно слышал, был чисто риторический вопрос. Мне на него отвечать не надо». Он уже даже хотел попросить разрешения покинуть кабинет, когда Ягодкин заговорил снова:

– Конечно, первый, кто приходит на ум, это Китаец. Щегол же – его человек. Деньги, наверно, у него берет. А ведь не имеет права, фактически это должностное преступление. Вы не посмотрели, может это оттуда, из его алюминиевой империи исходит, а?

– Мы проверили все гипотезы, товарищ генерал. Но ничего пока определенного.

– А что Михаил Векслер обо всем этом думает? Он ведь, кажется, со Щегловым в дружбанах...

– Михаил предполагает, что здесь может быть применен некий принципиально новый, неизвестный нам метод. Иной язык, если хотите. Не буквы, это точно. А может быть, даже и не слова. Возможно, графика, рисунки. Обозначающие некие понятия и ситуации. Но это всё только предположение. Гипотеза. Скорее интуитивная, чем логическая.

– О, так надо позвать китаиста или япониста, чтобы в иероглифах разбирались. У нас что, таких нет в штате?

– Был один, Григорий Лескис, так и того уволили. Вы же сами говорили: что-то евреев много развелось в секретном подразделении, да и зачем нам тут такие глубокие китаисты...

– Ну так разыщите его, привлечите. Разово. Он же у нас еще под подпиской, так ведь?

– Хорошо. Попытаемся.

– Что значит, попытаемся? Найти, раз приказано!

– Так точно, товарищ генерал!

– Так-то лучше.

– Разрешите идти?

– Ладно, ступай уже.

Серопкин с облегчением вскочил со своего стула и направился к двери, но ясно расслышал достаточно громко сказанное ему вслед:

– Тоже мне, гении хреновы, математики, аналитики. Разогнать всех к едрёной матери... А уж премии лишить – это как минимум...

Когда за Серопкиным закрылась дверь, Ягодкин нажал кнопку на селекторе, бросил:

– Юра, зайди. Срочно.

И уже через минуты три в кабинет вошел наголо бритый, крепко сбитый мужик лет сорока, с толстой шеей борца. Это был подполковник Юрий Присич – правая рука начальника отдела, мастер темных дел и деликатных операций.

И с ним Ягодкин тоже разговаривал очень тихо: привычка – вторая натура. Но тот за долгие годы шептаний с шефом научился его понимать даже по губам.

– Слушай, Юра... ты не поверишь. Срочный запрос от Самого: максимально полная закрытая характеристика на Щеглова. Только этого нам не хватало. По всему чую: речь о каком-то охрентельном повышении. Представляешь, мать его за ногу? Мы обязательно должны этому помешать, надо Щегла уничтожить. Но как? Как? Что на него нарыть можно, кроме того, что он – разведенный бабник, который ни одной юбки не пропустит? Вряд ли Сам по такому поводу напряжется... Он и сам... ладно, неважно. Вот только если у Щегла какие-нибудь подозрительные барышни в обороте были, с иностранными связями, смахивающие на «ласточек». Ты понимаешь, о чем я?

– Да, надо всё перепроверить лишний раз. Есть одна художница, странная личность, с которой он подозрительно долго уже...

– Вот-вот, проверь всё как следует... Что еще на него может быть? Ты его личное дело давно смотрел?

– Да нет, недавно совсем.

– И что, ничего?

– Ну... на четверть еврей он, по отцовской линии.

– Ах, вот как... Почему-то я не удивлен совсем. Как вообще кадры работают, не понимаю. И проблема в том, ты же знаешь, что Сам по этому поводу тоже не напрягается. Чистокровных особенно близко не подпускает, но половинками и четвертинками не брезгует... Ну да не нашего ума дело... Ну а вот это ты видел?

И с этими словами Ягодкин повернул к Присичу экран планшетника, на котором чернели столбцы цифр.

– Да, видел, вы же мне рассылали... таинственная шифровка, полученная Щегловым в Англии неизвестно от кого.

– Да, и он Мельника убедил, что это чья-то провокация. С намеком таким вроде бы, что чуть ли не моя... Что молчишь? Все же знают, что я Щегла не люблю. Я этого особенно и не скрываю. А с чего мне этого хлыща любить? Я ведь нутром чую: не наш он, чужой. И еще докажу, поймаю его, ты не сомневайся. Сколько веревочке не виться...

Присич предполагал, что Ягодкин возненавидел Щеглова из-за дела полковника ФСБ Киресова, у которого на квартире полиция нашла и конфисковала 280 миллионов долларов наличными. Ходил странный, неправдоподобный слух, что к этому как-то был причастен Щеглов, что чуть ли не он ментов на тот общак навел. Хотя, казалось бы, какое он мог иметь к этому отношение? Ведь наблюдение за силовиками никак не входило в его обязанности. И какой ему резон в таких разборках участвовать и ментам потворствовать? Но Ягодкин сразу в тот глупый слух поверил и при этом так ярился, что каждому было понятно: у него в том общаке была немалая доля. Он даже вбил себе в голову, что Щеглов заложил коллег прежде всего для того, чтобы лично ему, Ягодкину, насолить. Отсюда и вся эта оголтелая ненависть. Но не то, что произносить вслух, но даже как-то намекать на свои выводы Присич не собирался. Он же не идиот.

А Ягодкин продолжал своим полусшепотом:

– И Мельник, как всегда, Щеглу поверил. И нам приказал оставить его в покое. Но мы-то с тобой знаем, что это не наших с тобой рук дело. Но кто же тот шутник? Даже если предположить, что Щегол чист, хотя не верю я в его чистоту, ой не верю... Но если допустить такое, то всё равно же ЧП, всё равно надо срочно расследовать. Кто это такой, кто может в нашу сеть влезать и такое там воротить? Это же вопрос государственной безопасности.

– Вот именно, – вставил Присич. – Еще какой! Надо новую защиту ставить.

– Да это само собой. Специально обученные люди уже занимаются. Но и диверсанта надо выявить. И наказать по всей строгости. Ох, уж эти хакеры. Расстрелял бы их всех без разбору.

Присич энергично кивал головой: насчет расстрела согласен.

– А ты не думаешь, что Щегол может на иностранную разведку работать? Нет? Может его художница эта, или еще какая-нибудь вертихвостка завербовала?

Присич неопределенно мотнул головой, вроде бы, нет, не думаю, но кто его знает...

– Ну я тоже, конечно, так далеко не захожу... Пока. Но вот на Китайца грешу. Алюминий тут еще как может быть завязан. Понимаешь, о чем я? Щегол же с Китайцем с институтских времен дружит. Да и сейчас общаются, но аккуратно, не часто. Чтобы внимания к этой дружбе не привлекать. Не на бескорыстной основе, надо думать, дружат. А допустимо ли это, чтобы генерал, начальник спецотдела, от олигарха зависел? Это куда же годится? Куда так мы докатимся?

– Да, но ничего конкретного мы в этом плане не нашли. Хотя и искали, вы же знаете. Ну учились они вместе в МГИМО на одном курсе, на восточном отделении, в одной академической группе. Встречаются, но редко, выпивают, вспоминают баб каких-то и профессоров чихвостят. Ничего конкретного.

– Плохо искали. Надо бы опять за Щеглом походить и посмотреть. Потщательнее. Когда там рэндомная последний раз была?

Рэндомными в отделе называли неожиданные, внеплановые проверки. Компьютер методом случайного выбора указывал имя того или иного сотрудника, которого тут же брали в оборот: за ним устанавливалась плотная круглосуточная слежка, каждое его слово, каждый вздох и пук записывались и тщательно анализировались. Если операция не выявляла совершенно никаких подозрительных обстоятельств, то она прекращалась через пять дней. Но если всплывала любая, даже незначительная странность, то проверка продлевалась на неопределённое время, пока все вопросы не снимались.

Присич заглянул в свой планшетник и доложил:

– Последняя была три с лишним месяца назад. Ничего существенного не выявлено, хотя мы по вашему указанию продлили ее еще на один цикл.

– Ну теперь обложите его так, чтобы всё, что можно и чего нельзя, выкопать, – сказал удав.

«И то, чего нельзя? Это что, намек? Что надо рыть что-нибудь,

даже если нарывать нечего? Подложить под него какую-нибудь телку, с иностранными посольствами якшающуюся? Но дело-то стрёмное. Щеглов – любимчик Мельника и вдобавок институтский приятель руководителя аппарата президента, болгарина чертова Христо Христова. И с его подачи теперь Щеглова, может быть, в начальники Федеральной Службы метят. А про контры Ягодкина со Щегловым тоже всем известно. Как бы не залететь, а то сделают из меня козла отпущения, если что. Я, конечно, рискнул бы ради шефа, но мне более ясное указание нужно», – напряженно думал Присич.

Но ясности он не дождался. Ягодкин закрутил разговор с помощником, напутствовав его требованием «выжать Щегла досуха», подкрепленным порцией мата, который в его устах звучал странно-вато – из-за того, что и ругательства произносились едва слышно.

Как только Присич скрылся за дверью, Ягодкин открыл секретный планшетник и после серии сложных операций вышел на тройного шифрования мессенджер, по которому вызвал корреспондента с ником «Известь».

«Мне срочно нужен компромат на Щеглова. Любой. Всё, что есть, если это даже кажется мелочью. И на Мельника тоже», написал он.

Это, видимо, удивило «Известь», потому что на экране появились три вопросительных знака.

«Да, да. Нужно. Выполняй, но осторожно. Особенно в отношении Мельника. Не дай бог нам с тобой попасться»

«А на Христо тебе пока компра не требуется? Или, может, сразу на президента?», появился на экране ответ.

«Очень смешно, – отрезал Ягодкин. – Делом надо заниматься, делом, а не шутки шутить».

И добавил: «Конец связи».

Дождался, пока весь текст не исчез, не стёрся бесследно, и только потом выключил планшетник.

Но еще долго сидел неподвижно, смотрел в одну точку пустыми голубыми глазами, точно проглоченную жертву переваривал.

Андрей Остальский на протяжении многих лет работал Главным редактором Русской службы Би-би-си. Много печатался в британской и демократической российской прессе. В постсоветское время возглавлял международный отдел «Известий».

Андрей – автор научно-популярных книг на экономические темы «Краткая история денег» и «Нефть: сокровище и чудовище», «Спаситель капитализма», а также страноведческих – «Англия: Иностранец Ее Величества» и «Иностранец на Мадейре».

Пишет и романы, главная тема которых – столкновение культур и национальных менталитетов: «Боги Багдада», «Жена нелегала», «Английская тайна». «Очарованный джазмен». Есть в списке опубликованных книг и жесткая антиутопия («Синдром Л») и сатирическая альтернативная история («Контрэволюция») и даже современная детская сказка «Приключения мистера Крокера».

Андрей – дипломант премии «Просветитель» 2008 и 2009 годов. В 2018 году в петербургском издательстве «Пальмира» вышла книга воспоминаний «Судьба нерезидента», отрывок из которой был опубликован во «Временах».

Нина КОСМАН

РАССКАЗЫ

О борьбе с пессимизмом

Памяти Веры Петровны Яблонской

Много-много лет назад, когда я была ещё совсем юная, у меня была подруга, старая русская женщина, рисовавшая морские пейзажи всю свою долгую жизнь. Однажды она мне рассказала про русского дилера, который мог бы продать мои картины, и даже если бы он мне дал только часть денег, вырученных за мои работы, на это можно было бы жить несколько месяцев, сказала она, разумеется, если бы я жила экономно и дружила с нужными людьми. Советую тебе, как любящий тебя старший друг, сказала она. В те далёкие годы люди ещё звонили другу другу, а не посылали эсмэски, так вот она позвонила мне через несколько недель и узнала, что я ещё не выполнила её пожеланий, и когда она спросила почему, я сказала:

– Потому что всё равно из этого ничего не получится.

– Нельзя быть пессимистом в столь юном возрасте, – сказала она и добавила что, возможно, я изменю свою жизненную позицию, если услышу её рассказ о том, что произошло, когда отец этого самого дилера, который был никем иным, как знаменитым московским куратором Максимом Львовичом Книжинским, хвалил её морские пейзажи и предлагал включить её в свои самые престижные выставки, но гордая моя подруга отвергла его предложения. Он много раз предлагал ей выставить свои картины, и она каждый раз отвергала его предложения, а когда она, наконец, согласилась, он умер от какой-то болезни, которую не смогли вылечить наши замечательные советские врачи, а теперь она уже старая женщина, и её морским пейзажам не хватает места в её крошечной квартире на Утике, ей даже некуда поставить стул и нет места стоять, а тем более ходить,

и она знает, что Книжинский-младший пришёл на смену своему знаменитому отцу и так же как и отец, показывает коллекцию русско-американского искусства в своей манхэттенской квартире, и этот Книжинский-младший спрашивает всех о ней, старой русской женщине, рисующей морские пейзажи, и единственное, что мне нужно сделать, это упомянуть ему её имя, и он, мол, примет меня с распростёртыми объятиями.

– А почему вы сами не хотите ему позвонить? – спросила я.

– Ну, потому что я уже старая и больная, и в моём возрасте как-то некрасиво хотеть выставляться да ещё и звонить кому-то, а так как ты этого не хочешь, значит, ты и должна позвонить.

– Очень даже хочу, – сказала я. – Поэтому и не позвоню.

– Нужно бороться с этим пессимизмом, – сказала Вера Петровна. Ты не должна ему поддаваться, ты должна его преодолеть.

– Ладно, подумаю. Может, и преодолею. Но не сейчас.

– Я тебе через неделю позвоню, – предупредила она. – Посмотрю, как у тебя обстоят дела в борьбе с твоими недостойными мыслями. Не забывай, что Америка – страна победителей. Вера Петровна помолчала секунду, потом добавила: – Да, для меня уже слишком поздно, но ты молода и талантлива, и так вот сидеть с мыслями о безысходности всего – это для тебя это самое плохое. Не лелей свои пораженческие мысли, умоляю тебя.

В конце концов я позвонила Книжинскому, просто чтобы успокоить Веру Петровну. Его автоответчик сообщил, что его, мол, нет в городе, и теперь я знала, что мне нечего будет сказать Вере Петровне, когда она позвонит узнать результаты моей борьбы с моим пораженческим настроем.

Поэтому, чтобы мне было что сказать ей в следующий раз, я снова позвонила ему через неделю, и на этот раз он взял трубку и сказал «Аллоу?» таким изнеженным голосом, что сразу было видно какой он важный и влиятельный человек, и как мало он имеет общего с миром обычных эмигрантских художников, которых пруд пруди и которых ему никак не отучить прерывать его глубокие размышления, посему ему ничего более не остаётся как поднимать трубку и лениво отвечать на вопросы звонящих в час ночи или час дня, таких, как я, борющихся со своим пораженческим настроем или не борющихся, для которых этот звонок является своего рода

победой над собой, если не в мире реальном, то хотя бы в воображаемом. Я хотела ему сказать, что меня вообще никакая карьера не интересует, а звоню я просто, чтобы не разочаровать свою старую подругу, которую Ваш отец знал и у которой долго добивался согласия на выставку её прекрасных морских пейзажей... И вот, наконец, набравшись смелости, я произношу её имя. Вера Петровна Яблонская. Вы, конечно, хорошо знакомы с её картинами.

Я не очень удивилась, что при звуке её имени Книжинский не проявил никаких знаков узнавания. Я хорошо знала свою старую подругу, морскую пейзажистку, знала её привычку смотреть на мир сквозь розовые очки; несомненно эти же самые розовые очки были причиной её неодобрения того, что она называла моим «мрачным взглядом на мир».

Помня наставления Веры Петровны, я сказала обладателю важного голоса, что я хотела бы ему показать слайды своих работ, но как только я сказала слово «работ», он тяжело вздохнул, как будто я серьёзно разочаровала его, и спросил каких работ. «Маслом,» ответила я. «Картины маслом.»

Он еще тяжелее вздохнул и сказал: – Да, но что? Что?

– Я рисую лица, но не реалистичные лица людей...

За этим последовал ещё один вздох, потом выдох, потом – Ах!

Преодолеть искушение повесить трубку мне помогла только мысль о Вере Петровне и о том, как я буду рассказывать ей об этом разговоре.

Он сказал, что ему надо проконсультроваться с календарём и поэтому он отойдёт на минуту от телефона. Из чувства долга перед старой подругой я продолжала держать трубку; вернувшись, он сказал, что я могу принести ему слайды в такой-то день, в 11 утра, но... Тут он сделал вескую паузу – но, повторил он ещё более веско, если я опоздаю на пять минут, то вполне возможно, что он будет не в настроении смотреть что бы то ни было, тем более мои слайды.

В день назначенной встречи я решаю остаться дома, потому что мне жаль тратить мой единственный выходной, который я могу провести в общении со своей новой, ещё не законченной картиной, на встречу с этим человеком, который так серьёзно к себе относится, что ни он, ни предполагаемая возможность выставлять картины

в его квартире не стоят ни минуты моего времени. Бедная Вера Петровна! Что я скажу ей, когда она узнает, что я не победила в борьбе с моим упадническим настроением?

Очи

Ей было пятнадцать лет. Она возвращалась домой из универмага, в котором она подрабатывала после школы. На работе она весь вечер стояла, заворачивая покупки. Должность её так и называлась – «заворачивательница». Когда покупатель платил за покупку, она её заворачивала – и не просто так как-нибудь, а особым способом, которому её обучали несколько часов, гораздо дольше, чем остальных заворачивательниц, так как она каждый раз забывала какую-то деталь ритуала заворачивания. В тот день она была уже примерно в пятидесяти футах от нашего многоквартирного дома, когда вдруг заметила человека в полушубке. Ей показалось странным, что он так тепло одет, ведь на улице было очень тепло, как обычно в конце мая. Но заметила она его не из-за полушубка, а из-за его глаз, которые издали ей показались чёрными углями, чёрными озерами или чёрными зеркалами... Эта чёрная интенсивность глаз усугублялась бледностью лица. Она привыкла к пустым глазам покупателей, которым пять часов подряд заворачивала покупки в универмаге – и к глазам своего начальника, который то и дело возникал рядом, дабы известить её, что ей необходимо пройти ещё один курс заворачивания, если она захочет, чтобы её не выгнали с работы сегодня же. В русском языке есть два слова для глаз: поэтическое «очи» – глаза, отражающие душу, манящие и горящие внутренним огнём, и банальное «глаза». У прохожего были очи.

Очарованная очами незнакомца, она продолжала идти, как всегда, к своему подъезду. Она шла, как обычно, по 66-й улице, и когда она дошла до подъезда, увидела, что он входит в её здание через цокольный этаж. У неё закружилась голова от мысли, что он может быть одним из её новых соседей. Она вошла в своё здание через парадный вход на первом этаже и нажала кнопку лифта. Как же ей с ним познакомиться? Надо обдумать каждое слово, чтоб не ляпнуть ничего глупого или скучного, а то он подумает, что она похожа на покупателей в Александерсе. И, вообще, может,

ей не стоит заговаривать с ним первой, а то он подумает, что она ... что она ...

Она не успела обдумать все возможные способы познакомиться с объектом своих мечтаний. Дверь лифта открылась, и передо ней, в глубине лифта, стоял он сам. Она вошла в лифт, вперив взгляд в пол, чтобы не глядеть на него. Она нажала кнопку лифта, и они начали подниматься на шестой этаж. К счастью, он первым нарушил молчание.

От звука его голоса у неё мурашки пошли по коже. Они не были вызваны страхом – это были мурашки волнения. То, что он сам начал разговаривать с ней в лифте, могло означать только одно. Он чувствует к ней то же самое, что она чувствует к нему.

– Я, – сказал он негромко, – ... не причиню тебе вреда ...

Странное начало, но чего она ожидала? Ведь не думала же она, что этот интересный человек будет знакомиться с ней одним из тех смехотворно банальных способов – как тебя зовут, как ты поживаешь, в какую школу ты ходишь, в каком ты классе и т. д.?

Она хотела повернуть голову направо, но вдруг что-то холодное коснулось её шеи. Не поворачивая головы, она взглянула чуть вниз.

Увидела клинок. У своей шеи.

Лифт поднимался, не останавливаясь на промежуточных этажах. Она жила с родителями на верхнем этаже.

– Дашь мне все деньги, которые у тебя с собой, и я тебя не убью.

Твёрдыми руками она открыла свою сумку, выудила из её недр кошелек, достала двадцатку и отдала ему. Это было всё, что у неё осталось от первой зарплаты и теперь у неё не было ничего.

Лифт остановился на верхнем этаже. Она вышла, и за ней тихо закрылась дверь лифта.

Она подошла к двери квартиры своих родителей и нажала звонок. Мама открыла дверь, глядя на неё, как обычно, с жалостью к трудному будущему, которое ей предстоит.

В этот момент она почувствовала страх, который до тех пор она совсем не ощущала, и тогда она всё рассказала маме: о том, что случилось в лифте, о том, как к её шее был приставлен нож, как она отдала свою единственную двадцатидолларовую бумажку.

Мама позвонила папе на работу, и потом, посоветовавшись с

папой, позвонила в полицию. Минут через двадцать на их маленькой кухне сидело трое огромных полицейских. Один задавал вопросы, другой писал отчёт о происшедшем. От полицейских они узнали, что на прошлой неделе к шеям пяти женщин в их районе был приставлен нож с целью ограбления. Каждая из этих пяти была ограблена в лифте. Те же самые слова были сказаны каждой из них: «Я не причиню тебе вреда. Дашь мне все деньги, которые у тебя с собой, и я тебя не убью».

Через три дня её вызвали в местный полицейский участок: хотя полицейские были уверены, что он был тем самым, с ножом в лифте, им почему-то очень нужно было, чтобы она его узнала – «опознала» – сказали они, при помощи одностороннего стекла, чтобы она его видела, а он её нет.

В участке ей было приказано сидеть на особом стуле в пустой комнате и смотреть на стену, которая на самом деле была не стена, а длинное стекло. За стеклом было шесть человек, стоящих в ряд, лицом к ней. Она сразу его узнала, и как только узнала, сразу – мурашки по коже, как в тот раз, ещё до лифта, когда она впервые его увидела, ещё до того, как он приставил ей к горлу нож... Мурашки эти отличались от мурашек простого страха.

– Ну, – сказал один из полицейских. – Узнали вы его? – Он пояснил, как будто требовалось пояснение. – Того, кто приставил вам к горлу нож?

– Нет.

– Пять женщин-жертв опознали его. Все они указали на одного и того же парня. Из-за его довольно своеобразной внешности они его сразу узнали. Теперь осталось только вам его идентифицировать; тогда мы сможем его посадить за решётку.

– Но я не знаю, который из них – он.

– Хорошо, идите домой, поразмыслите об этом. Если решите, что хотите ещё раз взглянуть, позвоните нам.

По дороге домой она думала, «Нет, не могу, не могу отдать его властям. Не могу, чтобы его посадили за решетку из-за меня.»

Она не звонила в полицию; полиция позвонила ей.

– Вы готовы прийти и взглянуть ещё раз?

– Нет.

– Можно спросить почему?

– Просто ... не знаю ... Просто я занята.

– Девушка, вы понимаете, что без вашего опознания преступника нам придётся его отпустить? Подумайте об этом. Если следующая девушка, к горлу которой он приставит нож, окажется без единого доллара, то есть не сможет ему дать ни копейки, он её убьёт, Вы это, конечно, понимаете?

– Ммм...

– Так вы придете ещё раз, чтобы его опознать?

– Нет.

С тех пор прошло много лет, ей уже давно не пятнадцать, но она всё ещё не знает, что ею тогда овладело, почему она не сделала то, что на её месте должен был сделать каждый здравомыслящий человек. Что случилось с обладателем чёрных, как в песне, очей, она, конечно, понятия не имеет. Вполне возможно, что его отпустили. И вполне вероятно (хотя не обязательно), что благодаря её неуместным чувствам к его очам, какая-то женщина, одна из его будущих жертв, была убита тем же ножом, который он недавно приставлял к её шее. Хотя какая разница каким ножом – тем же самым или каким-нибудь другим. Прошло много лет, но о сих пор в её жизни бывают минуты, когда она признаётся себе, что возможно, она – убийца незнакомой женщины, не в прямом смысле, конечно, а в переносном... хочется надеяться, что только в переносном. Вот до чего может довести интерес к очам, отражающим душу.

Об ангелах и оценках

Когда мне было лет 25, я работала преподавателем в политехническом институте в Бруклине. Недавно нашла дневниковые записи, которые я вела в тот год, и вот одна из них.

Вхожу в класс, смотрю на лица сидящих передо мной восемнадцатилетних юношей и девушек. Двадцать юношей и девять девушек.

– Учитель, вы наш ангел, – говорит студент в первом ряду.

– Наш ангел ведёт нас на небеса, где не будет ни экзаменов, ни оценок, – говорит парень рядом с ним.

– Нет, небеса не такие, – яростно возражает мальчик в третьем ряду. – Там оценки и экзамены не отменяют – они там просто не имеют значения!

– О, конечно, там не экзамены имеют значение, а семьдесят девственниц, которые ты получишь, когда будешь мёртв!

Амир в ярости вскакивает со своего места, и теперь всем видно, что он вовсе не мальчик, а молодой человек, высокий и широкоплечий, и что его кулаки, которыми он потрясает в воздухе в направлении своего противника, в состоянии нанести серьёзные удары. Не совсем понятно, как это произошло, что перепалка между студентами чуть ли не дошла до кулаков, но моя роль – роль учителя – подобна роли судьи, разделяющего боксёров на ринге, хотя я вовсе не подхожу для роли судьи на ринге, ведь я намного меньше ростом обоих участников; мне кажется, что они вряд ли услышат мой свисток, точнее, мой голос, называющий их по именам и приказывающий не вскакивать с места.

– Мы здесь не для того, чтобы обсуждать, что происходит на небесах.

Как только я произношу эти слова, какой-то совсем новый внутренний голос шепчет: «А почему бы и нет? Почему бы и не поговорить о так называемых небесах?»

«Ну, хотя бы потому...» – отвечаю я этому голосу, хотя сама ещё не уверена почему.

– Хорошо, обсудим эту тему, но только если все научатся продолжать сидеть, а не вскакивать с места, и поднимать руку перед тем как открывать рот, и не прерывать друг друга, а главное, самое главное, обходиться без кулаков ...

Я должна казаться строгой, чтобы мои студенты не болтали о том, что я похожа на ангелочка и не обращали внимание остальных студентов на моё белое платье с широкими рукавами, похожими, если смотреть на них с определенной точки, на крылья ангела. Купила я его на прошлой неделе в магазине Армии Спасения (Salvation Army), так как знала, что мой обычный наряд – джинсы и джинсовая рубашка – покажется моей начальнице недостаточно профессиональным в этот первый день занятий в Политехническом институте, где я веду курс под названием Intro to Humanities for Engineers (Гуманитарные науки для инженеров). Начало в девять утра; около двух часов уходит на дорогу – я еду до института на метро, а нью-йоркское метро, ну, сами знаете... Всё это означает, что я должна вставать в шесть утра, а вставать в шесть утра означает, что я пред-

стану перед студентами совсем невыспавшейся.... Когда я преподаю начинающим инженерам, я должна проецировать силу и уверенность в себе, понимая, что ни один из моих учеников не питает никакого интереса к так называемым «великим книгам» (Great Books), которые им придётся читать в качестве домашней работы для моего курса. Более того, ещё до того, как я им задаю какое бы то ни было чтение, они начинают высмеивать прежнее название курса (Великие книги / Great Books), и высмеивают они его достаточно громко, зная, что я слышу каждое слово, этим высмеиванием названия моего курса как бы испытывая мою уверенность в себе, которая мне необходима для того, чтобы стоять перед ними и которую они уже заставили меня частично потерять, обратив внимание всего класса на моё белое платье, делающее меня похожей на ангелочка.

Доктор Редник, заведующая кафедрой Гуманитарных наук, сказала во время собеседования, что даёт мне полную свободу – я сама могу выбирать книги для своего курса и сама составлять учебную программу. Главное, сказала она как бы между прочим, чтобы 99 процентов моих студентов сдали финалс, то есть, заключительный экзамен, состоящий из вопросов по величайшим произведениям западной цивилизации. Если они сдадут экзамен, сказала она, то всё будет хорошо, у меня будет возможность остаться преподавать ещё один семестр в Polytech и (кто знает) может даже уповать на постоянную должность, что очень и очень возможно, сказала она с обнадеживающей улыбкой, но всё это только, если по крайней мере три четверти учеников моего класса получают оценки выше D на заключительном экзамене.

Когда я спросила, могу ли я ознакомиться с заключительным экзаменом, чтобы готовить учебную программу в соответствии с тем, что ожидается от моих студентов в конце семестра, заведующая кафедрой ответила с нежным возмущением: – О нет, нет, это абсолютно невозможно!

– Но тогда как ... Я имею в виду, как они узнают, какие именно книги будут на заключительном экз...

– Если вы их будете учить великим трудам западной цивилизации, если вы их хорошо будете учить, они будут достаточно хорошо знать великие произведения западной цивилизации, – твёрдо сказала доктор Редник, вставая, чтобы собрать документы в папку с моим

именем и таким образом давая мне понять, что разговор закончен и что даже если она действовала не совсем по правилам тут же, на интервью, сообщив мне, что нанимает меня, больше она действовать не по правилам не собирается, и никак не может позволить мне взглянуть на заключительный экзамен, чтобы таким образом помочь мне с приготовлением учебного плана, в который будут включены те же произведения, что и на экзамене.

– Я уверена, что вы, Нина, с вашим беннингтонским образованием, – говорит она, выходя из кабинета, намеренно не заканчивая предложение, явно ожидая, что я сама смогу его закончить, так же, как она ожидала, что я с лёгкостью смогу выбрать пять - шесть произведений из списка великих книг западной цивилизации, начиная с древнего Шумера и древней Греции и кончая двадцатым веком.

На вечеринке факультета, устроенной в честь празднования начала семестра, ко мне подошёл человек, прикрывающий левый глаз правой рукой. Когда он с кем-нибудь разговаривал, его правая рука приоткрывала левый глаз в знак приветствия. Подойдя ко мне, он сказал: «Вот всё хожу и прислушиваюсь к здешним старожилам, и то, что слышу, наводит меня на мысль, что мы должны начать с писателей и мыслителей, начинающих на С.»

– Не поняла, – говорю.

– Если вы хоть немного похожи на меня, то вас должно интересовать, какие книги выбрать для преподавания, чтобы знания студентов соответствовали вопросам на заключительном экзамене. Вот почему я и говорю (очень мило с моей стороны, не так ли?), начинайте с буквы S. Socrates, Shakespeare, Salinger. Имейте в виду, что делиться с вами этой эксклюзивной информацией вовсе не в моих интересах, так как, если все ваши ученики – как и мои – сдадут экзамены, вы, дорогая, будете моим конкурентом, то есть, мы с вами будем соревноваться за эту ужасную работу. И какой бы ужасной она ни была, всё это вовсе не значит, что я не разорву вас на кусочки, если вы будете моим конкурентом.

Он обнажил зубы и, указывая на своё сердце, представился: – Дёрк.

– Почему вы закрываете свой левый глаз, Дёрк?

– Я пытаюсь измерить одним глазом ... мозг ... поле зрения ... Я не хочу учить инженеров, не хочу учить их даже великим про-

изведениям западной цивилизации, но согласен на любую работу, любую. Понимаете, я слишком философичен, чтобы не брать то, что лежит поперёк дороги, и хотя некоторые видят в этом оппортунизм, я говорю: Что такое оппортунизм, если не философия жизни? И потому то, что нам как бы случайно встречается по пути, лёжа поперёк дороги, всегда правильно, и несмотря на мою борьбу с моей собственной интуицией, я каждый раз рано или поздно подчиняюсь ей.

Дёрк говорит, что, поскольку большинство наших студентов – будущие инженеры, они даже и не пытаются скрыть свое презрение к нашему курсу, и нам остаётся просто энергично скакать перед классом, назидательно рассказывая им о том, как книги могут изменить их жизнь. Есть только один способ, благодаря которому книги на самом деле могут изменить жизнь инженера-студента в Polytech. Только если студент потерпит неудачу на экзамене. Это будет наша месть инженерам. И если вы удивляетесь, почему никто нам не говорит, о каких книгах будут вопросы на экзамене – вот потому и не говорят.

– Дёрк, – говорю, – не вижу никакой связи между...

– Разве вы не видите: администрация института хочет, чтобы все сдали на ‘отлично’, но жажда личной мести факультета слишком сильна, и поэтому наше собственное желание доказать студентам, что книги могут повлиять на их жизнь может быть реализовано только таким способом с этими студентами-инженерами.

– Но это довольно жестоко, – говорю.

– Подождите до конца семестра, – говорит Дёрк, – если хотите узнать, что такое жестокость!

Он уходит, смеясь, по прежнему прикрывая левый глаз правой рукой. Участники вечеринки стоят в маленьких группках, каждый держит по пластмассовому стаканчику вина и куску сыра на зубочистке, и когда я пытаюсь спросить у кого-нибудь, какие книги выбрать для курса, чтобы подготовить студентов к заключительному экзамену, я кажусь ребёнком, прерывающим важных взрослых, или незнакомцем, стучащимся в двери из стали, двери, которые не откроются, даже если в них бить кулаками намного более крепкими, чем мои.

Амир, студент, который только что спорил с сокурсником, назвавшим меня ангелом, ведущим класс на небеса, глядит на меня

неодобрительно, и я чувствую, что каждое моё движение, каждое слово вводится в расчётную книгу, своего рода частный реестр, подтверждая всё, что не соответствует незыблемому коду ценностей, с которым он вырос в Марокко. Когда я рассказываю о Диотиме, музе и советнице Сократа по вопросам жизни и любви, он вскакивает со своего места и объявляет классу, что женщины созданы для удовольствия мужчин, и что они не могут выступать в качестве советниц мужчин, даже таких смехотворных мужчин, как этот Сократ, который, кажется, считается мудрецом только потому, что его в детстве не научили подольше сидеть с закрытым ртом. Как только Амир говорит, что женщины созданы для удовольствия, одна половина класса громко соглашается: «Да!» и колотит ладонями по партам, в то время, как другая, женская половина класса не согласна, но девушки слишком скромны и вежливы, чтобы не соглашаться, чтобы спорить так, чтобы их услышали, поэтому я слышу лишь недовольный ропот в ответ на крик Амира и его друга египтянина. «Женщины созданы для удовольствия! Женщины созданы для удовольствия!» Египтянин задаёт ритм, стучит ногами по полу, марокканец делает из своих рук цимбалы, и почти все остальные мальчишки выглядят довольными, несмотря на явное беспокойство о будущих оценках. Мальчишки, не входящие в группу приспешников Амира – их около десяти и в основном, это корейцы и китайцы – сначала шокированы таким открытым проявлением протеста против учителя, в независимости от того, насколько уязвимой кажется сама учительница в этом своём белом платье, делающим её похожим на ангелочка и которое она, очевидно, купила по дешёвке, потому что только в этом платье она выглядит достаточно взрослой, чтобы стоять перед классом и, проявляя выдержку, не накричать на группу студентов, скандирующих: «Say No to female teachers! Say No to female teachers!»

– По видимому, некоторые из нас всё ещё живут в средние века.

Я говорю это довольно спокойно, хотя чувствую, что моё лицо пылает, но уверяю себя, что они этого не заметят или подумают просто, что это мой естественный цвет, и во всяком случае, не всё ли мне равно, что они думают? Кто здесь учитель и кто – студент? Мой единственный союзник, девушка из Румынии с тёмными, полными сострадания глазами, единственная, чьи сочинения не только на-

писаны без грамматических ошибок в каждой строчке, но и умны и интересны, уставилась в блокнот, делая вид, будто перечитывает свои записи о мудрой советнице Сократа, чтобы избежать неловкого положения, в котором она окажется если будет на той или другой стороне – моей или их. К сожалению, мне нелегко даётся моё внешнее спокойствие и мой голос, как всегда, меня выдаёт.

– Учитель, почему ваш голос дрожит?

– Видите ли, я поднималась по лестнице, пытаюсь передать вам эту книгу, но на последней ступеньке лестницы я увидела вас с ружьём в руках, и вы выбили книгу из моих рук, и она упала на пол со стуком, и если это вас радует, то мне нечего вам сказать.

Я иду к двери, как будто собираюсь уходить. Класс затихает.

– Учитель хочет дать нам знания, а мы ведём себя как свиньи!

Это голос маленького корейского студента в последнем ряду, и я не знаю, относиться ли к нему серьёзно или как и ко всему остальному, что идёт из мужской половины класса – как к насмешке. Но корейский мальчик искретен, хотя, как и все остальные, он полулежит на своём стуле и говорит монотонно, без проявления эмоций, как это принято среди этих мальчишек.

– Мои родители работают день и ночь, чтобы оплатить моё образование, и я не собираюсь приносить домой двойку (F) за этот класс только потому, что вы, ребята, приехали из стран, где женщины не имеют права быть учителями и даже не имеют права голосовать.

– Ты называешь наши страны отсталыми? А сам ты откуда, а?

– Южная Корея на том же высоком уровне развития, что и США, – говорит мальчик.

– Правильно, а Марокко на самом последнем месте – говорит другой корейский мальчик, сидящий рядом с первым корейским мальчиком. – С верблюдами и ослами и женщинами, покрывающими себя с ног до головы.

– Разве вы не видите, – внезапно говорю я, – вот так и начинаются войны.

В классе наступает тишина, как будто они переваривают мои слова. Тогда Амир, студент из Марокко, говорит: – Знаете, ребята, а ведь она права.

Ким, корейский мальчик, тоже кивает и говорит: Yeah.

Адель, египтянин, говорит: Yeah.

Вскоре весь класс кивает с самоуверенностью подростков, которые обдумали высказывание взрослого и сочли его достойным уважения. Yeah. Yeah. Yeah.

Этот день знаменует собой поворотный момент в моих отношениях со студентами-инженерами. Я решаю, что больше не буду предлагать их неблагодарному вниманию произведения ключевых авторов западной цивилизации, начинающих на S – Socrates, Shakespeare, Schiller. Отныне я буду задавать им только те книги, которые сама люблю больше всего на свете. На следующем уроке я раздаю ксерокопии стихов Рафаэля Альберти в переводе с испанского*. Я впервые прочитала их, когда сама была подростком, и только благодаря этим переводам я не отвергла полностью свой второй язык, английский, и перестала о нём думать как о хранилище бездушных слов. (См. стих в сноске к этому рассказу.)

После прочтения этих стихов слова моего второго языка приобрели нервы, энергию, чувства, и я до сих пор храню эту книгу как памятку моей первой влюблённости в английский язык. Мне трудно было себе представить, что кто-то может не полюбить эти стихи, как когда-то полюбила их я.

Я даю им пять минут на чтение стихотворения в полной тишине.

После пятиминутного молчания я ожидаю услышать возгласы восхищения, в первую очередь восхищения необыкновенным языком стиха и загадочным, настойчивым повтором последней строки. Очень скоро я пойму, насколько наивны были мои ожидания – не только мои ожидания, конечно, но и я сама. Первый же ученик, которого я прошу сказать несколько слов о стихотворении, возвращает меня в реальный мир.

– Это стихотворение о домовладельце и жилце, который не платит за квартиру, – говорит студент, сидящий за корейским мальчиком. Тот самый, чьи презрительные слова о Марокко и верблюдах привели к моему недавнему примирению с мужской половиной моего класса.

– Автор этого стиха говорит о том, что жилец должен платить арендную плату, – отвечает девушка в первом ряду.

– Если ваш жилец нагадил в квартире, то он не имеет права

съезжать, пока за собой не уберёт. Вот о чём этот стих, – говорит Амир.

– Учитель, ты хочешь знать, о чем этот стих? Хорошо. Я скажу, учитель. Домовладелец выселяет жильца, и ему нужно знать, кто там теперь будет жить, потому что он не хочет, чтобы его недвижимость упала в цене из-за какого-то дурака, который всё ломает и не платит, как полагается, каждый месяц. У моего отца тоже дом с жильцами, так что уж я-то знаю, о чем этот стих.

Я обдумываю, как дать им понять, что они все абсолютно неправы, но так как моя роль учителя не разрешает мне говорить им такие слова как «неправы» в лицо, я говорю:

– Это стихотворение не о квартире или о домовладельце. Слово «Выселение» (Eviction) в названии – это всего лишь метафора. Кто может нам напомнить, что такое метафора?

Мои ученики угрюмо смотрят в пол или на собственные ноги. Я с надеждой гляжу на Елену, девушку из Румынии. Она, конечно, сможет дать мне определение метафоры. Но даже Елена отворачивается от меня.

– Хорошо, – говорю. – Вижу, что вам не очень хочется говорить о метафорах в этом стихотворении, но возможно, вы увидите их на этой картине.

Я вынимаю пачку цветных ксерокопий моей любимой картины Шагала и даю её ученикам, сидящим в первом ряду, чтобы они передали ксерокопии сидящим в задних рядах.

Мои студенты реагируют на картину Шагала не намного лучше, чем на стихотворение Альберти.

– Я вижу цыпленка, – говорит Ной, коротко остриженный студент в среднем ряду. – Летящего вверх тормашками.

– Этот парень Шагала не умеет рисовать. Он что – держал кисть в левой руке, что ли? Да мой брат и тот лучше рисует, – говорит Амир.

После урока некоторые из них толпятся у моего стола, и мне сначала кажется, что они хотят посмотреть на картины Шагала. Стоят, переворачивают страницы большой книги с репродукциями Шагала и обмениваются мнениями.

– Поглядите, ребята. Ещё одна курица. На этот раз красная и синяя. Как перевёрнутый верх ногами дом.

– Дурак, это не курица, это перевёрнутая девушка.

– Не спорьте, ребята, окей? Это и курица, и девушка. Девушка, летящая на цыпленке, окей?

– Учитель, скажите, а зачем нам это знать?

– Вы все уже знаете почему, – говорю. – Этот курс – обязательная часть вашей учебной программы.

– Учитель, а эта синяя курица – тоже обязательная часть нашей учебной программы?

– Нет.

– Учитель, а это стихотворение о жильце и домовладельце – обязательная часть нашей учебной программы?

– Нет.

– Так почему мы должны на них тратить время, учитель?

– Для того, чтобы понять стихотворение или живопись, обязательно учиться в университете. Умение понимать собственные чувства – это всё, что требуется для понимания стихотворения или картины. Нужно просто чувствовать их, понимать посредством чувства.

– А что насчёт заключительного экзамена, учитель?

– Что именно насчёт экзамена?

– Мы будем к нему готовиться или будем его просто чувствовать?

– Это зависит от обстоятельств, – говорю. – От обстоятельств, которые не зависят от меня.

– От кого это зависит, учитель?

– Ну, честно говоря, это зависит от заведующей кафедрой. Но какую бы оценку вы бы не получили на экзамене... Если я знаю, что на протяжении всего семестра вы старались изо всех сил, вам не о чем волноваться, всё у вас будет в порядке. Заключительный экзамен – это ещё не всё.

– Но, учитель, как у нас всё может быть в порядке, если из-за этих синих куриц и этих стихов о домовладельцах и душах выгнанных жильцов мы не сможем концентрироваться на точных науках в течение всего дня? После вашего урока мы должны идти на интегральное исчисление, потом на физику, потом на машиностроение, и наши мозги должны быть в хорошей форме на этих курсах. Мы не можем просто чувствовать, чтобы получить хорошую оценку по интегральному исчислению.

– Сочувствую вам. Мне тоже не хотелось бы учить интегральное исчисление, – говорю я.

– Мы не нуждаемся в сочувствии, учитель. Мы любим интегральное исчисление. Интегральное исчисление не так уж и сложно. Мы все любили математику в школе, учитель. Просто эти стихи и картины этого Марка с синими курицами – всё это затрудняет наше понимание интегрального исчисления, учитель.

– Не понимаю, как стихи и картины могут затруднять вашу учёбу по интегральному исчислению.

– Очень просто, учитель. Для того, чтобы понять эти стихи и картины с синей курицей, мы должны расслабиться и стать такими мечтательными и видеть всё нечётко, как во сне. Как когда принимаешь наркотики... Мы приходим в ваш класс трезвыми, а выходим будто накурившись наркотиков...

– Но как это затрудняет вашу учёбу?

– Вы принимаете наркотики, учитель?

– Для понимания картин Шагала вовсе не нужно принимать наркотики. Я полюбила его картины, когда мне было лет восемь. Они мне были совершенно понятны без каких-то ни было наркотиков...

– Вы когда-нибудь были на уроке по интегральному исчислению, учитель?

– Нет, – признаюсь. – Честно говоря, я бы не хотела изучать интегральное исчисление.

Так проходили мои трудовые будни в Политехническом институте в центре Бруклина.

** Стихотворение Рафаэля Альберти, упомянутое в рассказе. Перевод с испанского.*

Eviction

Good or evil angels,
I don't know which,
hurled you into my soul.
Lonely,
without furniture or bedrooms,
empty.

Suddenly, the wind strikes
these walls,
thin glassy sheets.

Dampness. Chains. Screams.
Blasts.

Please:
when you leave this place,
tell me,
what cruel, evil angels
will want to rent it next?

Tell me.

Rafael Alberti (translated from Spanish by Kosrof Chantikian)

Понятное, давно знакомое

Когда я была в Праге первый раз, я записалась на экскурсию по городу. Когда мы дошли до еврейского квартала, наш экскурсовод остановился возле синагоги и сказал что-то вроде «это синагога» и «это еврейский квартал», но ни слова о судьбе тех, кто там когда-то жил. Я сказала: – Мне кажется, надо упомянуть, что население еврейского квартала было убито. Тогда гид быстро проговорил: – Да, евреи Праги были убиты во время Второй мировой войны.

Молодой человек из нашей группы спросил: – Почему они были убиты? – Гид ему не ответил, поэтому я ответила за гида: – Ну, вы знаете, нацизм, антисемитизм ... Молодой человек, казалось, не понял моего ответа, поэтому я попыталась ему объяснить (всё это происходило на ходу и я в тот день была очень усталая, поэтому моё объяснение прозвучало не очень убедительно). – Началось это много веков назад, с обвинения евреев в убийстве Христа ... Он кивнул: мол, теперь он понял. Но он не понял, что я пыталась объяснить ему глубинные корни европейского антисемитизма. Он кивнул ещё несколько раз, с большим чувством, и мне показалось

– его кивки означают, что он согласен с утверждением: «Евреи убили Христа», так как это было для него что-то понятное, давно знакомое.

Вам нравится Майкл Джексон?

Я не заметила, когда в вагон метро вошел старый афроамериканец. Я пребывала в полудрёме, как обычно по утрам. Я его заметила только, когда услышала, как он обращается к другим пассажирам: «Тебе нравится Майкл Джексон? Тебе нравится Майкл Джексон?» Все отвечали утвердительно, всем нравился Майкл Джексон, некоторые даже говорили, что они горячо любят Майкла Джексона. Он направлялся в мою сторону, продолжая задавать всем тот же самый вопрос, и я знала, что когда он дойдёт до меня, мне придется его огорчить, так как я не собираюсь кривить душой из-за Майкла Джексона. Когда он приблизился к моему месту и спросил: «Тебе нравится Майкл Джексон?» и я сказала «Нет», он горестно воскликнул: – Тебе не нравится Майкл Джексон?!

– Нет.

Он потряс руками в воздухе, повернулся к другим пассажирам и сказал, пожимая плечами: – Ей не нравится Майкл Джексон!

Пассажиры заулыбались, но никто ничего не говорил, никто ему не возражал.

– Как ты можешь не любить Майкла Джексона? Ты что, расистка?

– Я просто не люблю такую музыку, – сказала я.

– Нет, ты расистка. Все любят Майкла Джексона.

– Я не расистка. Что я могу сказать, чтобы убедить вас, что я не расистка? Я просто не выношу такую музыку.

Он постоял возле меня примерно минуту, повторяя «Как же ей может не нравиться Майкл Джексон?», то и дело поворачиваясь к другим пассажирам за поддержкой. Когда поезд остановился, он направился к другому концу вагона, задавая пассажирам тот же вопрос:

– Вам нравится Майкл Джексон?

Читай свою книгу

Однажды я была приглашена на день рождения к своим соседям, коптам (христианам из Египта). Один из них меня спросил:

– Как называется твоя книга?

– Моя книга?

Я думала, что он спрашивает о моей книжке стихов и удивилась этому, так как я не говорю о стихах с соседями.

– Да, твоя книга. Книга твоего народа.

Тогда я поняла, о чём он говорит и сказала, что такая книга называется «Тора».

– Вот и читай Тору, – сказал мой сосед.

– Почему? – спросила я, недоумевая.

– Это твоя книга, вот и читай её.

– Но у меня дома много книг, – сказала я, – с разными названиями. На разные темы, и даже на разных языках... Все эти книги мои и я все их могу читать, если захочу.

– Нет, не можешь. И нашу книгу – не можешь.

– Какую такую «вашу книгу»? – спросила я. – «Новый Завет», что ли?

– И даже имя нашей книги не произноси! У тебя есть своя книга, ну и читай её!

– Если захочу, – сказала я упрямо, – то буду читать любую книгу! И солнце не погаснет от этого и язык у меня не отсохнет, если я произнесу название вашей книги! Новый Завет. Вот!

В этот момент хозяйка подсунула мне большой кусок торта на бумажной тарелке и указала на дверь. Так закончился разговор о «моей книге».

Специалист по русской литературе

Когда мне было лет двадцать с чем-то, я преподавала русский язык в нескольких колледжах. В одном таком колледже моя работа заключалась в уроках «русского разговора» с группами из пяти студентов по два-три раза в неделю; кроме того, я должна была с ними говорить по-русски за обедом.

Я жила в университетском городке, в бывшей клинике, которая

была превращена в общежитие. Так как я была всего лишь на пару лет старше своих учеников, отношения у нас были не формальные, или, как говорят, не по вертикали (ученик – учитель), а дружеские. Лучший студент в моей группе мог подражать любому акценту; его произношение было безупречным, хотя он учил русский только год. Мы дружили и проводили много времени вместе. Мой контракт был всего на один год, поэтому после конца учебного года я уехала, а мой друг остался. Лет через пять он мне позвонил, и я узнала, что он учится в аспирантуре, заканчивает диссертацию по русской литературе. После этого я много лет не разговаривала с ним, пока не нашла его на ФБ. К тому времени он стал профессором русской литературы в известном университете; к его взглядам на русскую литературу с уважением относились другие американские специалисты по России.

В каком-то электронном разговоре он привел цитату из Проханова, и, когда я сказала, пожалуйста, не цитируй мне Проханова, он ответил, что Проханов – автор бестселлеров и его регулярно принимает у себя Путин. Я сказала, что его статус как автора бестселлеров и его встречи с Путиным не делают его для меня более приемлемым – скорее, наоборот. Профессор (теперь он был профессором, а не другом или бывшим учеником) сказал, что прочитал биографию Проханова – в книге было более семисот страниц и он все их прочитал, так как находит Проханова очень интересным человеком.

– Если считать, что антисемитизм и национализм делают человека интересным, – сказала я.

Мой бывший ученик продолжал нахваливать Проханова, и наконец я сказала, что не хочу больше о нём слышать, и, как специалист по русской литературе, он мог бы немножко всё-таки что-то понимать. Он, наверно, воспринял мои слова как оскорбление, потому что сказал, как смешно, что я всё ещё пишу стихи по-русски после стольких лет в Америке, уже пора бы писать на английском...

– И на английском пишу, – сказала я, – но мне интересней писать по-русски, и вообще, то, что я всё ещё могу писать стихи на русском, это в каком-то смысле здорово и довольно необычно, и я бы не сетовала по этому поводу.

Как стать настоящей девочкой

В тот день я читала с учениками рассказ и задала им вопрос о главном герое – почему он сказал то-то и то-то, и две девочки сразу подняли руки и стали помахивать ими в воздухе; им, наверное, казалось, что если они будут махать поднятыми руками из стороны в сторону, то я скорее обращу на них внимание. Они сидели в первом ряду, то есть, недалеко от меня; наверное, поэтому я заметила то, чего раньше не замечала. Как все девочки в той школе, они носили балахоны с длинными рукавами, и теперь, когда они помахивали руками в воздухе, их рукава упали к плечам, обнажив их руки, и мне стало видно, что руки были покрыты татуировками чуть ли не до локтей. Наверно, я всё это видела раньше, просто не обращала внимания. Они обе заметили, что я смотрю на их руки, поэтому опустили их на парту, и хотя руки их теперь лежали на плоскости, рукава всё ещё не полностью их покрывали; глядя на сложные узоры на коже моих учениц, я обдумывала, что мне сказать. Девочки явно очень гордились своими татуировками и хотели поднять рукава ещё выше, что, как мы все знали, противоречило школьным правилам. К счастью, они ответили на мой вопрос, прежде чем я успела его задать.

– Это не татуировки! – сказала одна из них. – Это хна!

Тут я вспомнила, что слышала что-то о хне, но знала я о ней очень мало. Трудно было не восхищаться сложными узорами. Девочки сказали, что узоры нарисовали их мамы, и что эти рисунки хной – это то, что делает их «девочками».

– Как эти рисунки делают вас девочками? – спросила я. – Разве каждая из вас не родилась девочкой?

– Да, мисс Нина, мы были девочки с самого начала, но мы не настоящие девочки, пока у нас на руках нет особого узора хной! Нам нарисуют его в следующем году, тогда мы станем большими!

– Понятно, – сказала я. – Значит, этот рисунок ещё не делает вас девочками?

– Это делает нас девочками, но не совсем, мисс Нина!

– Понятно, – опять сказала я. – Но давайте продолжим наш урок. Мы говорили о рассказе и почему главный герой говорит...

– Мисс Нина, мы знаем ответ! – сказали обе девочки, снова помахивая в воздухе руками с ... не татуировками, а хной.

Так я узнала о рисунках хной на руках и о том, как из просто-девочки они могут сделать настоящую девочку.

Нина Косман (Nina Kossman) родилась в Москве. С 1973-го живет в США. Поэт, прозаик, драматург, художник. Стихи, рассказы и переводы публиковались в США, Канаде, Испании, Голландии, Японии. Пьесы ставились в театрах Нью-Йорка. Изданы две книги английских переводов стихов Марины Цветаевой.

Роман «Царица иудейская» был сначала опубликован на английском языке в Лондоне под псевдонимом. В московском издательстве РИПОЛ классик отдельной книгой вышел его русский перевод, осуществленный известным лингвистом, специалистом по иудаике Александром Милитаревым.

Дмитрий БЛИЗНЮК

ВЕРЛИБРЫ

Окно плавает в чашке с чаем, как поплавок,
и ты опускаешь взгляд в небо,
точно пакетик чая на нитке,
и памятник Ленину еще стоит
с естественно-окаменевшим, замершим лицом,
как человек-мочащийся по пояс в морской воде,
в граните истории.
а война где-то бродит рядом
минотавром с окровавленным поломанным рогом.
и небритые мальчики дерутся на ребрах.
и бурьян молчит, по горло плывет в тумане,
и луна на рассвете горько и грустно мычит,
как корова в бедламе,
и осенние лучи косою медью падают во двор,
будто лестница без перил на небеса.
и девушка-оса жалит меня, усыпляет живьем,
оставляет во мне
прожорливые личинки миров.

Портрет О в молодости

любимая, дай мне таблетку
анальгина; туман туго обмотал
треугольные головы горам,
точно влажными полотенцами,
легчайшая боль неба, мелкая, незаметная,
как подъязычная кость колибри,
и виноградники разлаписто тянутся
по каркасам и шиферным заборам

карликовыми истощенными драконами
(больны осенним рахитом) —
усыпаны сладкими пыльными ягодами.
и грузчики, кряхтя и потея,
уже вносят в прозрачные чертоги воздуха
трехметровые портреты осени, забрызганные
грязью, глиной, грибными спорами,
а осень в кровавых от ягод ботфортах
с нами-статуэтками на ладонях
позирует возле ржавого лимузина
с выбитыми стеклами...

* * *

весна явилась в грязных галифе —
ветряная революционерка
в красной мазутной косынке,
с ржавым маузером в скворечнике,
и свирепый оптимизм, как магнезия,
горячо расплзается по моим венам,
по ветвям, проводам, веревкам с прищепками.
недобитая зима еще прячется в переулках,
клошарой дремлет на откидных полках теней
в плацкартном вагоне воздуха.
хрипит белоснежно-грязная рысь
с перебитым хребтом.
а души снеговиков-белогвардейцев,
вращаясь против часовой, утекают по ручейкам,
обмениваются растаявшими впечатлениями,
кругами от падающих капель.
наконец-то! природа пробуждается —
заспанная царевна
с колоритной бородавкой над толстой губой:
никто ее не целовал из принцев... ну и что?
ущипнула себя звонкой болью проводов,
вырвалась из клещей сна,
выползла из хрустального гроба анабиоза.

кряхтя, растирает занемевшие лодыжки ветвей,
покрылась пупырышками первых почек —
скоро сбросит лягушачью мокрую кожу,
утрет плесень из сонных глаз,
и предстанет плодовой красавицей
с мозгом на вынос – на подносе цветущие вишни,
и синички замелькают, как мысли в ее голове
о червячке, о потомстве, о ерунде...
о, странное вижу – весна! я рад...
и весь мир, как слепая змея с вырванным языком,
бросается наугад.

Зеленый фонарь

невыразимое...
я в тебя угодил, как в капкан,
пошел на родник поздним вечером,
замер безрукой статуей посреди осеннего сада.
что же делать? хватать зубами
сухие ветки – узловатые карандаши,
бросаться под длинные, как лимузины, слова,
чертить чернозем, царапать асфальт...
а молодой клен обнял самку фонаря
(стеклянный цветок на железном стебле),
желтой листвой нарядил металл –
«теперь ты жива! теперь ты одна из нас!»
три девушки с распущенными волосами
грациозно выцокотали на аллею,
за ними просеменили пушистые, как норки,
запахи дорогих шампуней...
я слышал каждый шорох, осязал детали:
велосипедист пролетел, шуршание стройное спиц,
два отрока уткнулись в гаджеты, как жирные мотыльки
в кольца сиреневого света,
бьются мягкими мордами о мерцающие экраны.
и – о чудо – парень с девушкой танцуют вальс
ниже, по асфальтовому течению,

под платиновым сиянием фонаря.
она обучает парня: ангел в белой куртке и с рюкзачком;
и сотни мыслей, деталей, образов роем
жужжат, требуют, покусывают...
но сколько из впечатлений выживут?
или растают, точно крошки масла
на раскаленной сковороде бытия...
я попал в медленный ураган
из желто-красных бабочек октября,
мгновений-однодневок...

Господи, как же мне всё это выразить?
сквозь решето сознания просачивается
фосфоресцирующая соленая вода смысла.
и мысли мысли мысли
кружатся в голове, как музыка Листа:
смотри, как стремительно сорвался кленовый лист –
точно пианист с ногой в гипсе выпал из балкона.
а я выскочил из вечерних теней измененный
невыразимым – будто легкой радиацией
исказили лирический код моей души.
чуть не плакал, бежал домой,
шевелил обрубками рук, сжимал зубами
зеленый призрачный
луч...

* * *

осень – голодная скорпионша
с клейким выводком детенышей на спине,
но никто не приютит ее, не пригреет. лишь поэт
смело протянет руку и скажет: «сигай ко мне!»
осенью каждый второй если не поэт,
то зародыш Гомера:
прошли четыре рыжих недели – без дождей и дрожи.
и каждый третий прохожий ужален роскошным ядом,
и кленовые листья хрустят и шуршат под ногами, точно

чипсы осени со вкусом Пушкина Александра.
а город, а город, а город исподволь грузно
и с грустью впадает в предзимнюю спячку;
дворник жадно сосет никотиновую лапу –
насыщается медвежьим жиром дворовой мечты.
все эти пейзажи – городские, земные, осенние,
с червивыми чертогами и грудями дряхлого золота,
с кривыми гвоздями в полусгнившей раме,
с голым ветром, босиком шагающим по листьям,
будто невидимка по острым ракушкам на берегу моря,
я никогда не забуду, где бы я ни оказался завтра:
в каком-нибудь раю/аду или на незнакомой планете.
спасибо. спасибо. спасибо...

Уран в 38

как прекрасен ее пупок.
такие изящные выемки находишь в бракованных свечах
или на стволах вишен – место, где обнажилась кость,
отмерла старая ветвь или передумала родиться новая.
узкие джинсы – когда развешивает их на стуле –
похожи на картонные цилиндры внутри рулонов.
босоножки на высоких каблуках –
жилистые царицы-скорпионши
с выводком жал, выкрашенных черно-алым.
и главное – глаза. глаза... там всегда
мреют и плывут зеленовато-серые рассветы
инопланетные,
или угасают янтарно-жемчужные закаты
безлюдные.
таинственная планета, и жизни – разумной, хищной –
на ней нет, или она ловко прячется от меня
за границами век, за туманами и озерами.
иногда промелькнет пятнистый монстр страсти,
точно перед объективом дискавери,
но отвлекают пыльно-шелковые облака,
темное пульсирующее солнце.

ее красота отзывчива и тепла –
будто трон с подогревом
или электрический стул с подушечкой от геморроя.
заботливая красавица,
не трепанированная зубчатой самовлюбленностью, –
это редкость: так бриллиант в кольце
искренне переживает, если ты порезался
во время бритья. кто же ее создал, подарил мне?
все вещи в доме пахнут ароматным уютом,
и даже гладильная доска – близорукий птенец птеродактиля –
смотрит на меня великодушно.
а почему бы и нет?
во мне скопилось так много любви –
как радия в закромах миролюбивого диктатора.
пора уже устроить небольшой термоядерный взрыв
семейного счастья.

Дмитрий Близнюк родился в 1979 году. Лауреат нескольких международных конкурсов. Публикации в периодике и сети: «Знамя», «Нева», «Новая Юность», «Сибирские Огни», «Радуга», «Плавучий Мост», «Южное Сияние», «Невский альманах» и др. Публикации на английском: The Pinch, Press53, Dream Catcher, Magma, Sheila Na Gig, Adelaide, The Nassau Review, Navik и др. Книги стихов «Сад брошенных женщин» 2018, «Утро глухонемых» 2018. Вышел сборник стихов на английском «The Red Forest» 2018 («Fowlproh press», Canada). Живёт в Харькове.

Сергей ЯРОВОЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Государство

*Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй.*

В.К.Тредиаковский
“Тилемахида”

Кровавый Идол с именем святым,
Нашедший по нутру себе забаву,
Великих сыновей присвоив славу,
Из черепов детей, убитых им,

Пил кровь, она дымилась, горяча,
А мы, свидетели и жертвы этой тризны,
Все поклонялись Идолу-отчизне,
Что пожирал нас с острия меча.

Мы молча замороженно следили,
Как тело Идола родными наполнялось
И бородавками могильными вздувалось,
Обозначая тех, что уходили.

Иные, захлебнувшись паранойей,
Орудьями служили с наслажденьем
Чудовищу, чья сущность – порожденье
Сна разума, предсказанное Гойей.

Другие, все отринувши сомненья,
Свой крест несли без всяких «но» и «если»,

Но нового, поскольку не воскресли,
Не основали летоисчисления.

И легионы мучеников были
Распяты вдоль дороги в «божье царство»

И о душе живые позабыли,
Увязнувши в трясине Государства.

О, Родина! О, чудище обло!
Я помню: озорно ты и стозевно,
И лай. Где ж волшебная царевна,
Что поцелует мерзкое мурло?!

Привычно поместит наш новый вождь
Тебя в свой перечень рабочих суеверий.
А сердце продолжает свято верить,
И тихо-тихо за окошком плачет дождь...

Путь

По шаткому мостку добрёл до середины,
Здесь более всего раскачивает ветер.
Казалось мне, недавно вышел из долины,
А иней на висках уж предвещает вечер.

Прощаются со мной бамбук, сосна и слива,
Вино друзьям украсит горечь хризантемы.
В просвет меж гор видна ладонь залива.
Стихи слагаю на простые темы.

Так, отразившись в зыбком зеркале потока,
Всего на день, с рассвета до заката,
Сольётся отражение с истоком,
Цветенье вишни с громовым раскатом.

* * *

Ты столько раз мне объяснила всё,
Что и сама смогла поверить в это.
А я молчал, любил, читал Басё
И провожал печаль больного лета.
Молился за тебя, переживал,
Не принимал нелепых извинений,
И выносил меня девятый вал
Опять к тебе, мой злой и добрый гений.
Большие чувства. Тихие слова.
Простая жизнь. Спокойная отрада –
Знать, что ты есть, что боль моя жива,
И помнить: в этом – высшая награда,
Доступная живому существу,
Священно соблюдающему горе,
И, прикоснувшись к нашему родству,
В нём раствориться, как в безбрежном море.

***Девушке, делающей наброски Карандашом
в Cité universitaire***

Нарисуй мне это дерево в мой сад,
Ни о чём другом тебя я не прошу,
В сад, замёрзший много лет тому назад,
Но чьим воздухом я до сих пор дышу.
Нарисуй мне это дерево весной,
Нарисуй мне его радость и цветы,
Нарисуй, как осенью домой,
В землю, возвращаются листья.
Нарисуй, как это дерево дрожит
Одинокое зимою на ветру,
Нарисуй, как наше время пробежит,
И однажды не найдут нас поутру.

* * *

Мне кажется, что в тайниках души
Вы знаете о том, что будет с нами,
К вам это знание является со снами,
Но до поры покоится в тиши.

Вы знаете, но вы боитесь верить
В то, что мы вместе будем навсегда.
Хоть тает снег, но талая вода
Почти не проникает в дом под двери.

Вы не спешите эту дверь открыть,
Хотя с весны приходом вы согласны.
Коль наводнение может быть опасно,
Разумней будет поубавить прыть.

И знаете необъяснимо вы
(И это – за пределом пониманья)
Что что-то изменилось в мироздании,
И стал понятен вам язык травы,

Язык деревьев, птиц, зверей, лесов,
Язык любви, галактик и созвездий,
И вы уже не станете, как прежде
От счастья запирались на засов.

Городу

В этом городе мы растворились с тобой
Средь кафе, ресторанов, прохожих, платанов,
Средь туристской толпы, муравьиной гурьбой
Потеснившей Сите, запрудившей фонтаны.

Нас Монмартр распылил стайкой белых цветов
В виде маленьких, хрупких февральских «ромашек»,

Нам на души набросив туманный покров,
Жизнь слагать приучил из божественных замашек.

Этот город впитал нас, вместив в Монсурри,
В планировку английских ухоженных парков,
В Люксембургском саду, и в саду Тюильри
Наши тени пришили сосновой булавкой.

Этот город в плену нас оставит навек,
Приковав кандалами к Вандомской колонне,
И ни Бог, ни король, ни родной человек
Не сотрет его линий на наших ладонях.

Мостовые квартала Латинского нам
Время жизни своей возвращают сторицей,
Мы хмельные плывем по бордосским волнам,
Кабернеет. Всплывают знакомые лица...

Напутствие

А я тебя по-прежнему люблю,
И ты все так же снишься мне ночами.
Ты, помнишь, пожелала мне вначале:
«Большое плаванье – большому кораблю!».

К тебе плыву во сне и наяву
По странным и неведомым дорогам,
И мне всё кажется: ну вот, еще немного,
И станет ясно, для чего живу.

Я все прошел – и бури, и шторма,
Но в тихой гавани твоей мне нет приюта.
Все разворочено, от палубы до юта...
Эх, жаль, не сходят корабли с ума!

Мне Сан-Франциско дарит свой покой
И счастье обещает Йокогама,

Но кто-то сверху шепчет мне упрямо,
Что мне другой не повстречать такой.

И я тебя по-прежнему люблю,
А ты все реже снишься мне ночами...
В борту пробоину заложим кирпичами:
«Большое плаванье – большому кораблю!».

* * *

В общении мы отнюдь не деликатны
И часто метим мы не в бровь, а в глаз.
Мотивы наших действий непонятны,
Мы их привычно прячем про запас.

Боимся исполнения надежды,
Не отдаем себе отчета в том,
Что истина прекрасней без одежды,
Что счастье не отложишь на потом.

Куда несёт нас жизнь? К какому берегу?
Что даст опору? – вопрошаем вновь.
И кто-то сверху шепчет человеку,
Что нет опоры крепче, чем любовь.

Никогда
Дорожка лунная на зеркале пруда
Нам распахнула двери в
Никогда.

Не ведая греха или стыда
С тобой уходим тихо в
Никогда.

Отступит и заблудится беда
В неведомом, туманном
Никогда.

Всем напастям заказан путь сюда,
Лишь я и ты. И с нами –
Никогда.

Лишь мы с тобой. И падает звезда
Исполненным желаньем.
Никогда.

Жизнь щедрой будет. Пролетят года.
Мы встретимся. Ты знаешь.
Никогда

* * *

Я помню все, о чем ты позабыла,
Я верю многому, чему ты уж не веришь,
И только лишь прошедшим не измеришь
Твое простое: «Я тебя любила».

LaJolla помнит нас и Encinitas,
Без нас скучны DelMar'а рестораны.
Нам нашептала нашу встречу сеньорита,
Волна любви седого океана.

Нас даже жизнь с тобой не разлучила,
Нас даже смерть с тобой соединяет.
Любовь – одна единственная сила,
Что времени прошедшего не знает.

Вдвоем останемся, где нас никто не спросит,
По водной кромке пробежим зарею рано,
И ветер нам с тобой вдогонку бросит
Пригоршню слёз счастливых океана.

Сергей Яровой – поэт, ученый, переводчик. По профессии биохимик/молекулярный биолог, автор многочисленных научных публикаций. Родился в Украине. Защитил диссертацию, работал в Москве.

Выехал на Запад в 1994 г. Жил во Франции, затем переехал в США. Занимается научной работой.

Первые публикации подборок стихов – в феврале 2000 г. и в августе 2002 г. в «Русской Мысли» в Париже. Публиковался в различных зарубежных литературных изданиях, включая «Встречи», «Побережье», «Связь времён» (США), «Литературный европеец» (Германия), альманахе «День русской зарубежной поэзии 2019» (Германия), в русско-американских газетах. Участвовал в сборнике англоязычной поэзии *Invoking the Muse* (2004).

Автор сборника стихов «Три мира» (*The Liberty Publishing House, New York, NY, 2019*).

Владимир МАТЛИН

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

*Над нами сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица*
Александр Блок

Историю Дмитрия Бельцера помнят многие, особенно в русской общине Балтимора, о ней писали все русскоязычные газеты. Но писали они о самом конце, о трагическом финале. Мне же всегда хотелось знать, что предшествовало этому, почему такой человек как Дмитрий ввязался в такие приключения в духе юношеской литературы прошлого века. Я был с ним немного знаком, одно время мы жили по соседству; производил он впечатление интеллигентного и даже утонченного человека, правда, несколько надменного и сноба. Повторяю: это чисто внешнее впечатление, я мало его знал. И вот я случайно познакомился с Любой Бельцер, первой женой Дмитрия; от неё узнал о других близких к нему людях, встречался с ними, расспрашивал. В результате я смог представить себе всю цепь событий, предшествовавших (или, можно сказать, приведших) к трагическому финалу. Здесь я попытался изложить свою версию этих событий. Впрочем, никакой другой версии и не существует.

1

Весь вечер Джилл говорила по телефону с Лорой, а совсем поздно, когда уже собралась спать и надела пижаму, вдруг вспомнила:

– Опять твой родственник звонил, перед самым твоим приходом. Ну, который говорит, что он твой брат. Станный. Я спрашиваю его номер, а он: ничего, я другой раз позвоню. Такая фамилия какая-то... Сидроу?

– А, Сидоров, – вяло отреагировал Дмитрий. Он сидел в кресле

и листал журнал. – Никакой он не брат, он кузен, а по-русски это называется двоюродный брат. Вот он и путает.

– В общем, я тебе передала. Видишь, я не забываю, не то, что ты... – И Джилл ушла в свою спальню.

Перелистывая страницы журнала, Дмитрий пытался вспомнить, когда он видел Андрюшу Сидорова последний раз. Кажется, перед самой эмиграцией, в Москве. Это значит, лет двадцать назад как минимум. Андрюша был тогда только-только со школьной скамьи и собирался в институт. Помнится, он никак не мог понять Дмитрия: как это – эмиграция? Куда? Зачем? А теперь вот, оказывается, сам в Америке...

Андрюша был сыном маминой младшей сестры, тети Оли. Восемнадцати лет от роду по безумной любви она вышла замуж за романтического героя, красавца-блондина в морской форме по имени Владлен Сидоров. Олины еврейские родственники были в ужасе от этого альянса и самого героя, типичного пожирателя невинности в их представлении. Уплывет – только его и видели!.. Все предрекали ей семейную катастрофу – и ошиблись.

Сидоров оказался серьезным, практичным человеком. Прежде всего, никуда он не плавал, а спокойно служил чиновником в Новороссийском порту. Хорошо зарабатывал, не пил, не шляется, и вообще был образцовым семьянином.

Однако семейная катастрофа всё же произошла, хотя и совсем не так, как предсказывали родственники. В шестидесятых годах Сидорова посадили за какие-то дела, связанные с таможней, и дали двенадцать лет. Оля божилась, что Владлен ни в чем не виноват. Она остановилась у сестры, когда с маленьким Андрюшей на руках приехала в Москву ходатайствовать за мужа; это, собственно говоря, и был единственный раз, когда Дмитрий общался со своим двоюродным братом, не считая короткого свидания перед отъездом в эмиграцию. Они были, по сути дела, малознакомыми людьми, несмотря на родство.

А ходатайства жены Сидорову-старшему не помогли. Он прочно сел. Хуже того, в лагерях тяжело заболел. В безнадежном состоянии был досрочно освобожден. Вернулся домой, в Новороссийск сгорбленным стариком без волос, без зубов, и умер через два года на руках обожавшей его по-прежнему Оли.

Когда и каким образом Андрей Сидоров оказался в Америке, Дмитрий понятия не имел. И сейчас, механически листая журнал, он думал о том, что вот появился этот посторонний, неинтересный ему человек, с которым он обязан общаться, поскольку, видите ли, они родственники. О чем им, собственно, разговаривать? Об их матерях? О жизни в Новороссийске? Начнет еще, чего доброго, расспрашивать о семейной жизни. «Какая Джилл? Твою жену ведь зовут Люба?»

Дмитрий заметил, что держит журнал вверх ногами.

И в этот момент зазвонил телефон. Кто это так поздно? Трубка заговорила по-русски:

– Дмитрий? Андрей говорит. Сидоров. Ну, двоюродный брат.

Пауза – видимо, в расчете на вопль восторга. Дмитрий поставился ответить как можно радушнее:

– Здравствуй, здравствуй. Ты где находишься?

– В Балтиморе, недалеко от тебя.

– Ты что – живешь в Балтиморе?

– Как тебе сказать... – замялся Сидоров. – В данный момент – да, в Балтиморе. Не то, что живу, лучше сказать – нахожусь.

– А где же ты живешь?

Сидоров помедлил:

– Везде. Я, видишь ли, лицо без определенного места жительства, живу на своей лодке. Можно назвать ее яхтой... с некоторой натяжкой. Плаваю повсюду. Сейчас нахожусь в Балтиморе, потом... «по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». Помнишь такую песню? – говорил он неторопливо, красивым баритоном, с характерным южно-русским выговором. – А ты-то как живешь? У тебя дочка, наверное, уже большая? Это она к телефону подходила, когда я раньше звонил?

– Да, большая, – ответил Дмитрий и тут же поспешно спросил: – А как же ты на жизнь зарабатываешь, если «нынче здесь, завтра там»?

– Есть много способов заработать на жизнь, это не так уж и трудно. Встретимся – расскажу. Ты как насчет того, чтобы повидаться?

Дмитрий замялся.

– Видишь ли, я не такой свободный, как ты. Работаю каждый день. Давай созвонимся в выходной, что ли, и встретимся на ланч.

– Мне бы хотелось, чтобы ты с Любой приехал сюда, в гавань. В погожий день. Сходим куда-нибудь под парусами. У меня все благоустроено – две каюты, камбуз, ванная с душем. Купаться будем в заливе, загорать. Обед приготовим. Можем переночевать на лодке. Приезжайте!

– Я посмотрю, – промямлил Дмитрий. – Созвонимся как-нибудь.

Шансы на то, что Джилл захочет плавать под парусами, да еще с каким-то родственником из России, были минимальными. «I am not an outdoor person» – говорила она о себе. Это означало, что всяким там пешим прогулкам, ночевкам в лесу, лыжам и играм на воздухе она предпочитала вечеринки с танцами и ланчи с подругами. То есть именно то, чего Дмитрий терпеть не мог.

Конечно, в самих по себе сборищах знакомых ничего плохого не было. Все эти адвокаты, врачи, финансисты и бизнесмены обо-его пола отличались подлинно американским радушием, терпимостью и деликатностью. Стоя в гостинной с бумажной тарелочкой и пластмассовым стаканом в руках, они непринужденно шутили, обменивались новостями. В разговорах старались обходить все потенциально опасные темы политического, расового или морального характера, чтобы не дай бог нечаянно не обидеть собеседника. Говорили о спорте, об автомобилях, о своих детях, рассказывали анекдоты, порой весьма рискованные – дамы поощряли это громким смехом. Танцевали кто во что горазд, главное – в свое удовольствие. В общем, обстановка легкой веселости, любезного приятельства, беспечного флирта. Что тут может не нравиться?

– Да ты послушай, о чем они говорят, – попытался Дмитрий объяснить жене. – Умного слова от них не услышишь! Серьезных книг не читают, в театры не ходят. Твоя любимая подруга Лора – она хоть раз в жизни в опере была? Спроси ее, спроси. Они с Майклом даже в кино не ходят... А танцевать я не люблю, я выгляжу нелепо когда танцую.

В первые год-два их супружества Джилл горячо возражала, объясняла, что судить об интеллигентности людей по тому, любят ли они оперу или нет, неверно, несправедливо. Человек может не любить поэзию или классическую музыку, но он знает множество других вещей, почему же его нельзя считать интеллигентным? Дмитрий

тоже горячился: интеллигент, который не знает поэзию и никогда не бывал в опере?.. Просто смешно. Слово интеллигент он понимал в русском значении, тогда как Джилл производила его от английского прилагательного *intelligent*, что значит умный, знающий.

Однако далеко не все их разногласия объяснялись лингвистическими несовпадениями. Со временем стало очевидно, что почти на всё они смотрят по-разному: на политику, домашнее хозяйство, театр, диету, события на Ближнем Востоке, воспитание детей и даже погоду. Самые невинные вопросы вызывали у них разногласия, переходившие в споры с взаимными обвинениями. Джилл объясняла это разницей в возрасте, хотя в начале их супружества, то есть лет пять назад, она говорила: «Подумаешь, шестнадцать лет, это не имеет никакого значения». Теперь разница была уже «почти семнадцать» и это, оказывается, имело значение.

В ближайшую пятницу снова позвонил Сидоров и снова пригласил поплавать на паруснике.

– Приезжайте завтра пораньше. Утром отчалим, походим по заливу, в Аннаполис сплаваем, там красиво. Станем на якорь где-нибудь в тихом месте. Поужинаем, переночуем. В воскресенье вечером будем дома, пусть Люба не беспокоится.

Пришлось ему рассказать, а иначе, подумал Дмитрий, может какая-нибудь «неловкость выйти»: например, позвонит и назовет Джилл Любой... Особенно подробно посвящать кузена в зигзаги своей семейной жизни Дмитрий не стал; сказал только, что с Любой они разошлись лет пять назад, дочка, естественно, осталась с ней, а сам он живет с новой женой, американкой.

Сидоров отреагировал на это без драматических эксцессов:

– Так приезжай с новой женой. Как ее зовут?

В тот же вечер без особой надежды на успех Дмитрий предложил Джилл в выходные дни поплавать с Сидоровым под парусами. Она неожиданно согласилась, и это согласие, какое-то поспешное и равнодушное, задело Дмитрия.

– Ладно, пусть под парусами, не всё ли равно...

Она не договорила, только качнула плечом, но он ее понял: какая разница, всё лучше, чем сидеть вдвоем в четырех стенах. В будни они уходили на работу, возвращались домой поздно, особенно

Джилл, так что по будням они почти не видели друг друга. Но вот по выходным... «Кажется, для нее это становится невыносимым», — подумал Дмитрий.

2

Вялое желтое пламя долго лизало сыроватое полено, и наконец по древесному волокну веселыми лиловыми огоньками. С кошачьим фырканьем огоньки вспыхивали крошечными взрывами, бросая искры в ночную темноту.

Дмитрий лежал на земле, неотрывно глядя в костер. Когда это было в последний раз? Когда он смотрел в огонь, лежа на земле? Сорок лет назад в пионерском лагере? Кажется, так.

Все трое изрядно утомились от возни с парусом, от долгого купания на отмели, от приготовления обеда, а потом от самой этой обильной еды с пивом. Собственно говоря, обед состоял из одного блюда – состряпанной Андреем настоящей джамбалаи, как ее готовят Сајуns, потомки французских колонистов, одичавшие в болотах Луизианы. Андрей рассказал, что в позапрошлом году он провел несколько месяцев в дельте Миссисипи, где и овладел этим искусством. Местные жители кладут в джамбалаю всякую мелкую водную тварь, которой так богата дельта – креветки, рачки, гребешки, улитки, – варят это с острыми, пахучими специями и добавляют рис. Получается густая ароматная похлебка, такая острая, что в первый момент у него дух перехватило, но потом ничего – с пивом прошло...

Андрей рассказывал неспеша, прихлебывая пиво и поглядывая на лодку. По-английски он говорил свободно, хотя и с ошибками, употребляя мореходные термины, неизвестные Дмитрию и Джилл. Речь шла о дальних путешествиях на лодке под парусами. Джилл волновал шторм: как может такая лодка, всего-то каких-нибудь тридцать пять футов длиной, выдержать ураганный ветер и гигантские волны. Ведь перевернется...

– Перевернется – это еще не самое страшное, – объяснял Андрей своим мягким баритоном. – Лодка устроена так, что возвращается в вертикальное положение, у нее киль тяжелый, с металлом. – И кивнул Дмитрию: – Помнишь, игрушка такая, ванька-встанька?

– А всё-таки, что можно сделать, когда начинается шторм? – попыталась Джилл. Она поднялась с земли и села на бревно.

– Известно что: задраиваешь и укрепляешь всё что можно, уменьшаешь площадь парусов. Если ветер еще сильнее, убираешь паруса совсем.

– А ветер еще сильнее, еще сильнее... – глаза ее светились в отблесках костра.

Андрей улыбнулся и развел руками.

– Тогда ложишься ничком на нижней палубе и молишься.

– Правда? – ее голос дрогнул. – Вы верующий?

– Абсолютно нет. Но что еще остается делать?

Все трое рассмеялись.

Дмитрий приподнялся с земли и пошуровал палкой костер. Стайки веселых искр устремились в темноту.

– Всё же непонятно, – спросил он, – как ты управляешься с лодкой один в плавании? Спать-то когда?

– Ты прав, это проблема. Но в недолгом плавании выдержать можно. Сейчас всё объясню. Понимаете, став во весь рост на палубе, я вижу горизонт на расстоянии примерно четырех миль. Эту дистанцию обычные сухогрузы (с ними встречаешься чаще всего) покрывают где-то за четверть часа. Таким образом, осмотрев горизонт и убедившись, что мне не угрожает столкновение, я имею в своем распоряжении спокойных пятнадцать минут для сна. Немного, но со временем привыкаешь просыпаться каждые пятнадцать минут для осмотра горизонта. Однако долго так не выдержишь, нервное расстройство наживешь, поэтому в большие плавания я хожу с матросом. Вдвоем – совсем другое дело.

– Где же ты его берешь, матроса этого? – поинтересовался Дмитрий.

– А вот так: общаюсь с людьми, как сейчас с вами, рассказываю про путешествия, и, представь себе, люди увлекаются, предлагают свою помощь. Приключения и дальние страны манят не только в юности. Правда... – он замаялся и, усмехнувшись, добавил: – Правда, чаще не матросов, а «матросок», если можно так их назвать. В общем, девушек.

Джилл даже вскрикнула от неожиданности. Дмитрий рассмеялся и сквозь смех сказал по-русски:

– Ты даешь! Со всеми удобствами, а? Только как ты успеваешь? Горизонт ведь надо осматривать каждые пятнадцать минут...

– А откуда они знают, как управлять парусником? – спросила Джилл.

– Держать курс и осматривать горизонт – это каждый может. Но мы перед плаванием делаем еще и несколько учебных походов, я объясняю, что к чему. Я теперь как раз ищу компаньона для трансатлантического путешествия.

Дмитрий опять рассмеялся:

– Кому ты предлагаешь – мне или Джилл?

– Это занятие не для семейных, – проговорил Андрей серьезно, даже грустно.

– А как долго длится такое путешествие? – расспрашивала Джилл. Дмитрий давно не видел ее такой оживленной.

– Как спланировать. Можно на год растянуть, а можно и быстрее. Проще путешествие длилось полтора года, например. Мы, конечно, не спешили. Сначала дошли до Венесуэлы, оттуда вдоль Атлантического побережья спустились до самого Буэнос-Айреса. По дороге останавливались надолго в Джорджтауне, в Рио.

– Кто это «мы», позволь поинтересоваться? – прервал Дмитрий.

Андрей ответил не сразу. Словно вспоминая, он посмотрел на лодку; на фоне воды она чернела словно тень большой птицы.

– Изабелла, кубинка из Флориды. Хорошая девушка, толковая, морское дело освоила отлично, под конец плавания разбиралась не хуже меня. Испанским владела свободно, хотя родной ее язык всё же был английский. А смелая какая...

– И где же она, Изабелла?

Андрей покачал головой:

– Не знаю. Когда мы возвращались и по пути остановились в маленьком городке в Доминиканской республике, Изабелле исполнилось тридцать лет. Мы по этому поводу сидели в таверне на берегу и пили вино. Вино ее не веселило, она была грустная в тот вечер. «Мне, говорит, уже тридцать, это много, я обязана думать о будущем». Я ей говорю: «А что о будущем? Будем и дальше плавать, если ты согласна. Мне не нужен ни другой матрос, ни другая женщина». Она говорит: «Плавать на лодке – это замечательно, только лодка неподходящее место, чтобы растить детей...» И смотрит так

серьезно, без улыбки. Я немного растерялся, только сказал: «Я к этому не готов». Мы молча допили вино и отправились дальше. Через три дня добрались до Майами. Попрощались... И с тех пор я о ней ничего не слышал.

История Изабеллы повергла всех в грустное молчание. При свете догорающего костра Дмитрий вдруг заметил, что у Андрея материнские глаза, темные с поволокой, и квадратный отцовский подбородок.

– Слушай, но ведь нельзя же всю жизнь «по морям, по волнам», – прервал молчание Дмитрий. – Когда-нибудь ты осядешь, верно?

– Возможно.

– Ты не думал о том, чтобы выписать тетю Олю... то есть маму? Как она там одна?

– Что ты! – Андрей в полной безнадежности махнул рукой. – Она из Новороссийска не уедет, там ведь могила навсегда любимого мужа. Он погиб, как она убеждена, ради семьи, чтобы обеспечить нам сносную жизнь. Помнишь, как при советской власти?.. Ну, а теперь она должна вечно его благодарить.

Джилл осторожно спросила:

– Сколько ей было, когда она овдовела?

– Тридцать.

– Тридцать? – переспросила Джилл. Это известие ее взволновало. – И она никогда больше не выходила замуж?

– И слышать не хотела. Такого, говорит, как мой Владлен, больше на свете нет, а хуже – зачем? Я, говорит, за двенадцать лет замужества столько счастья видела, что на всю жизнь хватит, хоть сто лет проживу. А между прочим, из этих двенадцати лет он восемь просидел в лагерях. Вот так.

Разговор после этого как-то не клеился. Да и вообще пора было заливать костер и перебираться на лодку для ночлега.

На другой день к вечеру они благополучно вернулись в Балтимор.

3

Двухдневное плавание на паруснике и вечер у костра произвели на Джилл большое впечатление. Дмитрий видел это отчетливо. Во всяком случае, внешне она стала гораздо сдержаннее, не говори-

ла раздраженно, не вступала в пререкания по каждому поводу, а всё больше молчала, сосредоточенно думая о чем-то своем. По-прежнему возвращалась с работы поздно, с мужем почти не разговаривала, и, что особенно удивляло Дмитрия, перестала общаться с Лорой, которая до того была любимой подругой. Каждый раз, как звонил телефон, она говорила: «Если Лора, меня нет дома». И чаще всего это действительно была Лора.

Смущенный и даже напуганный поведением жены, Дмитрий пытался заговорить с ней, выведать, что у нее на уме, но нарывался на ничего не значащие ответы. Придя вечером с работы, она тут же удалялась в свою спальню, сбрасывала туфли и валилась на кровать. Так она лежала часами – в перекрученной мятой юбке, с размазанной по лицу краской, – и смотрела в потолок глазами, полными слез. Спали они порознь уже давно.

Что с ней происходит? Ясно, что его она не любит, думал Дмитрий, не нужно прятаться от неприятной правды. Может, она в кого-нибудь влюбилась? Вполне возможно, ей ведь всего тридцать лет. В кого? Ну хоть в того же Сидорова: недурен собою, романтическая личность. И что – пойдет она в «матроски»? Вряд ли: плавать месяцами на лодке без парикмахерской, без Saks 5th Ave, без вечеринок с танцами?! Невозможно представить.

Как-то раз Дмитрий попытался вызвать ее на разговор прямым вопросом: как ей понравился Андрей и его образ жизни? На эту тему она отреагировала с неожиданным энтузиазмом:

– Этот твой кузен Эндрю, – сказала она, – уникальная личность, я таких людей не встречала. Он действительно живет так как хочет, следуя своим идеалам. Он единственный известный мне человек, который управляет своей жизнью как парусником, а не плывет по течению, как все остальные. На меня он произвел огромное впечатление.

Сказала и ушла в свою комнату, и следующий вопрос застрял у Дмитрия в горле. Что она собирается делать – следовать за ним? Андрей, правда, сказал, что такая жизнь не для семейных людей, но что ей стоит развестись? Во всяком случае, Дмитрий не исключал такую возможность и сразу подумал об этом, когда однажды, возвратясь с работы, увидел дома необычную картину.

Не то чтобы разор, но одни привычные вещи занимали непри-

вычные места, а других привычных вещей не было на месте. Он поспешно заглянул в ее спальню: так и есть, вся ее одежда отсутствовала. Отсутствовали также все эти фарфоровые статуэтки и чашечки, которые она так любила и которые заполняли их квартиру. На столе в кухне под стаканом лежала записка, написанная на домашнем компьютере:

«Дмитрий, твой кузен Эндрю прав: человек должен следовать своим убеждениям. Я убеждена, что нам надо расстаться. Ты ни в чем не виноват, ты такой как есть. Давай постараемся расстаться по-хорошему, без судов и адвокатов. Я позвоню через несколько дней, попробуем договориться. Очень сожалею. Джилл».

Это вовсе не прозвучало, как «гром среди ясного неба», это назревало давно и постепенно, но все равно Дмитрий был ошарашен. Он сидел на стуле в кухне и перечитывал и перечитывал записку. «Ты такой как есть»... Давно ли она называла его «самым содержательным человеком», «идеалом мужчины»? Пять лет назад, даже меньше, когда он без памяти влюбился в эту темноволосяую, синеглазую, стройную, подвижную женщину, веселую и задумчивую, романтическую и насмешливую, практичную и мечтательную.

Что он сказал тогда Любе? Прямо и честно сказал, что влюблен как никогда прежде, что жить без этой женщины не может и всё такое. Люба смотрела на него широко открытыми сухими глазами, пораженная и растерянная. Хотя не могла же она ничего не замечать в последнее время... Что она сказала? Что-то вроде «А как же Анечкина бат-мицва? Что я – одна буду сидеть на биме?» Ане теперь семнадцать, взрослая девушка. Он пытался установить с ней отношения, но она уклоняется от любых контактов.

Значит, всё-таки существует на этом свете возмездие? Дмитрий встал со стула и несколько раз прошелся по тесной кухне. Он всегда... ну, с тех пор, как стал об этом думать... был убежден, что жизнь человека состоит из нагромождения случайных событий, и поиски каких-либо закономерностей в ней – это лишь игра ума. Мы пытаемся осмыслить случайности, найти связь между событиями, увидеть в них проявление морального императива и тому подобное. А всё это просто случайные совпадения, не более того. Ведь если бы, к примеру, Джилл не бросила его, они могли бы прожить

вместе всю жизнь. Тогда можно было бы считать, что возмездия нет – так получается. В общем, чушь все это.

Есть более конкретный вопрос: к кому она ушла? Дмитрий не сомневался, что просто уйти она не могла, обязательно к кому-нибудь. Наверное, это Сидоров, черт его возьми, больше никого поблизости не видно...

В этот миг зазвонил телефон. Дмитрий схватил трубку – Лора! «Джилл нет дома, она придет поздно» – хотел он сказать привычную фразу, но Лора опередила его:

– Ты знаешь, где она?

– Догадываюсь. Вернее, подозреваю...

– Подозреваешь? А я точно знаю, точно! Она в данный момент находится в «Шератоне» возле аэропорта, на одиннадцатом этаже, в шестьдесят девятом номере. И знаешь с кем?

Дмитрий тяжело задышал в трубку, но никаких предположений не высказал.

– Хелло! Что ты молчишь? – взволновалась Лора.

– Не знаю. Не знаю, с кем она.

– Не знаешь, тогда узнай: с Майклом. Каким Майклом? Моим мужем, вот каким.

И она громко разрыдалась.

Дмитрий молчал, пытаясь прийти в себя от новости. Майкл? Как это возможно? Муж ее ближайшей подруги! Ее непосредственный начальник на работе! Лет шесть назад они трое, Джилл, Лора и Майкл, начали работать в одной фирме. Вскоре Майкл и Лора поженились. После рождения второго ребенка Лора ушла с работы, Майкл и Джилл остались. И вот теперь...

– Ты с ним говорила? Что он сказал?

– Сказал, что наша женитьба была ошибкой, что с самого начала он любил Джилл, но женился на мне, потому что Джилл предпочла тебя. Как тебе это нравится? Я ему говорю: и все наши дети ошибка? – Она заплакала еще громче. – А эта сука... что она сказала?

– Ничего. Оставила записку, что уходит. И всё.

– Уходит на одиннадцатый этаж в шестьдесят девятый номер... Я их выследила, – простонала Лора. – Давай сейчас туда явемся. Устроим им...

Дмитрий представил себе эту безобразную сцену: растерянных

полуголых любовников, разъяренную Лору, осыпающую упреками то мужа, то Джилл, администратора гостиницы, прячущего в усах тонкую улыбочку...

– Нет, никуда я не поеду, – сказал Дмитрий решительно. – Ушла – так ушла. Пусть себе е...ся в шестьдесят девятом номере, черт с ней. Она таким образом следует своим идеалам и управляет своей жизнью.

Лора вдруг перестала рыдать:

– «Управляет своей жизнью?» – это то, что он мне сказал, его слова. Я, говорит, не намерен больше плыть по течению, я хочу управлять своей жизнью.

Дмитрий хмыкнул в трубку:

– Это не он, это ее идеи. Представляю, как она дожимала его этими разговорами...

– Вот сука! Конечно, это всё она заварила, – Лорин голос окреп. – Но я не сдамся так легко. Он отец моих троих детей. Младшей пол-года. Я буду биться насмерть.

На благородном порыве незаслуженно обиженного человека Дмитрий продержался несколько дней, а потом пришло ощущение, что жизнь его разваливается на части, теряет перспективу и смысл. Он стал плохо спать по ночам, днем ходил хмурый и подавленный. Попытался связаться с дочкой, но опять натолкнулся на ледяную стену. Кто-то посоветовал обратиться к психологу, но больше двух визитов Дмитрий не выдержал: психолог поразил его банальностью своих суждений, больше всего он походил на цыганку-гадалку. И тогда, окончательно потеряв надежду наладить свою жизнь, он позвонил Сидорову.

– Хочу с тобой в плавание, – просто сказал он. – Возьми меня в матросы.

– Нет, женатым нельзя.

– А я больше не женат. Почти месяц.

Сидоров реагировал с обычной невозмутимостью, без драматических эксцессов:

– Тогда другое дело. Из тебя может получиться классный моряк, ты воды не боишься, я видел. Хронических болезней нет? Аппендикс вырезан? Прекрасно...

Через два месяца они отчалили в трансатлантическое путеше-

ствии, которое окончилось для них трагически. Но об этом как раз все знают, об их гибели писала довольно подробно вся русскоязычная пресса. Англоязычные газеты ограничились сообщением, что два русских яхтсмана, отплывших в кругосветное путешествие из Балтиморской гавани, погибли во время шторма в Атлантическом океане недалеко от Азорских островов.

К этой истории мне хочется добавить то, что я узнал о жизни прочих вовлеченных в нее людей. Джилл и Майкл переехали в Нью-Йорк, но вскоре разошлись. Он вернулся к Лоре и своим детям, она, говорят, осталась в Нью-Йорке. Мать Андрея Сидорова, тетя Оля, которой должно было хватить счастья на сто лет, не перенесла еще одной трагедии, гибели единственного сына, и умерла от сердечного приступа в Новороссийской городской больнице. Аня Бельцер, дочь Дмитрия, вышла замуж и недавно родила девочку, которую назвали Ольга. Имелась ли в виду тетя Оля, не знаю; возможно, это лишь случайное совпадение.

Ведь жизнь, как говаривал Дмитрий, это бессмысленное нагромождение случайностей.

Владимир Матлин до эмиграции жил в Москве, работал сначала адвокатом, затем редактором на киностудии, писал сценарии научно-популярных фильмов. В Америке с 1973 года. Более двадцати лет проработал на «Голосе Америки», где вел несколько программ под псевдонимом Владимир Мартин (в частности, «Обзор еврейской жизни»).

В 1997 году вышел в отставку, и с тех пор занимается исключительно писательской работой. Опубликовал в Америке и России семь сборников рассказов и повестей. Живет в пригороде Вашингтона.

Элла МИТИНА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Владик проснулся с чувством, что если сегодня не решить вопрос с женой, то он либо ее убьет, либо сам повесится.

Дальше так жить было нельзя. Ксюха раздражала безумно, мешала жить, стояла как кость в глотке или камень на дороге. Владик разлюбил ее, и с этим ничего поделать было нельзя. Ксюха перестала ассоциироваться с музыкой, она перестала «звучать». При виде ее в голове возникала какофония враждебных резких звуков, а не божественная мелодия.

Окончательно он понял, что жена ему не нужна два дня назад, и когда она сообщила, что ждет второго ребенка, Владик пришел в ярость. Никакого второго ребенка он не хотел. Он с первым-то еле смирился.

Когда Сенечку принесли домой, он боялся подходить к нему или, тем более, брать на руки. Мать с Ксюхой сюсюкали над младенцем, пихали его под нос Владиду, тот изображал умиление, но старался как можно скорее увильнуть от вечно орущего малыша. И поспешить к тому, что было действительно дорого: к своей скрипке, любимому Джованни Кавани 1930 года, родному и знакомому до каждой трещинки и потертости на темной лакированной поверхности. Скрипка всегда успокаивала, утешала, вдохновляла и понимала, но требовала взамен к себе столько любви и внимания, что на другую любовь у Владика просто не оставалось ни сил, ни желания. Он хотел только одного: отзаниматься свои обычные четыре часа, затем убрать скрипку в футляр, предварительно бережно укутав ее фланелью, просто читать, слушать музыку, мысленно готовиться к какому-то очередному выступлению, а вечером отправиться на концерт – свой собственный или какого-то другого музыканта. Однако женитьба четыре года назад на Ксении совершенно поломала его правильную и налаженную жизнь. Он понимал, конечно, что появ-

ление жены внесет кое-какие коррективы в его мир, но все же оказался не готов к столь радикальным переменам. Ребенок, бессонные ночи, вечно усталая Ксюха, которая уделяла ему все меньше внимания, мать, неожиданно принявшая сторону невестки – все это ужасно утомляло, беспокоило и требовало решительных перемен. Нет, не решительных, а самых радикальных. Он страстно их жаждал, но почему-то его особое умение, его дар и необыкновенная интуиция ничего ему не подсказывали, никакого выхода.

А между тем дом перестал быть крепостью, а мать – незыблемой опорой, которая всегда считает правым, лучшим и неповторимым, что казалось естественным и вечным. Ведь она, сама отличный музыкант, водила его на уроки музыки, занималась по многу часов, готовила к конкурсам. Мать внушала сыну, что его талант – самое важное в жизни, что карьера музыканта требует постоянных жертв и что все остальное – пустая трата времени.

Именно мать первой поняла, что у Владика замечательные музыкальные способности. Уже года в два, он, толстенький малыш с ангельскими светлыми кудрями, не умеющий толком говорить, точно повторял услышанные мелодии, причем не какие-нибудь детские песенки, а те, что исполняли на фортепиано или скрипке его родители, или те, что он слышал в записях по радио или телевидению. Года в четыре он мог отличить на слух Баха от Бетховена, Моцарта от Шуберта. В семье гостям демонстрировали Владика, как цирковую обезьянку. Фокус был таким. Мать ставила пластинку, скажем, 40-й симфонии Моцарта, звала сына. Он, нехотя бросив свои игрушки, появлялся на пороге гостиной. Мать, поправляя лябочку на его комбинезончике, фальшиво сладким голосом спрашивала: «Владик, детка, тебе нравится эта музыка Шуберта?» Владик, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу и поглядывая в сторону своей комнаты, где был оставлен любимый паровозик, нетерпеливо бросал: «Не, мам, это же Моцарт» и стремглав убегал к своим игрушкам. Гости были в восторге. Родители, само собой, тоже. Но это было еще не все. Когда мальчик плакал или капризничал, было замечено, что, если поставить ему пластинку с задумчивыми и проникновенными «Грезами» Шумана, то ребенок быстро успокаивается и начинает тихо вторить услышанным звукам, а если Третий концерт Бетховена, особенно его первую, прекрасно-взволнованную часть, то, пока

не отзвучат последние аккорды и он не дослушает музыку до конца, заставить его что-либо делать было бессмысленно. Чтобы он доел кашу или суп, требовалось включить запись «Апреля» из «Времен года» Чайковского, который он заворожено слушал, не замечая пропиханной в рот ложки, а если ночью незасыпал, то уже первые несколько тактов Второй части 21-ой симфонии Моцарта, ее божественно-одухотворенных звуков, заставляли Владика вначале замереть в кровати, а потом и умиротворенно уснуть.

Надежды на сына возлагались большие. И он их оправдал. Уже в четырнадцать лет Владик стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. Еще до окончания музыкальной школы при Московской консерватории он играл с лучшими оркестрами страны и даже с группой детей-вундеркиндов выступал в Ватикане перед Папой Римским. После окончания консерватории Владислав Полянский стал известным музыкантом, хотя и не выдающимся – не из тех, что остаются в памяти людей легендой и мифами, но все же ярким и индивидуальным. Его концерты собирали полные залы. Был он красив – высокий, с темными волосами, богемно ниспадающими на плечи и строгим, медальным профилем. На сцене он казался воплощением аристократизма и завораживающего артистизма. Было что-то в его облике властное, сильное, заставляющее слушателей трепетать и подчиняться. Публика, особенно женщины, ценили в нем эту властность, а его виртуозность и умение с блеском решать самые трудные технические задачи, приводили их в экстаз. Владик уже привык к тому, что «бисовок» на его выступлениях было не одна-две, как у многих музыкантов, а гораздо больше. Иногда концерт «на бис» затягивался чуть ли ни на еще одно отделение. Он любил музыку, любил властвовать над огромными залами, и публика с готовностью принимала его сладостный диктат.

Жизнь Владика была подчинена выступлениям и гастролям на два года вперед, и он никаким образом не собирался нарушать свою такую правильную, налаженную, гармоничную жизнь.

В последнее время он искренне не мог понять – почему все рушилось? Почему эта чужая, по сути, женщина, Ксения, которую несколько лет назад никто в семье даже не знал, вдруг стала его матери ближе, чем он, родной сын? Как это могло случиться? В какой

момент? Почему животный инстинкт любви к внуку, словно у какой-то примитивной самки, заглушил любовь к нему, единственному сыну? Конечно, Ксюха ухаживала за матерью, когда та лежала с инфарктом в больнице, и мать потом попрекала его, что у родного сына не нашлось дня, чтобы ее навестить, но ведь Владик тогда готовился к конкурсу в квартет имени Римского-Корсакова, в эту знаменитую четверку полубогов, чей престиж и слава вот уже несколько десятилетий не меркли на мировой музыкальной сцене. И никто не виноват, что на место первой скрипки взяли эту мартышку Ли Лан, механическую куклу, готовую заниматься по сто часов в день, лишь бы добиться цели. Поэтому обвинения матери, что Ксюха, мол, «настоящая, а он болван» приводили его в ярость.

Господи, подумал Владик, хоть бы они все провалились в тартарары и оставили его в покое. И Ксюха с ее детьми, и даже мать. Хотя, если отправить жену к теще в Нижний Новгород, то проблемы решатся сами собой. Владик уже намекал ей об этом, но Ксюха уходила в глухую оборону: отмалчивалась, тихо плакала и лепетала, что в Нижнем у нее брат-инвалид, с которым мать живет в крохотной двухкомнатной квартире. Да и работы, такой как в Москве, в ее городе не найти (Ксюха заведовала культурными программами в Публичной библиотеке). Мать железно держала сторону невестки и кричала, что если Владiku так плохо в семье, то пусть он себе снимает квартиру, а их с Ксюхой и Сенечкой оставит в покое. В общем, тупик, тупик, и еще раз тупик, куда ни посмотри. Дом уже был не дом, покоя не было, выхода, кажется, тоже. Никуда, разумеется, Владик не собирался переезжать, потому что в этой старинной квартире, выходящей окнами на тихий арбатский дворик, с потолками в четыре метра, наборным, темным от времени дубовым паркетом, по которому еще лет сто назад скользили вальсирующие пары на балах его прапрадеда Ефима Давыдова, виртуоза и первой скрипки Императорского оркестра, он вырос, начал заниматься музыкой и здесь, в этой квартире умер его отец, прекрасный скрипач и композитор. Владик не мог себе даже представить, что можно жить, даже временно, в другой квартире, в которой, например, не будет огромной гостиной с большим овальным эркером и роялем, стоящим в нем. Из-за этого эркера с роялем комната напоминала небольшой зал со сценой, в котором частенько, когда был жив отец, устраивались до-

машинные концерты. Владик еще помнил тот волшебный вечер, когда после какого-то успешного выступления отца в Большом зале Консерватории с оркестром Геннадия Рождественского целая компания музыкантов отправилась к ним домой отметить это событие. В этот день Слава Ростропович находился в отличном расположении духа, и он решил помузицировать перед гостями. Великий виолончелист в обычной жизни был простым и обаятельным человеком и просил своих друзей, даже маленького шкета Владика, называть его просто Слава.

И вот, едва прозвучали первые звуки, в квартире погас свет, но дядя Слава продолжал в полной тьме исполнять шубертовскую Ave Maria, а когда свет зажегся, оказалось, что он играл с закрытыми глазами, весь погруженный в музыку, отрешенный и прекрасный, не обращающий внимания ни на свет, ни на тьму. Гости, среди которых были музыканты с мировыми именами, сидели оглушенные и потерянные. И вот тогда-то маленький Владик понял силу музыки, ее невидимое, но властное влияние на людей и поклялся сам стать таким, как дядя Слава. Таким же повелителем душ и управителем эмоций.

А всему этому мог прийти конец. Заниматься, находясь в расстройстве души, он не мог и не хотел. Для занятий музыкой требовались покой, умиротворение, порядок и гармония. А вместо этого он ощущал полнейший хаос.

Мать учила его, что в жизни можно добиться всего, если только очень захотеть. Так она настраивала его на выступление перед конкурсом. Мать говорила: представь, что ты вышел на сцену, а все твои соперники-конкуренты просто не существуют. Ты один во всем мире, во всей Вселенной. Ты и сам – целый космос, над которым не властны ни время, ни пространство. Владик в эти минуты вспоминал тот волшебный вечер в их доме, когда дядя Слава играл Ave Maria, был отрешен и погружен в свой недостижимый мир, и, пытаясь подражать великому виолончелисту, будто обретал крылья. Взмывал над головами членов жюри, готовыми уловить малейший недочет в игре, но очень скоро почтительно умолкшими; парил над зрителями, которые буквально через минуту переставали шелестеть программками и кашлять, как бывает всегда, когда музыкант дает хоть малейшую слабину в игре, и упивался музыкой. Очень ча-

сто ощущение своей избранности помогало. Но, конечно, бывало и так, что в конкурсах, на которые он регулярно, особенно в юности, ездил, принимали участие действительно сильные ребята. Тогда и мать, и Владик прекрасно знали, что дошедшие до третьего, решающего, тура, представляют для них большую угрозу. И тут уж бороться нужно не на жизнь, а на смерть. Ведь на конкурсе, понимал Владик, или ты – или тебя. Конечно, на музыкальном Олимпе нет первых – их может быть много. Зато есть единственные. Одноклассник Мишка Шульман был из таких. Мишку побороть было невозможно. Он родился победителем. Уже в 6 классе, когда он сыграл с оркестром Спивакова концерт Сибелиуса, стало понятно, что родилась новая звезда. Недавно по телеку показывали фильм о Спивакове, и Владик увидел старые кадры, на которых знаменитый скрипач и дирижер после какого-то концерта вручает дорожную скрипку двенадцатилетнему Шульману.

Но однажды в Париже на конкурсе юных скрипачей с Владиком впервые произошла удивительная история и впервые проявился его дар. На последний тур прошли он, китаянка Ли Лан и Мишка Шульман. Все трое учились в одной для «особо одуренных», как они острили про себя, школе, где у Мишки была кличка «Паганини». Его прозвали так не только за длиннющий нос, непомерную худобу и несомненное сходство с итальянским скрипачом, но и за истинный талант, с которым нужно родиться и который не приобретается ни у каких, даже самых лучших, педагогов. Конкурс в Париже был особенным. Обладатель Гран-при получал не только большой денежный приз и возможность выступить с французским оркестром под управлением самого Жан-Клода Казадезюса, но и приглашение на бесплатный мастер-класс в Парижской Летней школе, куда съезжались вундеркинды со всего мира. За час до начала третьего тура они, трое четырнадцатилетних подростков, сидели в примерке, болтая и переговариваясь, стараясь отвлечься от предстоявшего выступления. Мишка, как всегда, рассказывал тупые анекдоты, по сто раз повторяя одно и то же, будто кругом одни недоумки, не способные понять его юмор с первого раза. Он вообще все повторял по два раза – такая у него была особенность, к которой почти все привыкли. Все, кроме Владика. Он терпеть не мог Мишку, не желая самому себе признать, что элементарно зави-

дует его успехам, которые к тому времени были значительно более весомыми, чем у Владика, несмотря на то, что и ему было грех жаловаться на музыкальную судьбу. Сейчас Владик почти не слушал Мишку и рассеянно смотрел, как Лан хохочет над его пошлыми шутками. Удивительно! До начала третьего тура оставалось меньше часа, а они оба ведут себя как последние придурки. Хотя Владик прекрасно помнил про эту обманчивую легкость, знал о феноменальной особенности Мишки буквально за минуту до выхода на сцену сконцентрироваться, преобразиться и из гадкого утенка и нелепого, нескладного подростка в одно волшебное мгновение превратиться в одухотворенного артиста, чья несуразная внешность затмевалась пленительными звуками его скрипки. И уже ни длинный нос, ни сутулая, костлявая спина не имели ровно никого значения. Надо же, – с досадой подумал Владик, – что именно в Париж они поехали вместе. Обычно Владик старался не попадать с Мишкой вместе на музыкальные соревнования, но тут за них все решили педагоги. Владик вспомнил, как мать настраивала его перед поездкой на конкурс: «ты можешь, можешь, можешь, – словно заклинание, повторяла она – ты можешь быть не хуже Миши. Ты знаешь, что стоит только захотеть, но захотеть по-настоящему, все получится – ты понял меня?!» Но Мишка, как назло, на этом конкурсе выступал почти безупречно, и было件件но, что победа достанется ему, а вместе с ней и денежный приз, и выступление с Казадезюсом, и летняя школа. Самое важное во всем этом были даже не приз и выступление с оркестром, а знакомство с лучшими педагогами Европы, которые могли впоследствии пригласить учиться в Париж или Лондон.

Владик внимательно смотрел на смеющихся Мишку с Лан. Он ненавидел своего соперника в эту минуту так сильно, как никогда прежде, и вдруг подумал, что если бы вот Мишка, скажем, сейчас сломал руку, то все бы решилось само собой. Он отчетливо увидел, как тот встает со своего стула, на котором сейчас, развалясь, сидел, спотыкается, грохается на кафельный пол, кричит от боли... В это мгновение дверь открылась – заглянула администратор, молодая девушка в очках прилежной студентки и стриженными под мальчика волосами и спросила, кто из ребят забыл ноты в буфете, которые она сейчас держала в руках. Мишка резко вскочил – ноты, конечно

же, были его – зацепился за ножку стула, неловко подался вперед и грохнулся на пол.

Владик стоял ошеломленный. Он просто не мог двинуться с места. То, что он вообразил минуту назад, сбылось во всех деталях. Вот он, Мишка, корчится от боли на полу и орет как резаный, вот опрокинутый стул. Конечно же, Владик не всерьез хотел Мишкиной гибели – а ведь перелом руки для скрипача может обернуться настоящей гибелью! Он просто думал о возможности такой ситуации, но даже представить себе не мог, что она действительно может произойти. И именно после того, как он ее пожелает и представит во всех деталях. И что все это значит? Совпадение? Предвидение? Или (страшно подумать!) его особый дар, которым он, Владик, обладает?

Кстати, в тот раз умение особо не пригодилось. Потому что жюри, также ошеломленное произошедшим, решило не присуждать Гран-При, а почетные места поделили между собой Владик (первое место) и Лан (соответственно, второе).

С тех пор Владик понял, что у него есть дар, которым он, в случае надобности, может пользоваться. И, нужно сказать, что он в трудные минуты пытался представить ту или иную ситуацию, которая бы повернула дело в его пользу, но только однажды случилось именно так, как он хотел. Но то был сущий пустяк, ничего судьбоносного или сверхважного. Произошло это четыре года назад. Владиду ужасно не хотелось идти на свадьбу Мишки и Лан, которую те устроили, когда вернулись в Москву после окончания Королевской Академии музыки в Лондоне. Отговорка, что, мол, болен, не срабатывала. Что еще за болезнь, когда у друга свадьба, тем более что на нее собирался весь музыкальный цвет Москвы, Лондона и Парижа. Мишка к тому времени уже окончательно утвердился на самой верхней строке списка лучших скрипачей современности. С ним отношения после того случая в Париже стали подчеркнуто дружеские. Владик страшно боялся своего «разоблачения», хотя, понятно, никто его ни в чем упрекнуть не мог. Тем более, что перелом оказался не очень серьезный, и Мишка через пару месяцев полностью восстановил руку. Но Владик, мысленно придумывая серьезные причины, по которым он мог отменить свой поход на свадьбу, вдруг неожиданно представил, просто воочию увидел картину: вот заболевает мать – та частенько

жаловалась на сердце, ее отвозят в больницу, он благородно находится при ней и поход на свадьбу отменяется сам собой.

Каково же было потрясение Владика, когда ночью мать разбудила его и попросила вызвать скорую. В больнице сказали, что у нее острый приступ стенокардии, и он провел с ней там честные сутки. Владик снова поразился своему дару, который, оказывается, был способностью вершить судьбы и управлять случаем.

Теперь, конечно, желание должно быть более радикальными. Чтобы и мать не вмешивалась и не стояла поперек дороги, защищая невестку, и Ксюха с Сенечкой и неведомым ребенком в животе как-то так незаметно испарились, и он бы вернулся к нормальной человеческой жизни. Но что придумать? Что можно пожелать? Какое обстоятельство предположить? В голову ничего путного не шло.

Владик стоял в гостиной у окна и рассеянно смотрел, как во дворе крикливые грузчики-азиаты загружают мебель в кузов огромного грузовика. В машине громоздились старые тумбочки, какие-то ветхие стулья, потрепанные диваны. Поверх груды мебельногохлама лежал огромный плюшевый медведь, такой же линялый и бывалый, как и вся остальная утварь. Владик подумал, что в одном грузовике уместилась чья-то целая жизнь, не больно благополучная, но, вполне возможно, счастливая, судя по медведю, уцелевшему из детства кого-то из домочадцев, несмотря на очевидную никчемность игрушки.

Владик решил прогуляться и зайти в нотный магазин, а после этого поехать порепетировать со своим бессменным концертмейстером Серегой. Зашел на кухню сказать матери, что уходит. Та пила чай из большой синей отцовской чашки и отрешенно смотрела в окно – очевидно, также наблюдала сцену погрузки мебели.

– Последние приличные люди из нашего дома уезжают, – куда-то в пространство, не глядя на Владика сказала она.

Потом вдруг повернулась к нему.

Ксения себя плохо чувствует. Ты бы пошел с ней к врачу.

– Да она беременная, что ты хочешь.

– И что с того? Это ж не болезнь.

– А я-то что могу сделать? Я, кажется, не в больнице работаю.

И потом у меня через три дня гастролы начинаются в Сибири, ты не забыла случайно?

Мать вздохнула. Она не забыла.

– Кстати, Ксюшина девочка, говорят, прекрасно развивается. Так что у вас скоро станет полный комплект.

Мать заискивающе улыбнулась, ожидая увидеть на лице сына хоть какую-то радостную улыбку.

Владик опять почувствовал себя виноватым.

И вечно мать старалась в нем вызвать чувство вины, от которого хотелось избавиться, как от назойливого комара.

– Ладно, – снова вздохнула она, – сама с ней съезжу. Только вот Сенечку не с кем оставить. Может, придешь пораньше, посидишь с мальчиком?

Мать прекрасно знала, что Владик никогда не остается с ребенком один, что он не понимает, что делать с малышом, который вечно капризничает, чем ужасно раздражает Владика так, что спасу нет, но все равно упорно пыталась привить ему пресловутую «отцовскую любовь».

– Слушай, мать, ну, вы тут как-то сами разберитесь. Попроси, что ли, Светлану Федоровну с ним посидеть.

– Спасибо за совет, – злобно огрызнулась она.

Светлана Федоровна была соседкой, добродушной пенсионеркой, которая когда-то была его нянькой, а теперь, став старенькой, иногда гуляла с Сенечкой или оставалась с ним ненадолго, пока Ксюха и мать были заняты.

Владик, не скрывая досады от докучливого разговора, молча подхватив футляр со скрипкой, пошел к двери. Из спальни, держа за руку Сенечку, который теребил в руках старого, еще Владикиного зайца, вышла Ксюха. Владик в который раз отметил, что сын похож на него как две капли воды. И музыкальные способности уже тоже проявлялись у него отличные, даже получше, чем у Владика в его возрасте. Владик в минуты хорошего настроения в шутку называл сына «конкурентом» и даже пытался учить его играть на скрипке, каждый раз удивляясь тому, какой замечательный у мальчика слух, хватка и великолепная музыкальная память. Но уроки с ребенком всегда плохо заканчивались – Владик терял терпение, начинал кричать на сына и Ксюха в спешке уводила мальчика в его комнату. С Сенечкой, как и в свое время с Владиком, музыкой занималась мать и уже даже показывала его знаменитому Плоткину,

который подтвердил одаренность ребенка и пообещал взять к себе в класс через годик, посоветовав за это время подыскать подходящую скрипку-восьмушку. Владик по просьбе матери и Ксюхи даже уже спрашивал у нескольких знакомых о хорошем инструменте, но пока ничего подходящего не попадалось, да и Владик особой активности не проявлял, надеясь, что в нужный момент скрипочка найдется сама собой. Или мать нажмет на свои связи и что-то подыщет.

Сейчас Ксюха и Сенечка молча смотрели на него – Сенечка в ожидании, что папа возьмет на руки и подбросит до потолка, как иногда бывало, а Ксюха, что он скажет ей на прощание что-нибудь хорошее. Но Владик только сухо бросил Ксюше «пока», а сыну помахал рукой, сооротив смешную рожицу. Сенечка немедленно залился веселым смехом.

«Как мало надо ребенку», – подумал Владик.

Выйдя за дверь, он вздохнул с облегчением, словно покинул душное, темное и тесное помещение. Но вынужден был отметить, что жена действительно как-то выцвела, осунулась, выглядела больной и усталой. Что-то вроде жалости зашевелилось в его сердце. Он вспомнил, какой была Ксения четыре года назад, когда они только познакомились. Милая девушка, без всяких претензий. Этаким вариант тургеневской барышни наших дней – смущенная улыбка, тихий голос, хорошее воспитание. Тогда они – несколько известных музыкантов – давали благотворительный концерт для ветеранов ко Дню победы в Публичной библиотеке. За месяц до выступления ему стала названивать организатор, некая Ксения Малец. Голос у нее был низкий, с хрипотцой. Он представлял звонившую толстой теткой с усами, этакой одесской бой-бабой.

Но каково же было его удивление, когда на пороге комнаты, похожей на скучный пенал со шкафами от пола до потолка и маленьким столиком у окна, его встретило нежнейшее создание с пухлыми губами, пучком кудрявых, заколотых на макушке волос и непослушными локонами, обрамляющими наивное, почти детское лицо. В ушах у нее были простенькие сережки «под жемчуг».

«Просто вермееровская «Девушка с жемчужными сережками», – подумал Владик и протянул руку для знакомства. Ксения также протянула свою тоненькую ладошку, осыпанную трогательными веснушками, и густо покраснела. Владик неожиданно для себя вме-

сто пожатия церемонно поцеловал барышню руку. Та засмушалась еще больше и как-то неловко стала поправлять выбившуюся прядку волос.

Во время концерта она сидела в первом ряду и не сводила с Владика восторженных глаз. Владика понравились и обожание, и видимая беззащитность девушки. Среди его знакомых таких не было. Он с детства был окружен целеустремленными, волевыми и жесткими особами, привыкшими с малолетства к рабскому, почти галерному труду, который был непременным условием успеха любого мало-мальски профессионального музыканта. Нежные и трогательные в этой среде не выживали.

– Вот с такой не будет проблем, – подумал Владик. Это не Ли Лан, готовая ради достижения результата заниматься пока не упадет, и ни о чем другом просто не помышляющая.

Через полгода они поженились. И оказалось, что Владик ошибся. Он не учел детей, он не учел Сенечку. А теперь еще и девочку, которая скоро должна появиться на свет. Целый выводок младенцев был против него, против его мира и его внутренней гармонии.

Кстати, у Мишки с Лан детей не было. А значит, не было и таких проблем. Каждый из них жил своей музыкальной карьерой, разъезжая по гастролям и выступая с прекрасными оркестрами в самых престижных залах мира.

Владик тяжело вздохнул. Он и не заметил, как оказался на Новом Арбате. Стоял май – его любимое время года. Лето было впереди, зимы, казалось, не было никогда. Холода, грязь и слякоть, которыми сопровождалась московские зимы, остались в прошлом. Над Арбатом кружил тополиный пух. В этом году он был как никогда обильным. Пух, как из разорванной перины, бешено носился в воздухе, ложился снежными хлопьями на землю, свивался в большие комья и, уносимый ветром, прибывался к стенам зданий, к афишным тумбам, к урнам с мусором. Он казался чем-то ненастоящим, театральным, тайным намеком на то, что зима ушла из города не окончательно. Этот пух был ненавидим москвичами, и каждую весну становился главным предметом разговоров горожан, поносивших городские власти, не желающих расставаться с тополями «женского пола», свою аллергию, невозможность скрыться от переносимых ветром тополиных семян ни на улице, ни дома. Пух, как

опытный вор, проникал во все квартиры, забивался под кровати, тумбочки, столы и обосновывался там, казалось, навечно.

Но сейчас Владика было не до него. Зима была в его собственной душе и какой-то там пух он просто не замечал. Мыслей как изменить свою жизнь по-прежнему не было. Любой вариант казался не окончательным. Куда девать Ксению? Что делать с матерью? А как вести себя самому? Сенечки в этих мрачных мыслях как бы не существовало. При любом раскладе он исчезал сам собой.

В отражении витрины модного ресторана он увидел себя и был неприятно удивлен увиденным – длинная поникшая фигура в темной навывпуск рубашке, черные, развевающиеся на ветру растрепанные волосы, футляр со скрипкой, висящий за спиной, будто сломанное крыло.

«Просто падший ангел какой-то», – недобро усмехнувшись, подумал о себе Владик.

Толпа, пестрая, бесцельная и шумная, обтекала его. Не замечая никого вокруг, он автоматически перешел по подземному переходу и по многократно хоженной дороге направился к знакомому книжному магазину. Сегодня непременно нужно было наконец забрать клавир скрипичного концерта Бриттена, который он давно мечтал сыграть. Он знал, что заказанные в Англии ноты ему вручит «его продавщица», толстушка-хохотушка Светлана. Все лицо Светланы было усеяно большими родимыми пятнами, отчего при первом взгляде на девушку возникало ощущение, что природа, понаставив синие кляксы на подбородке, щеках и лбу, создала черновой вариант лица, а про чистовой забыла и оставила жить с этим черновиком бедную девушку. Впрочем, Светлана была таким милым, радостным созданием, у нее была такая славная улыбка, такое уютное пухлое и очень проворное тело, и она так искренне всякий раз радовалась приходу Владика, что вскоре он перестал замечать ее уродство и взамен получал любые ноты, даже если заказ его был каким-то уж особенно экзотическим. Светлане было страшно лестно, что «сам» Владислав Полянский обращается с просьбой именно к ней. Она не раз бывала у него на концертах и даже сфотографировалась с ним на память, а фотографию в нарядной рамке повесила на стенку стеллажа, который отгораживал прилавок. Но сейчас вместо Светланы он увидел красивую, слегка за сорок, стройную женщину с корот-

кой стрижкой, чуть длинноватым носом и белой прозрачной кожей, смутно напоминающую какую-то французскую актрису.

– Чем могу помочь? – дежурно-вежливо осведомилась она.

– А где Светлана? – растерянно пробормотал он. Привычно взглянув на стеллаж за прилавком, на котором обычно висела его фотография, он увидел выцветший квадрат и одиноко торчащий гвоздь посередине. Владик понял, что Светлана здесь больше не работает и страшно огорчился. Положительно, сегодня все взялись его извести.

– Простите, как Ваша фамилия?

– Ну, Полянский, – хмуро ответил Владик, злясь, что в уж в нотном-то магазине могли бы его знать.

Новенькая, словно не замечая почти хамского тона скрипача, поискала что-то среди кипы нот на прилавке.

– Тогда это для Вас. Она протянула ему пухлый пакет. Светлана просила передать, когда вы придете.

Подняв глаза на продавщицу, он, словно в стену, уперся во взгляд ее желтых, как у рыси, глаз. И неожиданно Владика словно льдом обожгли эти холодные глаза. Он увидел перед собой красивую женщину с аристократичным лицом, длинными пальцами в крупных серебряных перстнях, черном, с высокой горловиной, свитере, облегающим стройную фигуру. Нет, она не была похожа на обычную продавщицу. В ее облике сквозило что-то утонченное, близкое ему. Продавщица продолжала смотреть на него серьезно, не мигая. В это мгновенье словно тонкая струна протянулась между ними и издала нежное скрипичное пиццикато. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, – зазвучала она обещанием скорой мелодии.

«Черт, на кого она похожа?»

Тут без всякой связи Владик представил, что сидит он в комнате у этой незнакомой женщины, за окном льет осенний дождь, они пьют кофе из маленьких фарфоровых чашечек с нежными голубыми цветами, а потом ... И тут он понял, что новенькая похожа на французскую актрису Анук Эмэ из его любимого фильма «Мужчина и женщина»... и что у них будет все.

– Меня, кстати, зовут Ася – продавщица явно наслаждалась его замешательством. В ее взгляде Владик прочел и интерес к нему, и готовность к продолжению отношений, и намек на какую-то тайну,

которую ему предстоит разгадывать. Словом, мелодия, возникшая вначале робким пиццикато, теперь возвестила о себе красивейшим переливом гобойного тремоло и отозвалась обещанием счастья.

«Да, что-то будет, – подумал он. – Моя интуиция еще ни разу меня не обманывала.»

Настроение у Владика резко поменялось. Кажется, жизнь поворачивалась к нему не только темной стороной. Впереди ожидалось что-то хорошее и волнующее.

Он улыбнулся.

– Позвольте представиться, – церемонно поклонился он, – Владислав Полянский.

– Я знаю Вас, – улыбнулась она и убрала прядь за волос за ухо. – Знаете, я много раз бывала на Ваших концертах.

Владик оживился.

– Жаль, что я Вас не видел в зале. Думаю, нужно срочно это исправить. Скоро я уезжаю на гастроли, но в начале следующего месяца у меня концерт в Большом зале консерватории. Приходите. Я у администратора оставлю для вас контрамарку. Вы будете с мужем? – помедлив, спросил он ее.

– Нет, я буду одна, – также помедлив, ответила она.

У прилавка, между тем, собирались покупатели. Ася извинилась и стала заниматься ими.

Владику не хотелось уходить. Он бы вот так стоял и стоял возле Аси, говорил, расспрашивал ее, но понимал, что Асе нужно работать, да и к Сереге уже следовало ехать – время поджимало. Владик оставил Асе свою визитку и велел звонить в любое время.

Когда скрипач ушел, Ася глубоко задумалась.

В своей «прошлой» жизни она тоже была музыкантом, но на втором курсе консерватории переиграла руку (страшный сон любого пианиста), и карьера исполнителя была для нее закрыта. Много лет она работала в нотном издательстве, но неделю назад оно закрылось. И когда ей сказали, что в новоарбатском книжном магазине появилась вакансия продавщицы, она согласилась – все-таки работа была хоть как-то связана с музыкой. Пять лет назад у Аси умер муж, известный художник. Ему был 41 год, и как-то осенним утром (накануне они подробно обсуждали поездку на его персо-

нальную выставку в Париж), он просто не проснулся. «Остановка сердца, – объяснили ей врачи, – у мужчин в таком возрасте бывает, уввы».

«Да-да», – кивая головой часто-часто, как старушка и не очень понимая объяснений врачей, соглашалась Ася. Но и через полгода, все еще не придя в себя, продолжала вести с собой бесконечный диалог:

«Да-да, чего только не бывает, конечно. Но почему все время со мной?»

Ася все никак не могла взять в толк, как это абсолютно здоровый, никогда не болевший мужчина, вот так в одночасье умер и оставил ее одну. Она чувствовала себя брошенной, преданной и обманутой. А потом на смену боли пришли ожесточенность и настороженность, словно Ася каждую минуту ждала какую-то новую подлость, которую опять могла подсунуть жизнь. А чтобы больше не разочаровываться и не страдать, она раз и навсегда решила для себя, что посвящать свою жизнь кому-то или чему-то не имеет никакого смысла. Потому что если судьба дважды отняла у нее самое дорогое – музыку и любимого мужчину, то, пожалуй, нужно жить исключительно для себя. Нельзя отнять то, чем не владеешь. «Ей-богу, – сказала она себе, – так надежнее и спокойнее. Да, надежнее и спокойнее.»

Она часто бывала на концертах Полянского. Видела там и его невзрачную простушку-жену в нечесаных кудельках, и монументальную мать в нелепых старомодных пиджаках, обтягивающих ее крупное тело – та всегда приходила на концерт с цветами для сына. Ей нравился этот знаменитый скрипач, у которого была масса поклонниц, часами ожидавшими его возле служебного входа, чтобы получить заветный автограф. Разумеется, Ася не собиралась пополнять их ряды. Однако ей было приятно его внимание, она не могла не заметить как особенно он на нее смотрел, сколько было желания в его глазах, с каким напором он приглашал ее на концерт, словно был уверен, что после него они немедленно отправятся к ней домой.

«А почему бы и нет?» – задумчиво сказала себе Ася, рассматривая его визитку. Затейливым курсивом в несколько строк было выведено, что Владислав Полянский и лауреат массы конкурсов, и Заслуженный артист, и еще много чего.

«Почему бы и нет, – еще раз подумала Ася, теперь уже рассуждая вполне трезво. – Какая-нибудь приличная мужская особь вполне может меня развлечь. Полянский – очень даже пристойный вариант. Талантлив, знаменит, красив. Но надо бы с ним ухо держать востро. Знаю я этих гениев», – думала Ася, перебирая ноты на прилавке.

Покупатели, как-то хлынувшие разом при Владике, вдруг все также разом и испарились.

«...Такие только и ждут, что ты им будешь поклоняться как иконе, заглядывать в глаза и бесконечно утешать и поддерживать. Нет уж! Хватит с меня этих глупостей со служением и самоотдачей, порывами страсти и прочей сентиментальной чушью, которые всегда плохо заканчиваются.»

Она снова вспомнила их разговор, его победительную улыбку, глубокую морщину на лбу, уходящую к переносице, его богемные длинные черные волосы, манеру откидывать пряди назад всей ладонью и вдруг подумала, что он слегка похож на Мефистофеля с этим его орлиным носом, морщиной и манерой кривить рот на бок во время улыбки. «Что-то в нем есть дьявольское. Ну, что ж, попробуем не оказаться Маргаритой» – сказала себе Ася и рассмеялась, довольная собственной шуткой. День складывался удачно.

Владик вышел из магазина другим человеком. Плечи его распрямились, скрипка больше не болталась за плечами сломанным крылом – он нес ее подмышкой, как шпагу, готовый отразить любой вызов судьбы.

«Черт возьми, – думал Владик, – и чего это я уперся в свои семейные дела? Сколько можно из-за них ломать голову? И почему я должен жить монахом, мотаться по гастролям и, как каторжный, зарабатывать всем этим домочадцам на их весьма небедную жизнь? К черту их всех, к черту и еще раз к черту!»

В приподнятом настроении он направился к метро Арбатская. Владик любил эту старую станцию. Она уже маячила впереди красным кирпичным полукругом, таким символом солидного, «на века», советского строительства. Мечты, одна другой невероятней, мелькали в его голове. Это были сцены их с Асей любви, в которых продавщица выглядела настоящей звездой порнофильма – в черном

белье и туфлях на высоченных каблуках, она, как дикий зверь, извивалась вместе с ним на широченной кровати, покрытой красной простыней и в ее глазах одновременно читались страсть, обожание и благоговение перед господином... Владик вздрогнул и стряхнул с себя морок. До воплощения в жизнь этой сцены все же было далековато, хотя, кто знает? Он огляделся и впервые увидел, что майская «зима» продолжала кружить над Арбатом, но теперь тополиный пух умилил скрипача.

«Красиво-то как, – подумал он. И как это я раньше не замечал? Все какое-то нереальное, сказочное, как в детстве.» – На сердце стало тепло, и его ожесточенность куда-то испарилась.

Он вдруг вспомнил, как мать возила его по снегу на санках и не разрешала, как другим детям, съезжать с горки – берегла его руки. Он тогда только начал учиться играть на скрипке. Владик подумал, что надо бы с матерью быть поласковее – в конце концов своими успехами он обязан именно ей и пообещал себе, что на обратном пути купит своим женщинам цветы и что-то вкусное.

Владик шел размашистым шагом, словно разрезая толпу. До метро Арбатская оставалось буквально пятьдесят метров – только перейти дорогу.

Зазвонил телефон. Владик увидел, что звонит Светлана Федоровна.

«Черт бы ее побрал. Что ей нужно?»

Владик нажал на отбой. Он не собирался разрушать свою внутреннюю музыку, свое настроение, налаженное с таким трудом.

Телефон снова затренькал. Владик помедлил и все-таки ответил.

Светлана Федоровна что-то кричала в трубку. Вначале Владик ничего не мог понять из ее крика, а потом до него стали доходить отдельные слова, которые никак не складывались в окончательный смысл. Он не желал их слышать, осознавать, он хотел заткнуть рот этой старой ведьме, которая выплевывала чудовищные вещи:

– Их обеих грузовик задавил... Они только из подъезда вышли.... Соседи переезжают, грузовик назад подал... Шофер их не заметил... Мы с Сенечкой в окно смотрели, хотели им помахать на дорожку... А-а-а!!! Сенечка-то, Сенечка, все видел, сирота бедная... Ой, не могу, божечки! Воз-вра-щай-ся ско-ре-е-е-е!!!!

Владик остановился посреди дороги. Ноги его сделались ватными. Он автоматически надел на плечо скрипку, потом снял ее, подержал немного в руках, пытаясь осмыслить услышанное и побегал, расталкивая прохожих, не видя ничего вокруг себя, как зомби. В мозгу крутилась фраза Светланы Федоровны про грузовик, который отвозил вещи его соседей. Почему-то вспомнился огромный плюшевый медведь, лежавший на груде мебельного хлама.

А потом без всякой связи, как бывает в минуту потрясений, привиделся он сам, девятилетний, в бархатной курточке и белой рубашке с жабо, стоящий на сцене миланской филармонии с главным призом конкурса юных скрипачей в руках, в окружении членов жюри, других участников и их родителей. Рядом улыбалась мать. Она целовала его, обнимала и ласково приговаривала: «Сыночек, дорогой, видишь, я говорила тебе – мечты сбываются, стоит только захотеть».

Элла Митина в 1978 году окончила Ташкентскую консерваторию как теоретик-музыковед, а затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Кандидат искусствоведения, журналист, автор телепрограмм и сценарист документальных фильмов. Последняя работа – документальный фильм «Дина Рубина на солнечной стороне», снятый к юбилею писательницы и показанный в июле 2019-го на 1 канале России.

Джейкоб ЛЕВИН

ДОМ КАТЕХУМЕНОВ

Летний сон в Риме

После десяти лет, проведенных в Мордовии, солнечный город Рим был для Бориса настолько беззлобным, целительным и прекрасным, что ему стало казаться, что он здесь уже бывал две тысячи лет назад. Рим помог ему окончательно забыть о назойливых лагерных воспоминаниях, о его странной и непонятной миссии на земле. И он полностью переселился в этот город, доверив ему всё самое сакральное: и далёкое детское прошлое, и новую надежду на лучшее будущее.

Ему, способному к языкам, помнящему с детства уроки испанского и итальянского, которые давала ему мать, было нетрудно освоить лёгкий римский диалект с почти русской грамматикой. Каждое утро Борис отправлялся в центр Рима на рынок Кампо де Фиори и покупал себе завтрак из фруктов, маслин, белого хлеба и кофе капучино. Денег у него хватало на всё. Потом он отправлялся на развалины Колизея и карабкался по его камням и стёртым вечностью ступеням, улыбаясь туристам из всех стран мира. Иногда он садился на автобус и ехал на Аппиеву дорогу и там в одиночестве гулял вдоль неё, вспоминая рассказы матери о жизни эфиопских рабов, о бесстрашных ливийских bestiариях, хитроумных сикариях и об отважном, волею писателя Джованьоли, великом фракийце Спартаке.

Обедал Борис в мраморной траттории около рыбного рынка. Суп из сушёной, насквозь просоленной трески – бакалы, спагетти и стакан вина стоили около двух долларов. Между столами прогуливались два человека: один с неаполитанской мандолиной, а другой – с большой бутылью вина в плетёной корзине на ремне через плечо. Если чей-то стакан был пуст, он, не спрашивая, подливал ещё вина. Незатейливая музыка нравилась Борису.

На улице среди белого дня, совсем близко от трагтории, за рыбными павильонами, проститутки без всякого стеснения занимались своим древним ремеслом с грузчиками рыбного рынка. Карабинер, «следящий за порядком», прогуливался за рыбными палатками и, отворачиваясь от проституток, чтобы не мешать им работать, только прикрикивал на них: «Fretta, Fretta*» (*торопись – *итал.*), чтобы они энергичнее обслуживали своих клиентов. Ещё один карабинер в расстёгнутом от жары кителе одной рукой почти волочил за ремень свой карабин по пешеходной дорожке, а другой рукой проверял телефоны-автоматы, висящие на стене, не забыл ли кто-нибудь там мелких монет. Такой «пассакалии» Борис ещё никогда и нигде не наблюдал. Благословенна страна Италия!

После обеда, когда становилось жарко и наступало время сиесты, он шёл в свой крохотный парк из нескольких деревьев, где находил себе место под очень старым, огромным и уродливым деревом и дремал на скамейке.

Так было и на этот раз.

Но вдруг рядом с ним на скамью стремительно опустился пожилой высокий сутулый римлянин с тростью в руке. Набалдашник трости являл из себя голову Чезаре Борджиа. Из расстёгнутой от жары рубахи на груди римлянина вились седые курчавые волосы. В зарослях этих волос таилась крохотная шестиконечная звезда. Его такие же волнистые, жёсткие на вид волосы на голове, казалось, были отлиты вместе с ней. У него был огромный кадык на сморщенной шее, густые седые брови, длинный тонкий нос с огромными ноздрями, похожими на крылья птицы, и подбородок, острый как у Мефистофеля. Его жилистые загорелые руки в переплетении толстых вен выдавали в нём бывшего ремесленника. Рукава светлой мятой льняной рубахи были закатаны выше худых локтей.

– Ebreo**? – скрипучим голосом обратился он к Борису. (**еврей, *итал.* Прим. ред.)

– Да. А вам какое дело? Или я вам мешаю?

– Нет, не мешаешь. Но это неважно. Я ведь тоже тебе не мешаю. Здесь, в этом маленьком парке почти все евреи, даже те, кто не знает об этом. А я умею их легко и безошибочно распознавать. Вон тот мужчина, – и он указал на дремлющего пожилого господина, – приезжает из Австралии каждый год. У него на обоих локтях

псориаз – болезнь евреев-ашкенази в диаспоре. Но сам он не знает, что он – еврей.

– Псориаз – это болезнь евреев в диаспоре? – удивился Борис.

– Да. Сейчас объясню. Евреи тысячи лет бродили вокруг солёного Мёртвого моря, и те различные и необходимые людям минералы, которые там были в изобилии, доставались им легко, намного легче, чем другим народам. Другое дело – в диаспоре. Их организмы так и не научились извлекать из пищи то, что раньше доставалось им почти даром. Отсутствие минералов приводило их к разным болезням, среди которых был и псориаз.

Вон та глухая сеньора, она давно на пенсии, но проводит здесь всё своё свободное время днём, а когда заходит солнце, она читает Вечернюю Католическую Газету, она тоже не знает, что она еврейка.

А тот старичок, который ищет где бы ему присесть, тоже еврей. И он об этом знает. Во время оккупации от него ушла жена-итальянка. Но она всё же прятала его в подвале у своего отца.

Я сейчас расскажу тебе очень интересную историю, если ты поймёшь её, то жить тебе станет легче...

...Это было много лет назад, когда католики – жители Рима – должны были воспитывать и поставлять служителей для нужд Ватикана. Эта обязанность была возложена на них Папой. Умные кардиналы знали, что воспитывать служителей надо начинать с детского возраста. Ватикан искал людей, которые будут преданы ему настолько, что мирская жизнь, родственники, родители и другие человеческие интересы будут этим детям безразличны и забыты ими. В то же время дети эти должны быть уже верующими христианами, знать Закон Божий, говорить на одном из священных языков, на которых можно обращаться к богу, на латыни, греческом или древнееврейском и уметь молиться. Дети эти не должны быть глупы, капризны или распущены. Они должны уважать взрослых и быть послушными.

– Но где взять таких детей? – риторически спросил случайный знакомый Бориса. – Если в христианских семьях они и были, то отдавать их в услужение Ватикану итальянцы не собирались. Дети должны были давать обет безбрачия, а родители знали, что их неминуемо ждёт старость и ждали внимания от детей и внуков. Тогда кто-нибудь будет заботиться и о них. А маленькие дети боялись разлуки с родителями ещё больше.

Иудейские дети очень подходили для того, чтобы быть прислужниками в Ватикане. Они знали Закон Божий с детства и знали два священных языка – латынь, то бишь итальянский, на котором все мы здесь говорим, и древнееврейский – тоже очень важный в Ватикане – он был нужен для изучения Торы и древних манускриптов на иврите. На этом языке они с детства молились. Они были способны настолько, что могли легко выучить даже греческий. Но эти дети не были христианами, они были иудеями, и их родители ни за что бы их не отдали в услужение куда-нибудь или кому-нибудь. В то время Ватикан требовал у верующих католиков помощи в этом важном религиозном вопросе. Позже римляне под руководством иезуита Игнатия Лойолы обновили Дом Катехуменов. Такие дома для насильственного крещения были известны с III столетия новой эры и ничего нового в них не было. Это специальное здание без окон на первом и втором этажах. Туда свозились отовсюду завлечённые обманом или просто похищенные дети, которые, находясь в Доме Катехуменов, должны были забыть своих родителей. Их нужно было подготовить к крещению.

Иные ловкие римляне сделали это богоугодное дело своим заработком и крали детей, получая за это плату. Рабы для этой цели не подходили. Они были чужой собственностью и не были образованы. Ватикану было не всё равно, кто будет прислуживать ему, эти бесправные и отчуждённые от родителей дети евреев очень подходили для служения, потому что их связь с родителями в Ватикане была невозможна, и они на всю жизнь полностью становились его собственностью. Они были послушными, дисциплинированными и образованными. Наиболее способные иногда достигали высочайших религиозных санов, становились кардиналами, папскими нунциями и легатами, но какой ценой? В этом Доме у детей исчезала память. Монахи-воспитатели знали как это делать. Они делали это при помощи молитв.

Конечно же, родители после долгих поисков, рано или поздно узнавали, где находятся их дети. Они приходили ночью к высоким окнам этого дома и звали по именам своих детей. Дом Катехуменов всегда был окружён небольшими группами родителей, опечаленных, но все же не теряющих надежды увидеть своих детей. Но ближе, чем на сто шагов, подойти к Дому Катехуменов им было запре-

щено. Сторожа получали мзду от родителей этих детей, и всё равно прогоняли их, но те приходили снова и снова.

Маленькие дети забывали свои имена, но дети постарше подбегали к окнам, некоторые, наиболее худые, проникали через решётки и падали вниз. А другие после этого уже не могли забыть своих родителей. Их жизнь превращалась в ад. Настоящих католиков из них не получалось. Они скитались по невольничьим рынкам от Смирны и Триполи до Бенгази или Константинополя – голодные, без какой-либо веры, со смятением в детской душе, в поисках любого хозяина. Крестики из дешёвой смальты на их шеях никого не могли убедить в том, что они настоящие католики. Их могли схватить и продать снова. Редким везло попасть в услужение к приличным обеспеченным людям и сделаться вольноотпущенными рабами или рабынями, как мать художника Леонардо да Винчи. Она была своей среди склавенов и была продана в рабство, возможно, в Крым. Тогда каждый второй раб, живущий в Италии, назывался склавеном. То есть славянином. Не миновала Дома Катехуменов и мать будущего гения Леонардо да Винчи. Она была крещена там и имя её стало Катарина. Никто не знает, как она попала в городок Винчи, где местный нотариус обратил внимание, на то, что она была обучена грамоте и умела писать. В то время женщин обучали грамоте только евреи.

Он взял её в свой дом. Когда Катарина родила сына, названного Леонардо, она научила его писать справа налево, подобно тому, как пишут евреи. Ему не представляло труда это делать, поскольку, как некоторые одарённые дети, он умел писать и правой и левой рукой, справа налево и слева направо. Позже это помогло ему придумать собственную тайнопись. Скорее всего, Катарина была еврейкой-ашкенази, хотя некоторые полагают, что она была рабыней в семье образованных хазар. Хазары сохранили библейский обычай прибивать гвоздём ухо раба или рабыни к своему дверному косяку.

Я когда-то видел на одном из рисунков Леонардо ухо с рваной мочкой, – вспомнил случайный незнакомец. – Была ли это фантазия гения? Где он мог увидеть такое ухо? Возможно, у своей матери.

Позже, когда слухи о чудесных способностях к открытиям и изобретениям художника Леонардо да Винчи стали общеизвестными, национальность его матери стали присваивать многие. Арабы,

армяне, далматы и другие. Это явление известно, оно называется «национализация великих и святых». Способность и тяга к открытиям и изобретениям более, чем у других, просматривается у евреев, чему есть масса доказательств. Но евреи меньше других претендуют на принадлежность гения к своей национальности. В этом есть какая-то свойственная им мудрость. И здесь возник некий довольно прозрачный парадокс. Церковь чрезмерно усердно и энергично отрицает принадлежность Леонардо да Винчи к евреям. Явление, не подкреплённое ничем, кроме эмоций. Но античная логика и философия говорят, что многократное отрицание равносильно утверждению.

О детях из Дома Катехуменов можно добавить, что тех, вновь обращённых христиан, которые так и не научились служить католической церкви, отправляли в заморские владения республик Генуи, Венеции, в колонии и на различные острова. Например, на Корсику. Но эти дети уже были католиками и, если даже и возвращались когда-нибудь в дом родителей, то понять их не могли.

Нужно добавить, что раньше римские евреи жили в гетто. На ночь их запирали, и они очень многим рисковали, если бы ночная стража схватила их около Дома Катехуменов. В первый раз они были бы жестоко наказаны, а в следующий – закованы в кандалы и также проданы на невольничьих рынках итальянских колоний.

Так было в средние века. Иудеи тогда не имели никаких прав. Это прошлое было их национальной трагедией. Последний из защищённых детей был Эдгардо Мортара. Это было давно, но это не конец истории... Хоть ты и знаешь, что ты еврей, – повернул голову в сторону Бориса новый знакомый, – но ты, как и те, другие, не знаешь, что ты делаешь здесь. Наверное, ты думаешь, что сидишь здесь, под деревом, потому что сегодня жарко?

– Да, сказал Борис.

– Нет, – сказал случайный знакомый. – Это не так. Ты здесь потому, что под тобой развалины Дома Катехуменов.

Вот эта длинная линия из камня – остатки стены дома. Глубоко под ней проходит фундамент.

И он указал тростью с головой Чезаре Борджиа на кривую линию из булыжника.

– Мы все сюда приходим неосознанно, как рыбы на нерест. Мы

хотим встретить здесь наших далёких, давно пропавших предков и их детей.

Я – Агасфер. Я – везде. И я ещё ни разу за две тысячи лет не пожалел, что не помог Ему, когда он нёс свой крест. А ведь этим я обрёк себя на вечное скитание среди народов. Но, скитаясь среди них, я умножал их знания! А он учил, что знает, как надо жить, но он врал... Он не знал этого. Этого до сих пор никто не знает... Если бы не он, в мире было бы намного меньше горя, безысходности, страданий и не было бы этого Дома Катехуменов.

Борис протянул руку, желая дотронуться до Вечного Скитальца, но рядом никого не оказалось. Это был летний сон в Риме.

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Левин широко известен и как эксперт по средневековому оружию, и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов. Существует более 30 публикаций на английском, итальянском и французском языках о его художественных работах.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в нью-йоркском сабвее», «Encounter in the New York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языках под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

Джейкоб Левин – постоянный автор журнала «Времена».

Владимир СОЛОВЬЕВ

В ЗАЩИТУ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДИАСПОРЫ

***Бродский, Довлатов, Лимонов и др. на скамье подсудимых
Дмитрий Быков в роли прокурора***

ЦЕНТР ПОВСЮДУ, ПОВЕРХНОСТЬ НИГДЕ

Спору нет, литературный процесс протекал в метрополии, даже в такие антилитературные времена, как сталинские: Пастернак, Мандельштам, Бабель, Платонов, Зощенко, Тынянов, Булгаков, Мариенгоф... – называю вершинные имена. Однако теперь уже русская литература тех времен не представима без зарубежных – наверное, все-таки лучшего нашего прозаика прошлого века Набокова, либо такого прекрасного поэта как Ходасевич. Возьмем пять русских литературных нобелиантов: высший, согласитесь, критерий: два изгнанника – Бунин и Бродский, внутренний эмигрант Пастернак, изгнанный из страны после присуждения Премии Солженицын, и только Шолохов прожил у себя на малой родине до упора – умер в станице Вешенская. (Правда, авторство его подвергается большому сомнению – Ред.) Так уж повелось – вплоть до наших сравнительно вегетарианских времен – что в параллель русской литературе на родине возникают яркие вспышки за ее пределами. К русской литературе приложима блестящая формула средневекового философа Николая Кузанца: центр ее теперь повсюду, поверхность нигде.

Ломлюсь в открытые ворота? Да нет же. Есть человек, который уже много лет начисто отрицает литературные достижения русской диаспоры, как, впрочем, и саму диаспору. Это баловень российской словесности, писатель-многостаночник Дмитрий Быков.

ПОД РАЗДАЧУ?

Скажу сразу, что отношусь к его разнообразной литературной и окололитературной продукции с неизменным интересом. Даже к его полемическим, провокативным заявлениям – антиизраильским диатрибам либо, наоборот, провласовским дифирамбам (имеется в виду генерал Власов – Ред.). Имеет право на собственное мнение, пусть даже оно высказано часто не по внутренней нужде «не могу молчать», а из меркантильных – эпатажных и пиарных – соображений. Зато с отменным равнодушием отношусь к его кирпичам в романном и жэзээловском жанрах – трудноподъемны и трудночитаемы: словесная водянка и, увы, дефицит оригинальных мыслей и наблюдений.

В чем Быков по-настоящему преуспел, так это в жанре лирической сатиры. По определению британского словаря, *single-use* – одноразовые стихи-актуалки на случай, на злобу дня, рифмованные передовицы и фельетоны. Хотя ему и мешает гладкопись в очевидном противоречии с политической остротой его актуальных стихов: «Так шутки шлифовал, что не цепляли» – мем нью-йоркского остролова Леонида Либкинда. Может, поэтому Быков пока еще не достиг поэтических высот классиков мениппеи, серьезно-смехового жанра – Игоря Иртеньева, Игоря Губермана («гарики»), Тимура Кибирова, Орлуши и пошедшего в последнее время в обгон москвича Евгения Лесина, не говоря уже о Высоцком и Бродском, которые были великими служителями «музы пламенной сатиры». Пусть Быков далеко уже не «вьюноша» и молоко у него губах давно обсохло, но все-таки и от него можно кой-чего еще ждать именно в означенном жанре мениппеи.

Честно, при таком моем уважительном отношении к Дмитрию Быкову, мне было особенно странно слышать от него столько огульщины в адрес моих друзей еще с питерских времен – Бродского и Довлатова. Сами-то покойники защититься от всей этой напраслины не могут, да я и не уверен, что опустились бы до спора с охальником будь живы. Касаемо Владимира Соловьева Американского с Еленой Клепиковой, как именует нас Быков, присочинив мне совершенно фантазийную биографию, в этот почетный, пусть и негативный список мы угодили не просто под раздачу или рикошетом, а по

ряду конкретных причин. Ну, во-первых, мы выпустили множество статей и книг об этих нелюбимцах Быкова и на обложке одной было указано: «Книга написана в защиту Довлатова от клеветы, зависти и злобы». Во-вторых, угодили с подсказа моих «друзей» питерцев, типа Валерия Попова или Александра Кушнера, с которыми Быков на короткой ноге, а я и Елена Клепикова в литературных контроверзах, причем в одной нашей книге есть целая глава в опровержение завистливо-клеветнического сочинения Попова о Довлатове.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС?

Не о нас, однако, речь, но о писателях, которые побили все рекорды по достижениям: один – примкнув к титанам русской поэзии ушедшего столетия Мандельштаму и Пастернаку, а другой – в популярности, пусть и китчевого порядка. Одна из причин, полагаю, почему они не дают покоя Дмитрию Быкову. Но это забегаю вперед, а теперь быковские цитаты – товар лицом.

Начну с Бродского. Вот что измышляет о нем Быков:

«Бродский – поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан».

«Бродский замечательный выразитель довольно гнусных чувств – зависти, ненависти, мстительности, принадлежности к какой-то большой корпорации, к народу... А с чувствами благородными у него не очень хорошо».

«Он умеет так сказать и так сформулировать, чтобы обывателю было за что уважать себя. Потому что самые примитивные, самые низкие инстинкты, самые гадкие желания и самые мерзкие намерения сформулированы с наибольшей риторической привлекательностью. А это как раз и есть основа патриотического дискурса. Потому что патриотический дискурс – это умение извлекать наслаждение из гнусностей, умение быть последним, а чувствовать себя первым».

«Немудрено, что именно Бродский написал стихотворение на независимость Украины. Одно из худших стихотворений на русском языке, которое появилось в 90-е годы. Дело тут, конечно, не в том, что это убедительно или неубедительно, нравственно или безнравственно... А прежде всего в том, что грубость этого стихотворения неорганична, а риторика его вымучена».

С ЛЮБОВЬЮ И БЕСПОЩАДНОСТЬЮ

Стоп! Цитировать Быкова о Бродском можно бесконечно. На-лицо тотальное отрицание крупнейшего поэта современности. Отвечать Быкову по пунктам бессмысленно, да на каждый чих и не наздравствуешься. Опять-таки имеет право на собственное мнение. От Бродского не убудет от погромных атак Быкова.

Единственное, касаясь его антиукраинского стиха, которое водрузили на свое знамя патриоты по принципу не было гроша, да вдруг алтын. Впервые он прочел его в Квиинс-колледже. Стих мне активно не понравился. Our mutual friend, прекрасный литовский поэт Томас Венцлова нашел стих азартным, но присовокупил: «А слабо тебе, Иосиф, прочесть этот стих на киевском стадионе?» Комментарии, думаю, излишни.

О чем говорить, Бродский был имперцем, но без националистического уклона, скорее питерского разлива – державником, но не великодержавником. Помню, его спор о Достоевском с чехом Миланом Кундерой на страницах литературного приложения к «Нью-Йорк Таймс», когда наш земляк взял такой непристойно высокомерный тон, что отпугнул даже своих друзей и покровителей из здешней истеблишментной мишпухи, которая гордо именует себя Jewniverse и от которой Бродский сильно зависел. Или его сатирическая пьеса «Демократия!», где на орехи досталось всем восточноевропейцам скопом. Или, например, его бесконечная водянистая, на сон грядущий поэма «Шествие», мнение о которой я не преминул сообщить автору еще в Питере: «Мне тоже не нравится», – хихикнул Ося.

БРАЙТОН БИЧ И/ИЛИ РОССИЯ

То же с Довлатовым. Я делал вступительное слово к его единственному литературному вечеру в Ленинграде и помимо хвалы позволил себе немного хулы, что не помешало нашей дружбе вплоть до его трагической и нелепой смерти в Нью-Йорке, где мы, будучи соседями, встречались чуть ли не ежевечерне. Я критически отнесся к его повести «Иностранка», зато высоко оценил его любовный роман «Филиал».

Теперь слово Дмитрию Быкову, а то он ненароком решит, что я позабыл о его существовании, отвлекшись:

«Это среднесоветская (почему и популярная именно в постсоветской России) хроника скуки и раздражения – двух главных довлатовских эмоций, – охватывающих обывательскую душу».

«Задача прозаика – не производить афоризмы и хохмы. Но людям, которым нравится Довлатов, объяснять это бесполезно».

«Довлатов – это Брайтон, ничего не сделаешь. Я никогда не любил Довлатова. По мне это писатель довольно среднего вкуса... Я недавно перечитал, братцы, и «Компромисс» и «Филиал», и «Заповедник». Ну, это очень мелко. Даже на фоне Лимонова он очень мелкий писатель».

Вот! Мимоходом заехал в рыло еще одному писателю-иммигранту, пусть и бывшему – Лимонову. Требуется ли ссылка на Брайтон-Бич пояснения? Для Быкова это средоточие русско-еврейской иммиграции – символ мещанства и пошлости. Он не раз по нему проходится.

Ну, во-первых, считать Довлатова брайтонбичевским писателем, а тем более «главным певцом Брайтона» можно только весьма условно, поскольку мы с ним жили совсем в другом боро Большого Яблока, а именно в Квинсе. А во-вторых – и это главное – «брайтонбичевский» Довлатов приобрел огромную известность в метрополии и стал всероссийским писателем. Значит ли это, что для Быкова «Брайтон» типа эвфемизма, но в обратном смысле: не решаясь предъявить такие обвинения российской аудитории, он лукавит и обозначает ее Брайтоном. Сходство, несомненно, имеет место ввиду общего совкового происхождения русских читателей по обе стороны океана. И то, что в обоих случаях наш зоил и ниспровергатель смещает свое оголтелое критиканство с писателей на читателей, позволяет свести зацикленность Быкова – нет, не совсем к зависти, а к борьбе за читателя, которую он проигрывает Бродскому и Довлатову.

Не под себя ли создает эту литературную страну Лилипутию Дмитрий Быков? Ему в ней уютно и комфортно, как в материнской утробе.

ДОВЛАТОВ С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

А теперь всерьез о Довлатове, отбросив завидушие быковские филиппики в его адрес. Как другу Довлатова, мне, вроде бы, только радоваться его посмертной «широко разбежавшейся участи» – воздаяние за, как пишет мой соавтор Елена Клепикова, литературные мытарства. Сереже не просто не повезло с изданиями в «отечестве белых головок», но и среди непечатных авторов ленинградского андеграунда он был, по словам Лены Довлатовой, – никто.

Сказать, что ему привалило счастье в иммиграции, тоже не могу, увы. Один к одному: широко известный в узких кругах, а какой другой круг читателей мог быть среди здешних наших? Крошечные тиражи маленьких книжек в домодельных бумажных переплетах, да и те уходили главным образом на презенты друзьям, знакомым, врачам и прочей обслуге, а потом, когда наступила гласность, – ходокам с нашей географической родины. «Я всех своих читателей знаю наперечет – в лицо», – преувеличивал, но не так чтобы сильно, Сережа.

Правда, «Иосиф, унижьте, но помогите», гениальная довлатовская формула про роль Бродского в нашем эмигрантском паханате – его рассказы печатались в престижном «Нью Йоркере», но вот уж точно яркая заплатка: это ничего не добавило к довлатовской известности, потому как два американских разновеликих литературных мира – англо- и русскоязычный – в Сережином случае не просто не сошлись, но даже не соприкасались. Он не только не писал, но и не читал и не говорил по-английски. А от метрополии мы все были напрочь отделены железным занавесом, вот и варились в собственном соку: даже когда этот занавес проржавел и в нем появились прорехи. Наехавший в Нью-Йорк Фазиль Искандер отмахнулся, когда я стал перечислять центровиков литературной иммиграции: «Это не в счет». Сережа такое небрежение переживал сильнее других, потому что, трезво оценивая свой литературный дар, полагал, однако, что его книги могут и должны быть востребованы читателем.

Вот парочка выдержек из его писем, которые адресат, с ее слов, уничтожил, но я успел сделать копии:

...Мне нравится Куприн, из американцев – О'Хара. Толстой, разумеется, лучше, но Куприн – дефицитнее. Нашу прозу истребляет категорическая установка на гениальность. В результате гении

есть, а хорошая проза отсутствует. С поэзией все иначе. Ее труднее истребить, Ее можно прятать в кармане и даже за щекой.

...Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу – не с чердака. А с подвала. Это гарантирует бóльшую точность оценок.

Эти письма написаны Довлатовым из Ленинграда в Москву, где проживал – и до сих пор проживает – его корреспондент Юнна Мориц, но я, общавшийся последние годы с Сережей рутинно, легко могу представить их отосланными все равно куда, да хоть на деревню дедушке, но уже из Нью-Йорка. Вот только сценарии придется заменить на скрипты, которые Довлатов ухитрился делать по несколько в день для радио «Либерти», чтобы удержаться на плаву. Он люто ненавидел эту унижительную радиохалтуру, которая пригласилась впору Вайлю с Генисом или даже Парамонову, за что Бродский прозвал того «радиофилософом», но не для Довлатова, писателя до мозга костей, а потому в завещании он просил не публиковать его радиоскрипты, к которым относился как к третьесортным сочинениям, чем, увы, его наследники пренебрегли. А мечтал он зашибить крупную денгу либо получить какую-нибудь не только престижную, но и денежную премию и расплеваться с «Либерти»:

– Лежу иногда и мечтаю. Звонят мне из редакции, предлагают тему, а я этак вежливо: «Иди-ка ты, Юра, на х**!»

Юра – это Юра Гендлер, заведующий русской службой нью-йоркского отделения «Либерти», наш общий работодатель и благодетель.

Наша с Довлатовым дружба началась еще в Питере, но окрепла в Нью-Йорке. Отчасти по топографической причине: мы и в Ленинграде жили неподалеку, несколько троллейбусных остановок от наших Красноармейских до его Рубинштейна, а здесь и вовсе оказались в пяти минутах ходьбы друг от друга, потому и встречались ежевечерне, ожидая привоза в магазин «Моня & Миша» завтрашнего номера «Нового русского слова», флагмана свободной русской печати, а потом отправлялись чаевничать – чаще к нему, чем ко мне. То ли потому, что Сережа жил ближе к 108-ой улице, иммигрант-

скому большаку Квинса, то ли по причине его кавказского гостеприимства, даром что ли он был евреем армянского разлива, по определению Вагрича Бахчиняна. Засиживались мы допоздна, иногда за полночь – было о чем покалякать: политика, новости из России, бабы, сплетни, но больше всего и в первую очередь литература, наша с ним главная страсть в жизни. Эта страсть была, наверное, второй причиной нашего сближения с Довлатовым, помимо топографии. Была и третья: в последние годы жизни Сережа расплевался со своими коллегами по «Новому американцу» и «Либерти», а с некоторыми своими земляками и вовсе порвал, как с Игорем Ефимовым и Борисом Парамоновым.

Скажу сразу же: я был другом Довлатова, но не его фанатом. Мне нравились его рассказы, но я относился к ним не то чтобы равнодушно, но спокойно. Было у нас с ним разногласие по существу. Сережа воспринимал литературу как самоутверждение, я – как самовыражение, а в редких случаях заоблачных взлетов – как самоупоение. Довлатов был скорее мучеником слова, как сказал Виктор Соснора: «на каторге словес тихий каторжанин».

К чему я об этом сейчас вспоминаю? Довлатов прожил трагическую жизнь и трагически погиб, захлебнувшись в собственной рвоте, когда его раскачало в машине скорой помощи, а он лежал на спине, привязанный к носилкам двумя придурками-санитарами: непредумышленное убийство. Врагу не пожелаешь ни такой мученической жизни, ни такой нелепой смерти. Посмертная слава Довлатова – хоть в какое-то возмещение юдоли его жизни. Многотиражные издания в России, мемориальные доски в Питере, Таллинне и Уфе, изба-музей в Пушкинских Горах, а в Нью-Йорке – улица Довлатова. Если бы Сережа знал, что мы с ним фланируем по будущей улице Довлатова! Его вдова мне так и шепнула на церемонии поименования отрезка улицы, где жил Сережа, в «Sergei Dovlatov way»: «Если был бы некий телепатический способ сообщить ему об этом отсюда туда»...

Я знал Довлатова близко – он тосковал по читателю и мечтал о славе, но вряд ли о такой, какая его настигла после смерти. Он растаскан на цитаты, его книги превращены в ширпотреб, хуже того – в китч, а сам он – чуть ли не гуру, что не столько удивило, сколько рассмешило бы его. Смакуются подробности его личной жизни, печатаются его газетные статьи, радиоскрипты и личные письма су-

против воли покойника, он стал явлением масскультуры, а отсюда уже контрреакция на эту его несусветную славу, типа быковской: «В сущности, он и победил как писатель плеев», а то и круче – «трубадур отточенной банальности».

Само собой, следует сделать скидку на зависть – белую, черную, без разницы. Такая, с перехлестом, слава Довлатова кого угодно сведет с ума, особенно тех, кто его близко знал по Ленинграду и был невысокого мнения о его литературных достижениях. Когда его самозванного биографа Валерия Попова спросили, знал ли он, с каким великим писателем был знаком в Питере, тот отшутился: «Нет, это он после смерти так обнаглел». Хорошая мина при плохой игре?

То, что Довлатов стал явлением масскультуры, нисколько его как писателя не умаляет. У Довлатова своя глубина и своя тайна, несмотря на прозрачность, ясность, кларизм его литературного письма. Его идолизация скорее на уровне анекдота, который лежит в сюжетной основе большинства его рассказов, это его излюбленный прием, но в лучших из них – таких, к примеру, как рассказ «Представление», Довлатов анекдотом не ограничивается, а выходит за его пределы и копает на глубине, как археолог. Или – его собственный образ из приведенного письма – идет на свой третий этаж не с чердака, а с подвала. Подсознанку здесь подключать вовсе необязательно, а уж скорее другой психоаналитический термин: возводит анекдот на уровень архетипа. Далеко не всегда Довлатову это удается, есть у него провальные вещи, ущербные в замысле, типа халтурной повести «Иностранка». Зато есть шикарные книжки-повести – те же «Наши», где байки и анекдоты семейной хроники пропитаны щемящей сентиментальностью, либо «Филиал»: сочетание низкого – анекдоты иммигрантской жизни, с высоким – сказ о единственной, неразделенной, безответной фатальной любви.

Идолизация писателя – это уравниловка, когда его взлеты и падения читателю без разницы, он ест все без разбору, вот что более всего досадно – меркантильное, потребительское отношение к литературе. А Довлатов когда доходил до своего третьего этажа, а когда и не доходил, сам это знал и мучился, будучи в литературе максималистом и перфекционистом. Он-то как раз умел отличать поражение от победы. Его талант в том и заключался, что ему не хватало его таланта, и он мечтал о большем:

Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят.

Остро им ощущаемый дефицит таланта и сводил его с ума – одна из главных причин его грандиозных запоев. А коммуналка, в которой он жил на улице Рубинштейна и откуда эпистолярно теоретизировал, была в самом деле на 3-ем этаже. Он не был мастером на чистые выдумки – писал с натуры, хоть и домысливал реал. Его проза только притворялась документальной.

Псевдодокументалист Довлатов с третьего этажа.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИАСПОРА КАК УБЕЖИЩЕ

Возвращусь, однако, к Дмитрию Быкову, к которому идеально – один к одному – подходят слова Довлатова, сказанные о себе: «У Бога добавки не просят».

Исходя из личных соображений и предав анафеме как крупных писателей диаспоры, так и литературную диаспору оптом, Быков, сам того, вероятно, не сознавая, поднимает довольно серьезный вопрос. На слуху множество великих имен. Овидий был сослан к диким скифам и там сочинил свои лучшие стихи. Данте написал свою «Божественную комедию» в Равенне, а если бы остался в родной Флоренции, был бы казнен, ибо принадлежал к партии белых гвельфов, а к власти пришли черные гвельфы вместе с гибеллинами. Француз Стендаль писал свои великие романы в Италии, а немец Гейне свои великие стихи во Франции. Гюго провел в изгнании 19 лет. «Если останутся десять французов в изгнании, я останусь с ними, – сказал он агенту Наполеона 111. – Если три, я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию». Когда он вернулся во Францию, ему было

68 лет. Все рекорды побил Вольтер, который провел в изгнании 42 года и вернулся на родину 84-летним старцем. Герцен так и не вернулся в Россию, написал в изгнании свою великую книгу «Былое и думы». Гоголь, Тургенев, Достоевский сочинили свои лучшие книги за границей.

Революция разбросала русскую литературу и русских писателей по всему миру. Но и в новейшие, наши времена множество писате-

лей вынужденно покинуло пределы любезного отечества. Конечно, литературных тусовок, наподобие московско-питерских, здесь нет, но писательство – вообще одинокое занятие. Зато существовали журналы, которые печатали то, что невозможно было в отечественных толстяках: «Континент», «Грани», «Новый журнал», «Время и мы», «22», «Синтаксис» и др. Вплоть до нашего времени, когда российские литературные журналы утратили былое общественное значение и влачат жалкое существование, за рубежом худо-бедно выходят литературные ежеквартальники – весьма качественные издания «Времена» (издатель Леон Михлин, редактор Давид Гай) и «Новый континент» (издатель и главный редактор Игорь Цесарский), в которых бок о бок с зарубежниками со всех концов света печатаются отечественные писатели, у которых нет возможности напечататься дома. Чем не барометр уровня свободы в России?

Никто не понуждает Быкова любить Бродского, Довлатова, Лимонова или Соловьева с Клепиковой. Переживем. То, что он так зациклился на зарубежной русской литературе, скверно говорит не о ней, но о нем.

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики. В последние три года выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятнадцатикнижие «Памяти живых и мертвых».

Недавно в Нью-Йорке увидела свет книга-притча «Кот Шредингера» (журнал «Времена» опубликовал ее в нескольких номерах).

Юрий БЕРИЙ

ЛИРИКА

Перепевы

но кожа превращается в хитин

Бахыт Кенжеев

но кожа превращается в хитин
тусклее суше и уже слоится
пора пора и мне с природой слиться
а я стишки да хаваю статин

и я бы тоже с чистого листа
но мне давно уже не до элегий
мои коллеги двигают телеги
о благодати нательного креста

и это после всех метаморфоз
когда наколотый под сердцем тельник
почёсывая слово брал брательник
и предлагал от прений и угроз

спешить к сопоставлению идей
всем нам напоминая что в гражданку
он предпочёл бы шашку не берданку
поскольку жалко пули на блядей

коллеги да помилуйте окстись
виват Лебядкин слава графоманам
ты лучше из стаканов как Стаханов
залей зажмурься да понюхай кисть

а можешь как девчонка Мамлакат
пойти и взять сто килограммов хлопка
сам ты дурак сказал бы умный попка
взяв в словаре три слова напрокат

тем и скучна поэзия мой друг
что глуповата ежели на круг

Mea culpa

Меня упрекали во всем, кроме погоды...
Иосиф Бродский

себя упрекаю во всём включая погоду
и не зависящие от меня обстоятельства
и то что счастливого случая ждал по году
и с неприятелями часто прилаживал
и то что только в молодости и был молодым
и то что состарился клятве своей вопреки
и то что женщинам не раз говорил погодим
и то что хотел в поэты а попал в дураки
похоже оставлю после себя пустое место
отверстие как говаривал Иосиф Бродский
копия фона тихий час и сиеста
молоком по белой бумаге наброски
но электрический ток есть движение дырок
предсказано а теперь и на плёнку отснято
если отречься от ругани и придинок
пустое место бывает свято

Тост

Моя душа, случается, хандрит,
то цвет изменит, как александрит,
то станет вдруг прозрачнее медузы,
то пламенеет, как на старте дюзы.
А я с душой отменно терпелив,

вникаю в многоцветный перелив,
и вывожу свой градус перегрева
из генеалогического древа.
Но тело тоже иногда хандрит:
бессонница, мигрени да артрит,
всё тоньше кожа, медленней нейроны –
оскудевают средства обороны,
ветшает храм, и скоро «свет туши»...

Так выпьем за бессмертие души!

Modus operandi

Вот так и ведётся на нашем веку...

Булат Окуджава

Всё больше украдкой, всегда начеку,
С оглядкой, с опаской, сторожко, молчком,
Вставая с колен, упадая ничком,
Мы веруем в старцев, блаженных, калик,
Целуем взасос зацелованный лик,
Вождей из сермяжного лепим дерьма,
Потом их на вынос сдаём задарма.
Мы до смерти любим своих паханов,
В мундирах ли, френчах, в штанах, без штанов,
За честь почитаем за кодлу радеть,
Прикажут – раздеться, прикажут – раздеть.
История наша, текущий момент,
Моментом командует временный мент.
И только одно лишь мы свято храним:
И зависть к евреям, и ненависть к ним.

Настроение

Дул осенний с холодком ветерок,
Я надела свой цветной свитерок,
Позвонила: приходи, мой сурок,
На солянку и с грибами пирог.

Он примчался, мой сурок, мой Сурен,
Бонвиван и милый враль-тартарен,
Восхитительный придумал катрен
Про сиреневых обманщиц-сирен.

Золотого он плеснул нам вина...
Ах, опять я, слава богу, одна,
Улыбнулась мне в окошко луна,
Моя лучшая подружка она.

Вот теперь бы с виноградом сырку...
Будет время, снова звякну сырку.

Н. Б.

Поёт грузинка... Осень у порога,
«Идут на убыль тёплые деньки»...
Твой профиль, дорогая Недотрога,
И медная серёжка из деньги.

Мне юность улыбается из рамки:
– А помнишь?
– Помню.
– Ладно, не божись!
Сочится время, словно кровь из ранки,
Иллюзия, короткая как жизнь.

Поет грузинка про любовь – калину,
Смотрю и плачу, старый дуралей,
Как смотрят вслед редющему клину,

Истаявшему клину журавлей.

Тяжёлые от слёз смыкаю вежды,
И вновь казнюсь напрасною виной.
Спасибо, Нани, за печаль надежды,
За голоса грузинское вино.

Залив пеликанов

Залив Пеликанов, вода с бирюзой,
небес голубая лагуна,
на облаке белом охота с борзой
и белой кобылой драгуна.
А бриз декорации ставит гуськом,
картина сменяет картину,
и белые рыбы идут косяком,
толкая в корму бригантину.
Зелёные зонтики, пляж золотой,
детишки, песочные замки,
с охоты драгун поспешает домой,
платочками машут пейзажки...
«Даже поверилось где-то на миг,
знать, в простодушьи сердечном...»
мы юные снова с тобой, Mon Ami,
с тобой в этом празднестве вечном.

Ещё одна песня

Инне

...А я не знал,
что я интеллигент,
мы распевали
песни Окуджавы,
и наши души
от волнения дрожали
под голоса его
аккомпанемент.

Летит по небу
шарик голубой...
мечтаем, значит
мы с тобою живы!
Все истины всегда
в какой-то мере лживы,
но в эту сразу
мы поверили с тобой.
Холодный март,
короткая весна,
мы муравья
московского жалели,
на наших женщин
мы по-новому глядели,
они, мне кажется,
по-новому на нас.
Его надежда
чище серебра,
любовь без меры,
вера без жеманства,
старинное шитьё
арбатского романса,
и дар дворянства
от арбатского двора.
Он на Россию
был один поэт,
потом уже
поспели и другие...
но Окуджава
подарил нам ностальгию
по временам,
которых не было и нет.

And All that Jazz*Инне*

Мне не забыть Петровскую аллею,
Зелёный театр и подпольный джаз.
Я в первый раз от музыки шалею,
Дышу свободой тоже в первый раз.

Нам, сколько помню, скармливали силос
Про то как вольно дышит человек,
А здесь на звуки время раздробилось,
Я слушаю, не подымая век.

Вот лабухи, отпетые ребята,
Трубач, ударник и саксофонист,
И мы, толпа, безумием объята,
Хвала, хула и хулиганский свист.

Блатных мы вскоре тут утомонили.
Труба взвилась, как лошадь на дыбы,
На финише была кобыла в мыле,
Такая жизнь у джазовой трубы.

Дробь пролилась, и ринулся ударник,
Как в рукопашную и как на мяч вратарь.
По виду – застарелый солнцедарник,
По духу – явный спорщик и бунтарь.

Туш оборвался, в тишине возникли
Неведомые звуки “Summertime”,
Как-будто к древней тайне мы приникли,
Прекраснейшей из самых тайных тайн.

Моя давно истлела папироса.
Казалось, что не верю чудесам,
Был саксофон похож на знак вопроса,
И я просил, о чём – не знаю сам.

Они потом играли в ресторанах
При тусклом свете воска да лучин...
Ходил ударник годы в ветеранах,
И грамоту посмертно получил.

Юрий Берий родился в Киеве в 1937-м. В США с 1975-го.

Первые литературные публикации появились в 2010-м. «Новая литература» (Заметки по еврейской истории), «Сетевая словесность», «Точка зрения» (Первый шаг), «Эмигрантская лира» (2011, long list), «45-я параллель», «Чайка», «Семь искусств», «Гостиная», «Зарубежные задворки».

Давид ГАЙ

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Был ли он у Бориса Пастернака?

Мир отмечает 130-летие со дня рождения и 60-летие со дня смерти великого поэта.

Классики литературы загадочны и таинственны... Потаенное в них зачастую интереснее того, что лежит на поверхности. Вот где соблазн для современных исследователей их жизни и творчества содрать «хрестоматийный глянец», развенчать мифы, дать современникам реальный, а не выдуманный предшественниками портрет личности, подлинный характер. Тут главное – «не перетонить», как писал Достоевский. Не содрать тот самый «глянец» вместе с кожей.

Увы, именно так происходит на наших глазах в эпоху торжества наглейшего, отвратительного самопиара абсолютно во всех сферах жизни, а не только искусства.

«По привычке набивает себе цену»... «Пьянствовала во время войны в сытом для нее Ташкенте...», «ненавидела всех...», «лакейская гордость...», «грязная оборванная психопатка...», «рвачество, похабство, лесбиянство, лизоблюдство...»

Господи, о ком это? Не удивляйтесь « об Ахматовой. Создатель сего опуса – Тамара Катаева. Издан в России. «Сознание возможной победы ничтожества над величием – одно из самых страшных приобретений нашего времени. Тяготеющего к тому, чтоб остаться в истории временем бесстыдников», – справедливо замечал Станислав Рассадин.

Борис Пастернак счастливо избежал участи быть «ниспровергнутым» таким циничным и бездарным образом. Пока, во всяком случае. Хотя и в его биографии найдется немало такого, что может разжечь в иных самодовольных ничтожествах желание попробовать

свалить великого поэта с пьедестала: вполне благополучная жизнь, когда другие поэты нищали и гибли, особые отношения со Сталиным, не отстоял Мандельштам в известном разговоре с вождем, не помог Цветаевой в трагический период и т.д. и т.п.

Особенно много поводов дает история присуждения Пастернаку Нобелевской премии.

Тому уже немало лет. Читаешь документы тех дней, воспоминания литераторов, воссоздаешь картину насыщенных, спрессованных событий, перебираешь в памяти действующих лиц и исполнителей трагифарса, бессмысленного и жестокого – и диву даешься: насколько полно в нем отразились черты эпохи лжи, лицемерия, трусости и откровенной глупости...

Некоторые считают зловещим парадоксом, что Пастернака убила не сталинщина, а хрущевская «оттепель». Думаю, это не так: оттепель быстро сменилась морозами, столь соответствующими предшествующему периоду. Собственно, она и закончилась на Пастернаке.

«Доктора Живаго» сам автор назвал «книгой жизни». Он писал роман как свое завещание, как возможность до конца разобраться в своей судьбе, попытаться что-либо исправить в ней. «Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы», – писал он Горькому еще в 1933 году. Задумайтесь над этими строчками...

А вот гораздо более позднее письмо, 1 июля 1958-го, адресованное Вяч. Иванову. «Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры, – тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось

без нее и ее не касалось. Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он – удачен. Но это – переворот, это – принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца...»

Роман питался, словно дерево подпочвенными водами, неудовлетворенностью жизнью, чувством вины и необходимостью ее искупить. Но главное, желанием начать договаривать все до конца. Это была по сути художественная автобиография. Расскажем более подробно об этой трагической странице жизни поэта. Тем более, что интерес к истории опубликования романа актуален по сей день – не случайно молодая американская писательница Лара Прескотт совсем недавно выпустила роман на эту тему, ставший бестселлером (см. нашу публикацию в номере 1 (13) за этот год: Lara Prescott *The Secrets we kept* – «Секреты, которые мы хранили»).

...В мае 1956 года по международному московскому радио прошла информация о том, что Пастернак закончил работу над романом. Имя поэта хорошо знали на Западе. Уже несколько лет он фигурировал в списке кандидатов на Нобелевскую премию. К Борису Леонидовичу на дачу в Переделкино приехали журналисты, и среди них итальянец Серджио Д' Анджело, коммунист, работавший на том самом московском радио. Пастернак передал ему толстую папку с текстом романа.

Публикация его была намечена Гослитиздатом на следующий год. Но журналом «Новый мир» роман был отвергнут – автор получил письмо редколлегии, в котором он обвинялся в искажении Октябрьской революции и роли русской интеллигенции. Пастернак предложил «Живаго» считавшемуся либеральным альманаху «Литературная Москва». Тот же результат. Предчувствуя отказ, Пастернак писал одному из членов редколлегии альманаха: «Вас всех останавливает неприемлемость романа... Между тем только неприемлемое и надо печатать...»

Надо полагать, Борис Леонидович чувствовал: в такой ситуации шансы издать роман в СССР невелики, если вообще существуют. Поэтому он и принял такое «несоветское» решение. Понимал ли все возможные последствия? Думаю, не понимал и не предвидел, но если бы предвидел, то, мне кажется, все равно передал бы роман на запад. Закончив труд, «завещанный от Бога», он хотел видеть его напечатанным при жизни. Это была его Миссия.

Дальнейшее хорошо известно, поэтому ограничусь кратким пересказом событий. Хотя наши молодые и средних лет читатели далеко не все знают. Через год «Доктор Живаго» выходит в свет в миланском издательстве Фельтринелли. А еще через год с небольшим, 23 октября 1958 года, Борису Пастернаку присуждается Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и развитие традиций классической русской прозы».

И началось...

Очередной номер «Литературной газеты» вышел с письмом редколлегии «Нового мира», тем самым, написанным два года назад с мотивировками отказа в публикации романа. Теперь оно оказалось как нельзя кстати. «Нам кажется, что Ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, гражданской войны и послереволюционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого бы то ни было понимания интересов народа...»

В газетах поднялась форменная истерия. (Впрочем, Пастернак газет не читал). Было срочно созвано общее собрание московских писателей. Пастернака исключили из Союза писателей. Участники собрания постановили «обратиться к правительству» с требованием лишения гражданства и высылки Пастернака за пределы СССР.

Накануне Борис Леонидович направил телеграмму в Нобелевский комитет с заявлением об отказе от премии. Но это ничего не изменило.

29 октября тогдашний первый секретарь ЦК комсомола Семичастный, выступая на пленуме этой организации, уделил внимание и Пастернаку. Вслед за оскорблениями последовала фраза о том, что советское правительство не станет чинить препятствий, если поэт захочет выехать из страны. Это звучало как прямая угроза выдворения.

Запад дружно выступил в защиту писателя. И не только коллеги по перу, деятели культуры. Индийский лидер Джавахарлал Неру позвонил Хрущеву и попросил обеспечить Пастернаку свободу и неприкосновенность. Не прислушаться к мнению уважаемого во всем мире человека было нельзя. Требовался компромисс. «Чтобы спустить все на тормозах, Пастернаку надо было подписать согла-

сованный начальством текст обращений в «Правду» и к Хрущеву, – вспоминал сын писателя Евгений Борисович. – Дело не в том, хорош или плох текст этих писем и чего в них больше – покаяния или самоутверждения, важно то, что написаны они не Пастернаком и подписаны вынужденно. И это унижение, насилие над его волей было особенно мучительно в сознании того, что оно никому не было нужно.»

После этого травля идет на спад, за исключением того, что 14 марта следующего года поэта впихнули в машину и насильно увезли из Переделкина в Генпрокуратуру. Там в течение двух часов его допрашивал генпрокурор Руденко, пугал, грозил уголовным преследованием, требовал отказа от встреч с зарубежными корреспондентами.

После этого Борис Леонидович прожил чуть больше года и умер от рака легких.

Шесть десятилетий отделяют нас от тех событий. Достаточная дистанция времени, чтобы еще раз беспристрастно взглянуть на поведение участников драмы (трагедии, трагифарса), попытаться разобраться в происшедшем, твердо следуя принципу: рассматривать писательскую и любую иную судьбу необходимо сквозь призму времени, не вырывая ее из контекста существовавших тогда реалий жизни.

Начнем с главного действующего лица «той стороны» – Хрущева. С его именем связывают начало так называемой «оттепели», к которой, кстати сказать, Борис Леонидович относился с большой подозрительностью, осознавая, что дозированная, отпускаемая капельками, как лекарство в аптеке, свобода таковой не является. Позже, когда Хрущев уже был просто персональным пенсионером, он признался, что романа не читал, полностью доверился Суслову и Поликарпову – тогдашним идеологам, ввязавшим его в неприглядную историю, о чем весьма сожалеет.

Что касается писательской братии, то о ней и говорить не хочется. В данном случае пороли своего собрата по перу, пороли с удовольствием, с наслаждением, давя в себе тайную зависть. Сурков и другие секретари правления Союза писателей, иже с ними Смирнов, Ошанин, Зелинский, Перцов, Безыменский, Николаева, Солоухин, Баруздин, Мартынов, Полевой, Слуцкий, Инбер... Из дома творчества прислали телеграммы, клеймящие поэта, Сельвинский и

Шкловский. Некоторые, как, например, Борис Слуцкий, стыдились своего поступка всю оставшуюся жизнь, другим было наплевать.

Есть соблазн подробно поговорить о любовнице Бориса Леонидовича – Ольге Ивинской. Многие считают ее виновницей сдачи Пастернаком позиций, особенно в отказе от премии. «Тебе ничего не сделают, а от меня костей не соберешь...» Миную этот соблазн. Муза поэта не заслуживает наших запоздалых упреков. Она-то хлебнула лиха – и посидеть успела, и под нажимом стала инструментом в руках партийных бонз, чего сама себе не смогла простить. Вот что Ивинская писала в мемуарах: «В дни присуждения Нобелевской премии другому русскому писателю – Александру Солженицыну – я заново переживала те страшные дни конца октября теперь уже далекого пятьдесят восьмого года. И особенно остро поняла нашу нестойкость, быть может, даже глупость, неумение уловить «великий миг», который обернулся позорным. Да, сейчас уже не поймешь, чего было больше в отказе от премии – вызова или малодушия».

У Пастернака было два пути. Первый – путь капитуляции, соглашения с властью, требовавшей отказа от премии и покаяния, пугавшей высылкой за границу. Второй путь – борьба. Он предпочел первый. Из письма Хрущеву: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносителен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры...»

Солженицын – о Пастернаке.

«Я мерил его своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки и униженно просить правительство, и бормотать о своих ошибках и заблуждениях: «собственной вине», вложенной в роман – от собственных мыслей, от своего духа отречься – только чтоб не выслали?.. Нет, если позван на бой, да еще в таких превосходных обстоятельствах, – иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий...»

Все правильно – и все вызывает несогласие, ибо сказано без учета того, кем являлся Пастернак, что двигало его помыслами. Он не был «озверелым эзком», он был далек от каких бы то ни было расчетов выгоды, солженицынской «хитрости» не было в нем и в

помине, а главное, он знал, подтверждал собственной творческой судьбой: поражение от победы ты сам не должен отличать... Трагически-одиноким, Пастернак взошел на Голгофу по собственной воле. Он хотел страдания, хотел быть распятым на кресте литературы, ибо сознавал – дело всей его жизни (как он понимал его) завершено, «Доктор Живаго» плывет над миром подобно искусственному спутнику Земли, и в конце концов, не так важно, что произойдет с его творцом.

Но был и третий путь. Путь вынужденной эмиграции. После погромной речи Семичастного Борис Леонидович спросил старшего сына Евгения, поедет ли он с ним за границу? Куда и когда угодно, ответил тот. «А Зинаида Николаевна и Ленечка не хотят», – тяжело вздохнул Пастернак. Ивинская с детьми готова была уехать с ним. Ей даже намекали: захочет Пастернак покинуть родину, чинить препятствий ему и вам не станем. Однако всерьез эту возможность они не обсуждали. Не забудем, в какое время все происходило. И кроме того, существовали привходящие обстоятельства.

Давайте гипотетически рассмотрим возможность отъезда. Имелся ли этот третий путь или априори не существовал?

Из книги воспоминаний «Поезд на третьем пути» дона Аминадо (Аминада Петровича Шполянского), поэта, покинувшего Россию в 1920-м. (На мой взгляд, одной из лучших о жизни русских писателей в эмиграции). «...В тех же русских Пассах, так называли первые пионеры парижский квартал Passy, – молодой, но уже издерганный Ю. В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый политик, читал свою пьесу «Единый куст».

Среди приглашенных были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники. Пьеса, по выражению Куприна, были скучна, как солдатское сукно. А неглубокая мысль ее заключалась в том, что Родина есть Единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их во время направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым.

Присутствовавшие допили чай и разошлись.

Настоящий обмен мнениями, больше впрочем походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место у же

на улице Ренуар против знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство именитых русских писателей. Больше всех кипятился и волновался Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли. Ибо пора подумать, – орал он на всю улицу, что так дольше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа, и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение...

Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в предельном бешенстве: «Молчи, скотина! Тебя удавить мало!..» И ни с кем не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.

Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой и тоже засеменял своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны. Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на этот раз было не по себе. Беседа оборвалась. Больше она не возобновлялась».

...Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону. По-другому они и не могли расти.

Вспомним, что одни из лучших произведений русской литературы были написаны именно за границей. Впрочем, никакого парадокса нет – Гоголь, Тургенев, Достоевский эмигрантами не были. Для них в конце концов не имело значения, где они писали. Это однако имело значение для Герцена: Лондон стал для него местом создания «Былого и дум», не говоря уже об издании «Колокола».

Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось после октябрьского переворота, когда Россию массово начали покидать беженцы. После 1917-го из России выехало около двух миллионов человек. В Берлине, Париже, Харбине была сформирована «Россия в миниатюре», сохранившая все черты русского общества. За рубежом выходили русские газеты и журналы, были открыты десятки, если не сотни, издательств, школы и университеты, действовала Русская Православная Церковь. Но, несмотря на сохранение первой волны эмиграции всех особенностей русского дореволюционного общества, положение беженцев было тяжелым: потеря родины, со-

циального статуса, рухнувший в небытие уклад, бытовая неустроенность, необходимость вживаться в чужую действительность. Надежды на скорое возвращение не оправдались – большевики взяли власть «всерьез и надолго». Бороться с ностальгией приходилось тяжелым физическим трудом: большинство эмигрантов вынуждено было завербоваться на заводы «Рено» или, что считалось более престижным, сесть за руль и стать таксистами.

А что же интеллигенция, особенно творческая, как сказали бы сейчас? Тут картина выглядела не столь мрачной. По распоряжению Ленина в конце 1922 года из России было выслано за границу около трехсот виднейших русских «писателей и профессоров, помогающих контрреволюции», как он охарактеризовал их в записке Дзержинскому. Среди них были философы Лосский, Булгаков, Бердяев, Шестов, Степун, Вышеславцев, Карсавин, Ильин, историки Мельгунов, Мякотин, Кизеветтер, Лапшин, литераторы Айхенвальд, Изгоев, Осоргин, Пешехонов... Блистательные имена, получившие возможность реализоваться в Европе, вместо того, чтобы сгнить в большевистских лагерях.

Эмигрантами стали Шаляпин, Репин, Коровин, известные актеры Чехов и Мозжухин, звезды балета Анна Павлова, Вацлав Нижинский, композиторы Рахманинов и Стравинский. Эмигрировали Бунин, Шмелев, Аверченко, Бальмонт, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Замятин, Ремизов, Северянин, Тэффи, Саша Черный. Выехали за границу и молодые литераторы: Цветаева, Алданов, Адамович, Иванов, Ходасевич. Русская литература, откликнувшаяся на события революции и гражданской войны, запечатлевшая рухнувший в небытие дореволюционный уклад, оказывалась в эмиграции одним из духовных оплотов нации.

Отсутствие читателей, крушение социально-психологических устоев, нужда большинства писателей, казалось, должны были неизбежно подорвать силы русской культуры. Но этого не произошло: начинается расцвет русской зарубежной литературы, на русском языке создаются великие книги. В 1930-м Бунин писал: «Упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и 'советских', ни один, кажется, не утратил своего таланта, напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, появилось и несколько новых талан-

тов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности».

Назову лишь два имени: Набоков и Газданов. Утратив близких, родину, какую бы то ни было поддержку, изгнанники из России получили взамен право творческой свободы – возможность говорить, писать, публиковать созданное без оглядки на тоталитарный режим, политическую цензуру. Эмиграция при всех ее тяготах не стала трагедией для подавляющего большинства русских литераторов, хотя им-то как раз приходилось много тяжелее, нежели представителям других видов искусства. Миру цвета и линии, миру мелодий перемена места пребывания на планете вовсе не пагубна, скорее даже наоборот. Писателям куда сложнее. Утрата родной языковой среды, ностальгия, бесприютность для некоторых обернулись катастрофой. Для некоторых, но не для большинства. И тем не менее Мережковский писал в стихотворении «Возвращение»:

*И все ж тоска неодолимаяк
тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас родимая?
Нам больше некуда идти.
Так, во грехе тобой зачатые,
должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинаящие мать.*

В начале 70-х СССР начали покидать интеллигенция, деятели культуры и науки, в том числе, писатели. Из них многие, как Солженицын, лишались советского гражданства. С третьей волной эмиграции за границей оказались Аксенов, Алешковский, Бродский, Владимов, Войнович, Горенштейн, Губерман, Довлатов, Галич, Копелев, Коржавин, Кублановский, Лимонов, Максимов, Мамлеев, Некрасов, Соколов, Синявский и др. Как творческие личности, они не только не угасли, но поднялись на еще большую высоту и вернулись в Россию замечательными книгами, созданными вне Родины. Воистину прав Андрей Синявский: «Телу писателя все едино где пребывать...»

Между двумя этими волнами писателей-эмигрантов оказался

Пастернак. Существует устойчивое мнение, что он вполне мог (и должен был) приоткрыть дверь на Запад, где его ждали и приняли бы восторженно – так, как был принят русской эмиграцией «Доктор Живаго». Лауреат Нобелевской премии, пробивший брешь в железном занавесе, указавший путь другим, был бы желанным гостем выдающихся деятелей культуры. Он триумфально объехал бы европейские столицы с лекциями в крупнейших университетах. Он бы постоянно находился в поле зрения прессы. Известно, что Хемингуэй предлагал Пастернаку свой дом. Борис Леонидович и уехавшие с ним ни в чем бы не нуждались.

А какое счастье писателю, возвращенному на европейской культуре, переводившему Шекспира, Гете, Шиллера, было бы увидеть Англию, вновь побывать в Германии, побродить по Марбургу, где прошли его студенческие годы, где судьба подарила ему сильную влюбленность... Встретиться в Париже с русскими литераторами, с которыми он находился в переписке... Наконец, прилететь в Америку... А самое главное, он мог бы работать – в совершенно иной, спокойной, располагающей к творчеству обстановке. Осмелся он на решительный шаг, власти не стали бы удерживать жену и младшего сына. Компания за воссоединение семьи Пастернака развернулась бы в мире с такой силой, что Хрущеву ничего не оставалось бы как уступить. Поэта ждали поистине мировая слава, почет и уважение.

Возможно, он прожил бы долгую жизнь – ведь онкологические заболевания, по мнению медиков, часто обусловлены сильными стрессами.

Он предпочел остаться объектом ненависти, травли, унижений, которые и свели его в могилу.

Провидицей оказалась Цветаева, писавшая Борису Леонидовичу еще в начале 20-х: «Вы не израсходуетесь, но вы задохнетесь».

*Что же сделал я за пакость?
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.*

Родина сполна отплатила ему за эти светлые слезы.

Незадолго до своего конца он писал в Нью-Йорк Джорджу

Риви: «По правде говоря, мне следовало бы сейчас исчезнуть и спрятаться, как сделал Курт Гамсун к концу жизни – и писать втайне все, что я еще могу сделать – но в русских условиях это невозможно». Так и звучит трагическое: «...когда житье топшей недуга...» В условиях эмиграции это было бы возможно.

Из романа: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, кого не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка... Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать...»- Душу поэта безнаказанно изнасиловали.

В самом конце 80-х в Стокгольме состоялось вручение Нобелевской медали и диплома сыну Пастернака – Евгению Борисовичу. В Переделкине был открыт Дом-музей Пастернака. Вышло в свет пятитомное, а затем Полное одиннадцатитомное собрание сочинений Бориса Леонидовича. Бессмысленная и трагическая история с романом давно канула в Лету, оставив открытым вопрос, был ли у поэта третий путь.

Пробуя ответить на него, приходится больше гадать, домысливать, выстраивать умозрительные схемы. И все же, все же, все же... По моему разумению, третьего пути у Пастернака не было. Вынужденная эмиграция при всей внешней привлекательности не принесла бы ему радости бытия и новых творческих импульсов, сломала бы его. Я с большим основанием вижу в том же Париже автора «Мастера и Маргариты», нежели «Доктора Живаго». Написав один из самых выстраданных романов из всех, родившихся в двадцатом веке, Пастернак, как уже говорилось выше, исполнил Миссию. Больше ему ничего от жизни не было нужно. Вообразить его, в сущности аскета, наслаждающимся прелестями жизни, в свободном мире невозможно. Он, зажатый оковами режима, был внутренне свободен настолько, насколько это состояние даровалось ему творчеством. Внешние, даже самые благоприятные обстоятельства не могли добавивать ему ни капли свободы.

Здесь можно поставить точку, но не идет из головы пассаж из

книги Дмитрия Быкова о Пастернаке. Об этой работе – разноречивые мнения, что, однако, не помешало автору получить самую престижную в России литературную премию. Во время Франкфуртской ярмарки 2003 года несколько российских литераторов, в том числе Быков, гуляли в Марбурге и бурно спорили, стоило ли Пастернаку уезжать из страны. Мнения разделились. «И лишь ближе к ночи, на пустых готических улицах Марбурга, в торжественной тишине, нарушаемой лишь звуками одиноких моторов на шоссе внизу, – все сошлись на том, что решение выехать за границу отменило бы божественно красивый, трагический финал жизни Пастернака, уничтожило бы его посмертный триумф, – пишет Быков. – Не было бы гибели, которая оказалась сильнее всякого протеста. Не было бы траурного торжества его похорон. Не было бы легенды. И в конце концов – что больше значило бы для русской свободы: доказать, что можно уехать, – или что можно остаться и притом победить?»

Пастернак выбрал верно, – резюмирует автор.

В этом пассаже – весь Быков с его комплексами и потугами на оригинальность. Писатель, даже великий, по его мнению, должен обязательно красиво и трагически уйти из жизни, позаботившись о посмертной славе, связанной именно с уходом. Срежиссировать этот уход, заранее решив, что сработает на «посмертный триумф», а что нет.

Что ж, с некоторыми так бывает. Так поступил Юкио Мисима, избравший самую необходимую, по его представлениям, японскую смерть – посредством харакири. Он никогда не скрывал, что жизнь для него – сцена, он не жил, а лицедействовал. Финал он обдумал и тщательно подготовил. Уйдя на тот свет в сорок пять лет, Мисима заслужил величие, «стал и, наверное, останется для мира Главным Японским Писателем, – пишет Георгий Чхартишвили (куда более известный под псевдонимом Борис Акунин) в книге «Писатель и самоубийство». – А без харакири что ж – ну, был бы до сих пор жив, ну в семьдесят лет получил бы Нобелевскую премию... ну написал бы не сорок романов, а шестьдесят. Человеческое, слишком человеческое».

Пастернак – не Мисима, его мировоззрение не имеет ничего общего с философией действительно выдающегося японского писателя. Нелепее, Дмитрий Львович, ничего нельзя придумать, чем

вообразить Пастернака, «калькулирующего» свой уход в заботе о посмертной славе. И ничего он не выбирал, ибо по сути не имел выбора. Его дух страдания и жертвенности, витающий в «Живаго», дух покорности судьбе, неучастия в пролитии крови, решил все за него.

Давид Гай – журналист, писатель. Немало лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живет и работает в Нью-Йорке. Его перу принадлежит около трех десятков книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», повести «День рождения» и «Телохраниитель»; документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане, и «Десятый круг», посвященный жизни, борьбе и гибели в годы войны Минского гетто (книга вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»). В последние годы в Москве изданы четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и семейная сага «Средь круговращения земного...» В США увидели свет романы «Террариум», «Исчезновение» и «Катарсис».

Давид Гай – редактор литературного журнала «ВРЕМЕНА».

Геннадий КАЦОВ

**О СЕМИ СКАЗОЧНЫХ «ВЕЛИЧИЯХ ЗАМЫСЛА»
ИОСИФА БРОДСКОГО**

К 80-летию со дня рождения поэта

В юбилейный для великого русского поэта Иосифа Бродского 2020-й год особого ажиотажа в информационном поле по этому поводу не наблюдалось. Впереди всех оказался Лондон: с марта по инициативе проекта «Культура вне границ» там стартовал первый международный конкурс детских рисунков «Иосиф Бродский глазами детей», организованный в честь 80-летия со дня рождения поэта.

В родном для Нобелевского лауреата городе на Неве Фонд создания музея И.Бродского пообещал открыть, наконец, музей-квартиру к 24 мая, к его дню рождения, – по бывшему месту его прописки в доме Мурузи на Литейном проспекте. А в городе на Гудзоне, где Бродский провел немалую часть своей жизни, здесь же скоропостижно скончавшись, международный литературный журнал «Времена» организует вечер памяти – с воспоминаниями о Бродском и чтением его стихов и ему посвященных. Не сомневаюсь, что подобный вечер пройдет и в легендарном манхэттенском ресторане «Русский самовар», владелец которого, искусствовед и переводчик Роман Каплан, больше тридцати лет назад пригласил Бродского и Барышникова в бизнес-партнеры, после чего оба проводили часть своего времени в этом элитном месте нью-йоркского общепита.

Похоже, из юбилейных чествований – это все. Видимо, в России основные силы брошены в 2020-м на две круглые даты, связанные с днями рождения и смерти Бориса Пастернака (130- и 60-летие соответственно). В Нью-Йорке же, как заметила еще в 1987 году близкая приятельница Бродского, влиятельнейшая дама нью-йоркского культурного истеблишмента Сьюзен Зонтаг, дефицита нобелевских

лауреатов не наблюдается, так что до столетия есть время накопить эмоции и энергию.

И еще глубже, с еще более удаленной дистанции, оценить «величие замысла».

В театральной практике это называется «сверхзадача» – главная цель, ради которой создается пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. Бродский отметил у Пушкина, который размышлял о планах «Божественной комедии» Данте, упоминание о «величии замысла», и написал об этом в своем письме к Анне Ахматовой. Теперь, по прошествии десятилетий, мы можем говорить о том, что эта фраза стала смыслообразующей в судьбе Бродского. Величие замысла были подчинены и труд по созданию поэтических текстов, драматургии и эссеистики; общественное и социальное поведение, да и все этапы под лучами этого замысла, его биографии.

Каждый человек есть некий проект, и о его конечной цели сам «замысел» проекта если и может догадываться, то интуитивным путем, следуя методом проб и ошибок к заданному провидением результату. Как писал один из любимых Бродским философ Ортега-и-Гассет: «Жизнь – неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас...»

Исполнить свой проект наилучшим образом, соразмерно величю замысла, для Бродского стало маниакальной мечтой, страстью, которой он отдал всю жизнь. Это наблюдала критическим взглядом возлюбленная поэта Марина Басманова: «Уже в октябре 1964 года, во время ночных разговоров в деревне Норенская, Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живём, – это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, вовне. Всё, в чём не содержится такого устремления – хоть немного, – чуждо ему и неинтересно. Ещё он говорил, какая это жуткая штука – самоконтроль, взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе, и единственное, что может спасти здесь, это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыд и страхи – с последующим подчищением, с возвратом назад, – идти ва-банк, рискуя

полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться, может быть, в пустоту, может быть, в гибельную – но только так. Позже я замечала, что возвращаться назад и подчищать он не очень склонен и что действительно некоторые вещи разваливаются от несоразмерности, кончаются неудачей, катастрофой, но даже эти катастрофы великолепны в своей подлинности, как развалины Колизея или Парфенона».

Какие-то замыслы были блестяще реализованы, а какие-то, что естественно, ожидал провал. Юбилей – всегда повод поговорить о достижениях юбиляра, но если в этих заметках мы коснемся и поражений (в судьбе Бродского они не всегда выпадали в категоричной, жесткой форме), то не обессудьте. Скорее, объективности ради.

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. ЛИТЕРАТУРА

Этому посвящена большая часть бродсковедения. В конце концов, надо не забывать, что речь идет о пятом по счету Нобелевском лауреате из шести русских писателей-лауреатов. Как сказано Шведской академией: «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии».

Премия Бродский получил за написанные на английском языке эссе (за год до чествований в Стокгольме сборник эссе «Меньше чем единица» был признан лучшей литературно-критической книгой в США), и, видимо в меньшей степени, за стихотворения, им же сочиненные по-английски. Скорее, «нобелевка» была вручена по совокупности заслуг, среди которых занимали немалое место легендарная слава гениального русского поэта в изгнании и его высокий, накопленный за эти же годы изгнания авторитет эрудита, мыслителя-парадоксалиста среди западных интеллектуалов и сильных литературно-издательского мира сего.

Путь, пройденный от брошенной Ахматовой фразы «Какую биографию делают нашему рыжему!», от замечания Татьяны Яковлевой, возлюбленной Маяковского («помяните мое слово, этот мальчик получит Нобелевскую премию»), и до получения им высшей литературной награды из рук шведского короля – блестящий пример осуществленного величия замысла, для реализации которого в жертву было принесено многое.

В любом случае, премия была дана по заслугам и русской литературе можно только гордиться таким лауреатом. Читателю же – подниматься до его поэтических высот, до вершины Парнаса, откуда Бродский заметит, равняя потребителя литературы с ее производителем: «Роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя».

В одном из 153 интервью, собранных в книге биографа поэта Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Большая книга интервью», поэт говорит: «Есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно делаешь серьезно, а в другом только делаешь вид, что работаешь серьезно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни...».

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

С вручением Нобелевской премии место первого русского поэта в России и за ее пределами было обеспечено бесценным номиналом самой премии и закреплено за Иосифом Бродским. Куда уж выше! Но оставалась английская литература, в которой Бродский, как и Владимир Набоков, себя заметно проявил и подтвердил собственные уникальные возможности. Безусловно, стать литературной звездой в двух великих литературах – такому замыслу большинство нобелевских лауреатов позавидовали бы.

Правда, есть существенные отличия, и они не в том, что Набоков не удостоился высокой премии, а Бродскому ее вручили. Набоков, говоривший с британским акцентом, полученным с детства, стал американским писателем, написав по-английски романы; Бродский же, говоривший с тяжелым русским акцентом, поскольку выучил английский уже в зрелом возрасте, приобрел известность в англоязычной среде как эссеист. Видимо, это ударило по самолюбию.

С другой стороны, лавры англоязычного поэта не казались чем-то недостижимым. Для этого были причины: прекрасно выученный английский, глубокое знание истории англоязычной литературы, ощущение скрытого ранее от самого поэта потенциала в новом для него языке, личное знакомство с ведущими английскими литера-

торами. Что, при таких исходных, мешало повторить путь поляка Чеслава Милоша, близкого друга Бродского? Милош также выучил английский, став лауреатом Нобелевской премии по литературе 1980 года как польско-англоязычный писатель (он сам переводил свои стихи с польского на английский, и благодаря публикации в англоязычной периодике, его голос так же узнаваем по-английски, как и по-польски).

Замысел был высочайшим, хотя осуществить его в полной мере не удалось. Из двух основных англоязычных стран, в США Бродский снискал уважение и доверие, войдя в американский литературно-либеральный истеблишмент, но оказался под шквалом критики в Великобритании (у Полухиной: «Бродского-поэта любили в Англии немногие, хотя и нежно. И даже любящие: сэр Исайя Берлин, Шеймус Хини, Джон ле Карре, Клайв Джеймс, Алан Дженсинс, Глин Максвелл любили его с большими оговорками, любили скорее обаятельного и умного собеседника, чем поэта...»). Большую часть из написанного им по-английски – и эссе, и поэтические тексты, и переводы – многие английские интеллектуалы не приняли, оценив как: старомодное (эссе) и беспомощное (поэзия) – у английского филолога и переводчика Дэниела Уайсборта; «великую американскую катастрофу» – в статье о сборнике «Урания» первого английского поэта Кристофера Рида; «репутацию, подвергнутую инфляции» – у одного из ведущих английских поэтов и критиков Крейга Рейна.

Как пишет Полухина, которая исследовала творчество Бродского вдоль и поперек, «Доналд Дэви полагает, что Бродский настолько перегружает свои стихи тропами, что не дает словам дышать... Знаменитый критик и поэт Алфред Алварец убежден, что Бродский не понял сути английской поэтики... Энн Стивенсон автопереводы Бродского кажутся просто банальными... Петер Леви считает Бродского второстепенным поэтом, плохим имитатором Одена».

Эти высказывания и авторитетные мнения дезавуируют «миф Бродского», приглушают блеск его виртуальных бронзовых и мраморных постаментов, созданных адептами, фанатами и безапелляционными последователями; позволяют без лишних умиления и восторга оценить с разных сторон одного из самых значимых, великих русских поэтов XX века.

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. СОБСТВЕННЫЙ МИФ

Не секрет, что личные и семейные бумаги в архиве Бродского закрыты на пятьдесят лет, по другим данным – на семьдесят пять, а в записке, приложенной к завещанию, Бродский просил не публиковать его письма и неизданные сочинения. Иными словами, вход в личную жизнь посторонним на долгие десятилетия запрещен. Бродский дает понять, почему: «...Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы – уж простите за резкость тона – грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, – скажет французик из Бордо, – все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И “Стихотворения” покупать не станет... Мне не себя, мне его жалко».

Что скажет «французик из Бордо» – одному богу известно, а все остальное, со ссылками на политическую реальность и некое диссидентство, – сказано туманно. Чего же опасается Иосиф Бродский? Что хотел скрыть великий поэт, запретив прикасаться к архиву в течение 50-ти лет после его ухода из жизни?

Самый распространенный ответ – Бродский делал все возможное, чтобы не развалился его авторский миф, не распалась его мемориальная стратегия, которую он выстраивал и до, и после отъезда из СССР. Он предусмотрительно все сделал для того, чтобы она работала и после его смерти. Деконструкции мифа о себе – вот чего боялся Нобелевский лауреат, запрещая вход в свой архив на полвека.

Чтобы эту стратегию выстроить и провести в жизнь, Иосифу Бродскому нередко приходилось подражать выбранным образцам как в жизни, так и в литературе. Здесь крайне важно отметить, что в наше время постмодерна реминисценция, оммаж, пастиш давно являются общепринятыми приемами, а иллюзорность эпитетов «гениальный» и «самобытный» объявлялась многократно.

Речь, конечно, идет о двух разных Бродских. Один, до отъезда из СССР в 1972-м году – богемный, амбициозный и в то же время неуверенный в себе молодой человек, следовавший полюбившемуся ему Одну в поэтических текстах и в манере поведения. Нелюбовь Одена к сборищам, отмеченную еще его переводчиком и другом Бродского Андреем Сергеевым, молодой Иосиф повторил почти вслепую: он появлялся позже других и уходил одним из первых. Можно, види-

мо, говорить об определенной позе «загадочного поэта», который и этим хотел показать свою особость и надмирное чувство скуки, но как сообщает в своей книге «Непредсказуемый» Бродский» А. Пекуровская: «Наряду с Бродским и чаще, чем Бродский, наши сборища посещали и другие “яркие личности”: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Сергей Довлатов, наездами Василий Аксенов. Почему же они не порывались преждевременно уйти, а комфортабельно досиживали до позднего часа? Не потому ли, что обладали даром, которым не обладал Бродский? Возможно, они были балагурами и умели развлекать общество, тем самым развлекая и себя?.. Продуманность взятых на себя поз и масок могла не быть уникальным свойством Бродского. Но уникальным было уважение к позе».

Подражание Одну, видимо, должно было как-то компенсировать комплексы Бродского. Среди них, из комплексов, – известный «донжуанский список», созданный по типу списка пушкинского («Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам», – на что Пекуровская, за внимание которой Бродский в свое время в Ленинграде боролся с Сергеем Довлатовым, отвечает со знанием дела: «Все, абсолютно все – вранье! Я даже представить себе не могла успеха, о котором он говорил»).

Несамостоятельность, согласно Пекуровской, была присуща Бродскому в ряде его известных позиций. К примеру, категорическое неприятие Фрейда – потому, что Фрейда не любила Ахматова, «...и то, как Ахматова объясняла свою нелюбовь, отложилось в его памяти как научный факт». А «...к мыслям о “Памяти У.Б.Йейтса” Одена Бродский пришел в изгнании. Под влиянием этих мыслей и, конечно же, смерти Элиота в 1965 году он пишет стихи “На смерть Элиота” (1965), подражая Одну, который, как известно, подражал Йейтсу...»

Я наблюдал в Нью-Йорке совершенно другого Бродского: едва он начинал говорить, вокруг него собирались многочисленные слушатели, он фонтанировал идеями и поражал эрудицией. Уже одно его присутствие рядом для любителей литературы, как русско-, так и англоговорящих, было счастьем и редкой удачей. Ему не нужно было делать ровным счетом ничего, чтобы привлечь к себе внимание, поскольку авторитет его был высочайшим, а достижения – олимпийскими.

Впрочем, мой опыт общения с ним ограничивается двумя-тремя личными встречами и несколькими его публичными выступлениями. Не берусь судить, насколько в частной жизни он был не тем, кем казался со стороны. Во многом именно этому, при такой расстановке акцентов, и посвящена книга Пекуровской. Публикуясь в самых престижных западных изданиях и издательствах, будучи высоко ценим в профессиональной среде, Бродский как суперлитературная звезда имел возможность одним телефонным звонком решать судьбы литераторов и их творений. Он восседал на Олимпе, писал пером, вырванным из крыла Пегаса, пил воду исключительно из источника Гиппокрена, но тем не менее ежедневно трудился над выстраиванием образа западного профессора-интеллектуала и реноме гениального поэта.

При этом он имитировал массу внешних знаковых атрибутов, начиная от одежды и привычек (к примеру, одевался, как Оден, и курил сигареты марки LM, как Оден; в беседе с Валентиной Полухиной: «Вы знаете, дело в том, что я иногда думаю, что я – это он (Оден). Разумеется, этого не надо говорить, писать, иначе меня отовсюду выгонят и запрут») до известной традиции ежегодно посвящать стихотворение Рождеству, которую перенял, предположительно, у обожаемого им Роберта Фроста.

Немало сказано об этом у той же В.Полухиной: «...Все, что было заимствовано из английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон... когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил: “Навалом – и ни одного”. Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорил: “Валентина, посмотрите на Александра Сергеевича – он крал справа и слева и все делал своим”. Он знал себя хорошо. Он отказывался говорить о своих стихах, но прекрасно понимал, что делает, потому что ум у него был аналитический. И когда что-то у кого-то брал, он знал, для чего он это брал. Кроме того, не забывайте: он преподавал поэзию столько лет – это невозможно делать, не перенося на себя. И если вы составите список тех, кого он преподавал, это все поэты, родственные ему, поэты, у которых он чему-то научился и которым он благодарен. Будь то Рильке, Цветаева, Оден, Фрост, Харди. Это в каком-то смысле его поэтические родители».

Иными словами, ради того, чтобы скрыть от потомков некие

литературные «заимствования», Бродский вряд ли запрещал бы открывать архив в ближайшие 50 лет. Как говорится, «секрет Полишинеля», и, видимо, проблема здесь в другом.

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. СКРЫТЬ СВОЙ ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК

Как-то я побеседовал с нью-йоркской поэтессой Мариной Темкиной, много лет лично знавшей Бродского и бывшей его неофициальным литсекретарем в США. По поводу «непредсказуемости» Бродского ее мнение совпадает с позицией Аси Пекуровской: «... “непредсказуемый” – это частично его поза, претензия на исключительность, мифотворчество; частично его подростковая противительность, оппозиция, нонконформизм ко всему “принятому”. Я уже некоторое время обсуждаю эту проблему на конференциях. Он совершенно предсказуемый, если рассматривать содержание его наследия в перспективе этнической и гендерной идентификации, т.е. истории русского еврея и его семьи, и специфики творчества “белого” (очень хотел ассимилироваться в англо-саксонца) мужчины-европейца между войнами. Его поведение, творческое и человеческое, сформировано многочисленными стилистическими и поведенческими образцами “отцов”. Бродский был ребенком войны, второй год жизни провел в блокаде, эта травма определяет его психику, выбор занятий и поведение. О Бродском вообще трудно говорить, потому что он “наше все”. Он диссидент и патриот, жертва режима и герой оппозиции, он и про Христа, и еврей, и не просто, а мрамор эллинистический; он рыжий с логоневрозом и больным сердцем, тип вечного еврея-странника и неутомимый путешественник, международная знаменитость и уличный мальчик (спичку о подошву зажигает, “смолит” как паровоз) и обедает “черт знает с кем во фраке”. Вообще, надо сказать, что советское “общество светлого будущего” было сугубо патриархальным, все держалось на иерархии силы, власти “отцов”, и мифологизация творческих процессов – его неотъемлемая часть в романтизме, как и в модернизме. И Бродский как бы остался таким вечным “сыном” всего этого...»

Судя по книге «“Непредсказуемый” Бродский», этого и опасался поэт – того, что его сочтут «советским», «потомком отцов» в

самых разных смыслах, несмотря на многолетние усилия быть и казаться/выглядеть по высоким западным образцам. Об этой «советскости» пишет в недавно опубликованных мемуарах «Без купюр» Карл Проффер, основатель издательства «Ардис» и многолетний друг Бродского в Америке. Прочитав заметки Проффера, Бродский приложил немало усилий, чтобы они не были опубликованы, угрозил начать в противном случае судебный процесс, но в отличие от собственного архива, не мог их после своей жизни к публикации запретить.

В мемуарах Проффер утверждает, что общаясь с Бродским и интеллектуалами из его окружения, он был крайне удивлен неприятием ими как догмы главного постулата либерализма – свободы слова. Таким образом, Проффер дает читателю понять, что во время политических дискуссий на российских кухнях имел дело с советскими людьми, в которых западное мышление и не ночевало. Да, они были «антисоветчиками», но по сути это было зеркальным отражением их «советскости». То, о чем писал Довлатов: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов».

Это никак не соответствовало тому образу, который Бродский тщательно создавал на Западе, открещиваясь от своего имперства и «советского поэта» Евгения Евтушенко, замалчивая тему высылки в деревню Норенское, говоря о предотъездном письме генсеку, перейдя в немалой степени на английский язык в эссе и поэзии. Столько десятилетий трудиться над имиджем, биографией, карьерой – и в результате узнать о провале отлично продуманного, уже при жизни единственно верного исторического плана. «Бродский был человеком с большими комплексами, неуклюжим, косноязычным, застенчивым, а потому – довольно высокомерным, – сообщает Пекуровская. – Если Довлатов чего-то не знал, он благодаря природному чувству юмора мог себя представить героем-неудачником. Для Бродского признать себя хоть в чем-то неудачником – большая трагедия».

Видимо, в этом и состоял главный «ночной кошмар» Бродского, связанный онтологически с андерсоновской притчей о «Голом короле». Никто не должен знать о том, о чем написал Проффер, никто в ближайшие пятьдесят лет не должен проникнуть в архив, в котором – не в тщательно продуманных эссе, речах и выступлениях, а в част-

ной переписке, «заметках на манжетах» и случайно вырвавшихся искренних репликах – могут обнаружиться многочисленные следы того самого Бродского, закомплексованного человека из убогого, задавленного несвободами СССР, потомка еврея из местечка Броды. Здесь же и стыковка с известной темой «имперскости» Бродского, которой не буду касаться и по причине достаточной ее пережеванности в критике и литературоведении, и недостатка журнального места.

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. ВЕРШИТЕЛЬ СУДЕБ

А вот это произошло вполне естественно. Стремление к лучшим образцам, в абсолюте – к творчеству Создателя, привело к благотворительности, щедрости в раздаче своего внимания, помощи малым мира сего. Поэт Лев Лосев, ближайший друг Бродского, в интервью Дмитрию Быкову отмечает: «Бродский ведь вовсе не был холоден. У него есть в стихотворении семидесятого года – “Я любил немногих, однако сильно”. Если сейчас вспомнить – поразительно, сколь многих он любил. Как много он для всех делал, как раздавал деньги и рекомендации – настолько щедро, что рекомендациям этим на кафедрах славистики вообще перестали верить...»

Людмила Штерн, подруга детства и верный бостонский друг в годы иммиграции, вспоминает: «... он старался помочь столь большому количеству людей (в том числе, рекомендательными письмами – Г.К.), что в последнее время наступила некая девальвация его рекомендаций» («Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском». М.: Время, 2010.).

В том же ключе пишет и Роман Каплан: «В 1987 году Иосиф получил Нобелевскую премию... Я давно знал Бродского и обратился к нему за помощью. Иосиф вместе с Мишей Барышниковым решили мне помочь. Они внесли деньги, а я им отдал какую-то долю от этого ресторана (легендарный манхэттенский «Русский Самовар» – Г.К.) ... Увы, дивидендов я не платил, но я каждый год торжественно отмечал его день рождения».

Тема Бродского отчетливо возникает, когда речь идет об иммигрантской волне 1970-х. В «Энциклопедию Русской Америки» (ЭРА, на сайте runyweb.com) включены беседы с несколькими ярчайши-

ми представителями этой волны: музыковедом Соломоном Волковым, фотографом Марианной Волковой, писателем Юзом Алешковским, издателем и главредом столетней газеты «Новое Русское Слово» Валерием Вайнбергом, выдающимся фотографом Леонидом Лубяницким, искусствоведам и ресторатором Романом Капланом, прозаиком Дианой Виньковецкой – ни один из них не обошел тему Бродского стороной.

В иммиграции к Поэту особое отношение. Если перечисленные мною участники ЭРА говорят о нем с ожидаемым пиететом, то можно найти немало тех, кто отзывается о Бродском нелестно. Тут и неприятие творчества. Юз Алешковский как-то поделился со мной впечатлениями по поводу оценки Наумом Коржавиным Бродского как поэта: «Для Коржавина, по его признанию, выдающийся поэт – Ярослав Смеляков! Бродского он, видишь ли, поэтом не считал».

И нередко встречаемая зависть: мол, я вместе с ним в юности гулял ночами по Ленинграду. Бродский стал Нобелевским лауреатом, я же кропаю строки (в Квинсе и Бруклине, в провинциальном захолустье штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс) и никому не нужен.

Есть и вовсе обиженные. Интересен рассказ одного моего доброго знакомого. Как-то он поехал в город Вашингтон к приятелям, прихватив литр популярного шотландского виски J&V. Когда он поставил бутылку на стол, хозяева оскорбились. Оказывается, для них J&V – инициалы. J&V: Joseph Brodsky. Речь шла о чете Аксеновых. Известен инцидент между Василием Аксеновым и Бродским, по приезду первого в США. Бродскому не понравился роман Аксенова «Ожог», и он отказался написать рецензию для американского издателя. По другой версии, написал, но неcomplimentарно. Возникли трудности с публикацией романа в США. После чего в семье Аксеновых, как видим, одним высокоградусным напитком стало меньше.

Та же история и с романом Саши Соколова «Школа для дураков». Бродский ошибочно принял его за новый роман ленинградца и доброго знакомого Марамзина, проживавшего во Франции, но узнав, что роман написан москвичем Соколовым, резко изменил свое о нем мнение и не рекомендовал Карлу Профферу к изданию в «Ардисе».

Просматривая интервью ЭРА, я в который раз убедился в том, что классическая шекспировская формула «весь мир – театр, а люди

в нем актеры», в приложении к единичной судьбе звучит иначе: «жизнь – театр одного актера».

Она, несомненно, сугубо частное предприятие. И когда речь идет об иммигрантских судьбах, не всегда подходит поучительная сентенция, высказанная Нобелевским иммигрантом-лауреатом Иосифом Бродским: «...но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил».

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. БЕССМЕРТИЕ

В похоронный дом на Бликер-стрит в Нижнем Манхэттене я пришел днем 30 января. Уже два дня, как не было Иосифа Бродского среди живых, а через день, 1 февраля 1996 года, гроб с телом поэта перевезли в Епископальную приходскую церковь Благодати (Grace Church) в Бруклин Хайтс, где, неподалеку от дома Бродского, прошло отпевание.

В полутемном зале похоронного дома почти не было людей. Метрах в трех от гроба стояли в ряд несколько скамеек, на них сидели в полном молчании человек пять-шесть, от силы. Дверь со стороны Бликер-стрит периодически распахивалась, и там, снаружи, продолжался рабочий день, промозглый, как обычно в Нью-Йорке в это время года.

Полированный массивный гроб был установлен на невысокой платформе, и нижняя его половина была накрыта крышкой. Бродский лежал в гробу в коричневом твидовом пиджаке, в белой рубашке и в черном широком галстуке. Руки были сложены на груди, в правой руке он держал деревянный крестик.

Мне никто не мешал смотреть на покойника с любого, подходящего для меня ракурса. Профиль был чеканным, лицо выглядело загорелым, и несколько волосков, которые все еще продолжали, как убеждают ученые, после смерти расти, словно убегали от выпуклого лба к макушке по разным оттенкам пятнам и веснушкам на облысевшем черепе.

Бродскому через четыре месяца должно было бы исполниться всего-навсего 56 лет, и можно было представить, что он спит, если бы не впавшие под веками глазницы и восковой оттенок поджатых губ под приглушенным светом установленной сверху лампы.

Так и уплывают в вечность: с положенным для Нобелевского лауреата достоинством, с величием, согласно рангу Первого русского поэта послевоенного времени. До захоронения на кладбище Сан-Микеле в Венеции оставалось больше года, после чего – посмертная заслуженная слава, незарастающая народная тропа к могиле и продолжение растаскивания по цитатам бесценного литературного наследия.

Именно так и видел свое бессмертие Бродский, завещая в одном из своих писем: «Я не возражаю против филологических штудий, связанных с моими худ. произведениями – они, что называется, достояние публики...»

Как отмечают исследователи, в частности, в нескольких своих произведениях Владимир Соловьев, хорошо знавший поэта, особенно в Ленинграде, Бродский, попав в иммиграцию и в среду американского либерального истеблишмента, сильно изменился, став деспотичным, не терпящим конкуренции, нередко мстительным. Ревнивым к своей славе и обидчивым, если кто-то позволял себе в ней сомневаться. И все это не могло не отразиться на поэтических текстах, написанных после 1972 года, то есть после отъезда из СССР.

Наблюдение не единственное в своем роде. Это частично пересекается с выводами, которые делает Дмитрий Быков в своем эссе о Бродском: «Я не собираюсь перепевать здесь расхожие банальности о том, что Бродский „холоден“, „однообразен“, „бесчеловечен“... То, что писал Бродский в 1972-1974 годах, останется одной из безусловнейших вершин русской поэзии XX века...» (Быков-quickly: взгляд-31).

Бродский, по убеждению Соловьева – это некий self myth (собственный миф), в немалой степени настоящий на реванше по отношению к тяготам жизни: после неудачной любви к М.Б.; коварного, как он считал, предательства близкого друга, к которому М.Б. ушла; после суда и приговора, хотя это как раз было менее значимым, чем измена любимой: «Это было настолько менее важно, чем история с Мариной, – все мои душевные усилия ушли, чтобы справиться с этим несчастьем... ».

И эта трагедия стала мощным источником вдохновения поэта – чего стоит только одна его книга «Стансы к Августе».

И изменила его характер: от друзей он требовал преданности

и безоговорочной верности. Писал потрясающие стихи – и вел себя как литературный пахан, выстраивая литературную ситуацию в русско-американской среде по собственному разумению и воле. По наблюдению Соловьева, Нобелевский лауреат создавал собственный культ, в котором окружающим были отведены определенные роли, а неповиновение каралось анафемой и отлучением от престола.

...Помню нью-йоркский сабвэй начала 1990-х. В те годы Библиотека Конгресса избирает Бродского поэтом-лауреатом США, и в этой почетной должности поэт развивает невероятную активность. Бродский перешел от образовательной деятельности к просветительской. Одна из его программ называлась Poetry in Motion («Поэзия в движении»): вагоны сабвэя и автобусы были украшены изнутри разных форматов плакатами, на которых были приведены цитаты из Данте, Уитмена, Гейтса, Фроста, Лорки, Ахматовой, Бродского...

Бродский вышел на люди со следующими строками:

*Sir, you are tough, and I am tough.
But who will write whose epitaph?*

Дословно: «Сэр, вы крутой и я крутой, / Но кто кому напишет эпитафию?» С чем-то подобным по смыслу я столкнулся, когда узнал о двустии одного поэта из Киева:

Я гениальней, ніж Гомер,
Бо я живу, а він помер.

Две строчки Бродского, помещенные в вагон сабвэя, выбраны им вовсе не случайно. Он видел себя поэтом, написавшим эпитафию всей русской поэзии, и тем самым себя обессмертив. Иначе ведь нельзя принять известное его – «за мной не дует». Утверждение самоуверенное, но и обоснованное: Бродский себе цену знал.

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА. POST-MORTEM

Несколько лет назад в Архангельске имя поэта и лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского официально присвоили гимназии №21. «В провинции, у моря». Я порылся в интернете: на сегодняшний день нет более ничего в вещественном

мире, названного именем Бродского в честь его заслуг перед русской словесностью и отечеством.

Филолог Валентина Брио с кафедры русской и славянской филологии Еврейского университета в Иерусалиме отмечает: «Чеслав Милош не раз говорил, что представление об изгнании как о величии и судьбе сложилось у него довольно рано и было вынесено из усвоения уроков польской романтической литературы». Здесь польскую литературу, очевидно, даже не стоит выносить за скобки: все сказанное приложимо и к Иосифу Бродскому. Сюда же впритык – тема, связанная с Довлатовым, с их дружбой и разной по темпераменту любовью читателей – к каждому из них.

Иными словами, нет пророка в своем отечестве, и изгнание как величие могли бы оценить хотя бы за его пределами (не о премии речь). Так в случае Довлатова оно и есть. 27 июня 2014 г. городской совет Нью-Йорка принял закон, согласно которому угол 63rd Drive and 108th Street в Квинсе – одном из пяти городских районов – стал называться “SERGEI DOVLATOV WAY”. Улица, на которой жил Сергей Довлатов, названа в его честь. Интересно, что улица имени Довлатова – первая нью-йоркская улица, названная в честь русского писателя (на Lower East Side в Манхэттене есть переулок имени украинца Тараса Шевченко, и на манхэттенской 33-й улице, между Park и Madison Ave. – квартал имени русско-еврейского писателя Шолом Алейхема).

То, что из двух выдающихся русских писателей-иммигрантов последней четверти XX века, живших в Нью-Йорке, «свою улицу» получил Довлатов, а не Бродский, мне кажется вполне логичным. Несмотря на то, что нобелевский лауреат много лет прожил на Мортон-стрит, в южной части Манхэттена, а последние годы с семьей в Бруклине, и неоднократно признавался в любви к Нью-Йорку, у него нет, практически, ни одного стихотворения или эссе, посвященного этому городу.

О Ленинграде, Венеции, Стамбуле, Кейп-Коде (Тресковый мыс), даже о крохотном городке Массачусетса Саут-Хедли, где он приобрел дом, – пожалуйста, но почти ничего нет о городе Большого Яблока, о котором Бродский говорил: «Нью-Йорк мог бы описать только Супермен, если бы тот писал стихи».

Бродский любил Америку («А что насчет того, где выйдет при-

землиться, – /земля везде тверда; рекомендую США»), любил Нью-Йорк, но обошел его вниманием в своем творчестве, чего гордые ньюйоркцы, видимо, ему не простят.

Другое дело Довлатов. По его рассказам можно изучать топографию района, в котором он прожил почти безвылазно все годы иммиграции – нью-йоркский Квинс.

Как Довлатова до его эмиграции нельзя представить без родного Ленинграда, так же нельзя разделить нью-йоркский Квинс и Довлатова после его переезда в США (кстати, здесь по-прежнему находится его квартира, в которой проживает вдова Елена Довлатова – в том же, не тронутом временем, довлатовском интерьере). Я, проработав с Довлатовым на радио «Свобода» с мая 1989 года, прекрасно помню, что всякий выезд для него даже на Манхэттен из соседнего Квинса, был большим событием. Квинс для Довлатова был не вымышленным Макондо Маркеса или Йокнапатофой Фолкнера, а неотделимой частью не только писательской биографии.

Поэтому, предполагаю, и состоялось явление улицы Сергея Довлатова в Нью-Йорке. И, вероятно, не видать в ближайшие годы Нью-Йорку улицы Иосифа Бродского. Поскольку первый принадлежал и сердцем, и пером нью-йоркскому району Квинс, а второй – даже не столько всему Нью-Йорку, сколько всей Америке.

Увеличим масштаб: всему миру, что также явилось результатом величайшего из замыслов, которые может позволить себе писатель.

Замысел, как мы видим, до конца еще не реализованный. Но когда именем Бродского назовут улицы, площади, китайские, так им любимые, рестораны, пароходы, как в случае с «товарищем Нетте», или водку, как это произошло с Пушкиным (хотя, уж лучше любимый Бродским ирландский виски Bushmills: Brodsky-Bushmills, то бишь ВВ) – тогда будет из всего возможного – всё, призовой бинго, полный джекпот. Ждать, возможно, недолго осталось, ведь в российских кроссвордах – а это один из самых явных знаков народного признания – имя великого русского поэта на восемь букв уже стоит. Надо ли идти в раздел «ответы», чтобы догадаться, о ком идет речь...

С юбилеем, Иосиф Александрович!

Геннадий Кацов – поэт, прозаик, эссеист. В середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия». В мае 1989 г. переехал жить в США, где последние 30 лет работает журналистом.

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 г. Автор 7 поэтических книг; сборника стихотворений, прозы и эссе «Притяжение Дзэн» (изд. «Петрополь», 1999) и визуально-поэтического альбома «Словосфера» (из-во «Liberty», США, 2013), в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства. Поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней вокруг Солнца» вошли в лонг-листы «Русской Премии» по итогам 2013 и 2014 гг. соответственно; поэтическая подборка «Четыре слова на прощанье» вошла в шорт-лист Волошинского конкурса 2014 г., а поэтическая подборка «Ты в мире, но не от мира сего» – в его лонг-лист 2015 г. Лауреат премии литературного журнала «Дети Ра» за 2014 г. Со-составитель и участник альманаха «НАШ КРЫМ» (миротворческий проект 2014 года, антитеза известной идеологии). Со-составитель и участник альманаха «70» (70 поэтов из 14 стран мира), посвященного 70-летию государства Израиль (2018 год).

Публикации последних лет в литературных журналах «Времена», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Семь искусств», «Окно», «Крещатик», «СЛОВО/WORD», «Интерпоэзия», «Новый Журнал», «Новый Гильгамеш», «Литературная Америка», по-английски – в *Cimarron Review* (США), *Blue Lyra Review* (США), *Life and Legends* (США) и других.

Раиса СИЛЬВЕР

Я ПОМНЮ...

В нашем недавнем разговоре редактор сказал такую фразу: «Пишите, ведь то, что вы помните, чему были свидетелем, почти никто уже не помнит. Пишите!»

Я попробую выполнить просьбу и вернусь мысленно туда, куда почти никому уже не вернуться – в Москву 1938 года. Я вернусь туда, где я росла, в длинный четырехэтажный дом 16 на углу Богословского и Козихинского переулков в самом центре Москвы, в квартиру номер 21 на четвертом этаже. Ну разумеется, она была коммунальной. Мои внуки, родившиеся в Америке, долго не могли понять, что такое коммунальная квартира. (А уж мои правнуки, которые только начали ходить и говорить, и подавно никогда не поймут!). Кроме нас, в квартире проживало еще три семьи. До войны в каждой семье было три или четыре человека, – отец, мать и один-два ребенка. После войны мужчин в семьях не осталось. Двое погибли на войне, один погиб в Гулаге, один умер в самом конце войны. В то время, о котором я пишу, все еще были живы, но это был тридцать восьмой год, очень неопределенное время.

Я была единственным ребенком в семье, но на самом деле я никогда не была одна. Всегда с Герой, моей соседкой и ее младшей сестрой Эллой. Да мы, если бы даже очень захотели, не смогли бы существовать отдельно. У нас не было попросту другого выхода. Жили мы в одной квартире, ходили в один детский сад, сидели с Герой в школе за одной партой.

Наши родители, комсомольцы двадцатых годов, занятые построением социализма в отдельно взятой стране, въезжая в нашу коммунальную квартиру, как-то не заметили, что им на две семьи выделили две смежные комнаты, разделить которые было невозможно. Сначала им было не до того, слишком много было других,

более важных дел – родились мы с Герой, потом Элла, в нашей комнате добавился еще один человек – поселилась моя няня Шура – мама часто ездила в командировки, отец по вечерам учился, со мной некому было оставаться. Короче, что-то важное всегда происходило. В районном жилищном отделе нашим родителям объяснили, что таких прекрасных жилищных условий как у них многие советские люди попросту не имеют – две смежные комнаты на две семьи в самом центре столицы нашей великой родины.

Наши мамы были профсоюзными работниками, так что с самого раннего возраста, еще до того, как у нас прорезались зубы, такие слова, как пленум, актив, решение бюро, встречный план, почин и профком, заменяли нам ладушки, соски, а подчас и редкое в то время молоко...

Мой папа работал на заводе «Комега» слесарем, а папа Геры – мастером на вагоно-ремонтном заводе. Вообще-то он был адвокатом, но это было в Вене, в Австрии, до того, как он приехал в Советский Союз помогать строить социализм. Гера, она старше меня на полгода, своего папу совсем не помнит, а я его помню. Его звали дядя Антон. Он был сероглазый, веселый, шумный и очень добрый. Он любил с нами играть. Помню, как он садился в кресло, сажал нас с Геркой на колени и говорил «А ну поехали-поехали, поехали...!!!» И мы «ехали» из стороны в сторону и визжали от удовольствия. Мы были маленькие, нам было всего по три-четыре года. А Элла была грудная. Толстенькая, голубоглазая, ручки-ножки в перевязочках. Ее давно нет. А я помню, какой она хорошенькой она была в восемь-девять месяцев.

Дядю Антона арестовали в феврале тридцать восьмого. Все действие происходило у меня на глазах и почему-то в нашей комнате (у нас был большой обеденный стол, а у Геры в комнате стол был небольшой, за ним трудно было всем уместиться, может быть, поэтому...) Я хорошо помню бледное лицо дяди Антона (он подписывал какие-то бумаги), серьезные лица понятых – нашей дворничихи тети Дуни и управдома Савушкина, ее мужа. (Обычно они мне всегда улыбались, гладили по голове, а иногда даже конфеткой угощали, а тут ну просто какие-то чужие люди), двух милиционеров в толстых синих шинелях с уголками на петлицах... Помню, я стою, испу-

ганная, прижавшись к маминой юбке, мама гладит меня по голове и ничего не говорит, но я чувствую, что происходит что-то непонятное, плохое. Мне было так страшно, что я даже плакать боялась. Помню, как дядю Антона увели, как тихо стало в наших смежных комнатах, как валялись всюду какие-то бумаги, книги, вещи – видимо, проводили обыск и все бросали куда попало, как жалобно плакала маленькая Элла (она была больна) и как тетя Соня ее утешала. Ну что она должна была делать – бросаться вслед за уходящим мужем, обнять его в последний раз или дать грудь плачущему ребенку?

Десятилетия спустя Элла написала потрясающую книгу о своем отце, наивном молодом адвокате из Вены, уехавшем из сытой благополучной Австрии в далекий Советский Союз. О чем он думал, как представлял себе свое будущее в этой непонятной стране, которой хотел отдать свою молодость, энергию, талант, здоровье? Наверняка он не представлял, что его ожидает нелегкий труд на заводе (слава Богу, у него были умелые руки), более чем скромная жизнь вчетвером в небольшой комнатке коммунальной квартиры, без удобств (ванны, центрального отопления, газа; даже дрова для того, чтобы топить голландскую печь, которая отапливала наши две комнаты, приходилось тащить со двора на наш высокий четвертый этаж.)

Книга его дочери Эллы – это талантливая, с громадной болью написанная история близких мне людей, история семьи, попавшей в сталинскую мясорубку.

Да, я единственный человек, который навсегда запомнил (не знаю, как мне это удалось) как арестовывали дядю Антона. Может быть, поэтому мне всегда так хотелось знать, что же с ним произошло потом. Хотя ничего хорошего потом быть не могло.

В пятьдесят третьем дядю Антона реабилитировали. Семье сообщили о том, что он умер в лагере в сорок четвертом году от воспаления легких. Им вернули пишущую машинку, конфискованную во время ареста... И все.

Поверьте Давид, даже сейчас, десятилетия спустя, когда я пишу эти строки, мне с трудом удается выписывать каждое слово... За моим окном зимний нью-джерсийский вечер. Воспоминания одолевают меня. Я снова и снова вижу то, о чем только что написала. Я думаю о дяде Антоне, его молодой загубленной жизни, которая

так безжалостно была прервана, об искалеченной жизни его семьи, его героической жены, ни в чем не повинных детей. Они выстояли, выжили... Но чего это стоило.!!!

Я знаю, их были миллионы молодых (и не очень, разных!), безжалостно прерванных, уничтоженных, растоптанных жизнью. Я пишу только об одной.

Я благодарна, вам за то, что вы заставили меня сделать это.

Элла, сестра Геры, была настойчивым, целеустремленным человеком. Если она намечала что-то выполнить, то очень трудно, почти невозможно было остановить ее. Никто из близких не знал, что она поставила своей задачей достать все документы, связанные с арестом и последующей реабилитацией ее отца. Живя в Америке, она связалась в России с компетентными органами, она ездила туда, она получила доступ к этим документам и получила их копии на руки. Я знаю, как непросто, а подчас и просто невозможно это сделать, я восхищаюсь ее смелостью, настойчивостью, трудолюбием.

Когда я открыла книгу, написанную Эллой, я не могла спокойно читать ее. Слезы застилали мне глаза. Я своими глазами видела копии протоколов обыска в комнате семьи Геры, видела подписи понятых, дворничихи тети Дуни и управдома Савушкина. Я листала копию протокола допроса дяди Антона на Лубянке, в котором он чистосердечно признавался, что передал сотрудникам разведки «одного иностранного государства чертежи карбюратора, выпущенного московским вагоно-ремонтным заводом». (Все взятое в кавычки я привожу дословно из копии допроса Р.С.)

Почему этим иностранным государством оказалась Япония? А впрочем, почему бы нет?

В начале восьмидесятых семья Геры эмигрировала в США. До этого у них не было никаких сведений о родственниках ее отца, проживавших в Австрии... Когда-то в Вене жили его мать и сестры. Она знала только, что младшую сестру отца звали Анна. Но этого было явно недостаточно, чтобы начать вести поиски.

– А мы попробуем, – сказал Лев, муж Геры. – Наш путь в Америку лежит через Вену. Посмотрим, может быть что-то и получится!

В те годы все, кто эмигрировал из Советского Союза, непре-

менно останавливался в Вене. Там производилось оформление документов, людям помогали определиться, куда они поедут дальше, в какую страну. (Израиль, Америку, Австралию... и т.д.).

Лев, по профессии архитектор, прекрасно говорил по-немецки и по-английски. На второй день после их приезда в Вену он взял в отеле, где они остановились, телефонную книгу Вены, перелистал страницы с именами абонентов...

– Лева, все не так просто, – говорила ему Гера. – Подумай сам, прошло несколько десятков лет, была война, люди могли переехать, да мало ли что могло с ними произойти. Конечно, мы будем искать, только как лучше это сделать, с чего начать?

– А давай я просто попробую найти имя, – вдруг... – И он нашел в справочнике имя и фамилию, в точности соответствующие имени младшей сестры Антона. – Давай попробуем... – Он говорил спокойно, но руки его дрожали.

Он набрал номер и услышал в трубке спокойный женский голос... – Алло, я вас слушаю..

– Могу я говорить с фрау Анной? – и он назвал фамилию тетки.

– Да, это я, а кто со мной говорит?

– Одну минуточку, фрау Анна, мне очень важно услышать ваш ответ. Скажите, у вас был брат по имени Антон, который в начале тридцатых годов уехал в Советскую Россию?

– А кто вы, почему вы об этом спрашиваете? Да! У меня был... был брат, его звали Антон... А кто вы?

– Фрау Анна, рядом со мной ваша племянница Гертруда, дочь вашего брата Антона, а я ее муж, Лев... Мы только вчера приехали – я, Гера и наши дочери, ваши племянницы. Нет, мы не туристы, мы уехали насовсем...

– Боже мой, я не могу поверить! – раздалось в трубке, а потом он услышал рыдания...

– Простите ради Бога, я не могу говорить, в это трудно поверить... Здесь, в Вене дочь Антона, его внучки... Неужели это правда? Когда мы вас увидим?

Вечером того же дня фрау Анна и ее дочь приехали за Герой и ее семьей и повезли их в свой дом, расположенный на тихой венской улице.

В честь встречи в прекрасном доме фрау Анны (родные Антона

состоятельные люди) был устроен обед, один из самых незабываемых обедов в жизни моей подруги Геры. Их встречали с таким радушием и любовью, что забыть это никак было нельзя. Стол был потрясающе сервирован, а на десерт подали большой красивый торт, на котором по-русски было написано: «Добро пожаловать!»

Моя подруга Гера, которая жила когда-то рядом со мной в смежной комнате коммунальной квартиры в центре Москвы, с которой мы много лет сидели в школе за одной партой (я проверяла ее диктанты, а она давала мне списывать математику), живет теперь в Нью-Йорке на углу Пятой и 23 Ист. Район шикарный. Ну нам это не в новинку! Говорили же когда-то нашим родителям в районном жилотделе: «Таких прекрасных условий, как у вас, многие советские люди просто не имеют». И это на то время было правдой...

Недавно я навещала Геру. Мы так любим сидеть вместе и вспоминать наше детство, нашу юность.

Был поздний вечер, мне давно пора было ехать домой, а я все не могла сдвинуться с места, не могла оторвать взгляд от маленькой фотографии на геркином письменном столе. С фотографии на меня смотрел и весело улыбался молодой человек, которому не суждено было состариться, не довелось узнать, какие у него замечательные дети, внуки и правнуки. Внуков у него пятеро: художница, дизайнер ювелирных изделий, два врача и пианистка (она в это время с громадным успехом гастролировала в Японии, той самой стране, на которую, как было сказано в обвинительном протоколе, шпионил ее дед)...

ИСТОРИИ С ХОРОШИМ КОНЦОМ

История первая

Давайте я вам расскажу историю с хорошим концом. Я такие тоже помню. Хотите? Правда их не так уж много. Но все-таки они случались...

Гериного папу арестовали, и очень скоро оказалось, что у нас с Герой один папа на двоих. Не могу сказать, что он плохо к нам относился, просто мы редко его видели. Субботы в те доисторические

времена были рабочими днями, а выходные приходилось тратить на коммунистические субботники, ликвидацию безграмотности и тому подобное.

Самым сильным моим желанием тогда было пойти с папой куда угодно – в зоопарк, в цирк, на елку... Что же еще может сниться ребенку из недельной группы детского сада? Мне думается, всем ребятам нашего детсада снились по ночам одни и те же, очень похожие сны. Ведь дети видят сны независимо от того, есть у них папа или нет, приходит он вечером с работы домой или превратился во врага народа.

Моему папе невероятно повезло: из всех студентов его группы (он учился в университете журналистики, кажется, имени Свердлова) так и не успели стать врагами народа всего четыре человека – дочь самого Свердлова, жена Николая Островского, мой ничем не знаменитый папа и одна хорошенькая, судя по фотографии, девушка по имени Наташа.

В детском саду наши с Герой раскладушки стояли рядом, сны наши как-то раз совпали, и это, видимо, так подействовало на папу, что однажды в субботу, придя за нами в детский сад, он вместо того, чтобы на «Аннушке» (был такой знаменитый трамвай с буквой «А» над передним вагоном) везти нас домой, сел с нами на троллейбус и поехал на пристань к кинотеатру «Ударник» – кататься на речном трамвайчике по Москве-реке.

Теперь-то я хорошо понимаю, в чем состоит истинная прелесть редких праздников: в том, чтобы запоминаться на всю жизнь. Тогда же мне хотелось только одного – чтобы это продолжалось вечно!

Это была такая радость – бежать с Герой вприпрыжку рядом с папой, видеть

восхищенные взгляды встречных женщин (папа мой был очень красивым мужчиной, а я – похожа на маму), потом сидеть на верхней палубе с большущими вафельными колесиками сливочного мороженого в руках и облизывать их языком по окружности, стараясь при этом, чтобы не капнуло на новую матроску (у Геры колесико очень долго было целое, а я со своим расправилась в два счета, я всю жизнь такая), глазеть по сторонам и болтать от удовольствия ногами.

Осталась позади серая громада печально известного дома на на-

бережной у кинотеатра «Ударник», здесь жила мамина подруга тетя Шура с сыном Юликом, моим ровесником. Этой зимой они вдруг перестали у нас бывать, и мне запретили про Юлика спрашивать.

Не успела я как следует вспомнить про Юлика, как меня обдало таким густым, таким прекрасным шоколадным ароматом, что я обо всем на свете позабыла.

– Кондитерская фабрика «Красный Октябрь», – сказал папа и показал рукой в сторону, откуда мы только что отъехали.

Мы потом с Герой долго придумывали, как можно из аромата получить конфеты. Уж очень много добра пропадало впустую, зря – такие ароматы – «Мишка косолапый», «Раковые шейки», карамель «Популярная», наконец!

Да только ничего путного придумать мы так и не смогли.

Проплыли мимо покрытые первой нежной зеленью деревья парка имени Горького, остались далеко позади нерасторопные баржи, фырчащие моторки, легкие прогулочные лодки. В лодках сидели веселые девушки и красноармейцы.

Наш трамвайчик заливисто гудел, они улыбались, махали руками. Пахло весенним ветром – в Москве в мае по вечерам всегда пахнет весенним ветром, я это точно знаю, пахло клейкими тополистыми листочками – от веток, которые держала в руках девушка на соседней скамейке, пахло нагретой за день водой...

– Гера ела мороженое, я болтала ногами; сандалик на моей ноге расстегнулся и упал в воду.

Все заахали, заговорили, стало еще веселее. А папа ничуть не рассердился. Ведь у нас был праздник. Он просто нес меня домой от трамвайной остановки на Страстном бульваре до самого нашего дома в переулке у Палашевского рынка. И это было просто замечательно. Гера брела рядом и грустно на нас смотрела. Я тогда еще не понимала, как плохо человеку, если у него нет папы.

У подъезда нас поджидали мамы, моя и Герина.

– Что ж ты делаешь, – расстроено сказала моя мама и взяла меня у папы. – Тебе нельзя было нести ребенка, у тебя такое больное сердце!

– Я знаю, – устало ответил папа, – но ведь она только что перенесла скарлатину, как же ей идти босиком?

Папа был молодой, всего двадцать восемь лет, но сердце у него никуда не годилось. Когда началась война, папу не только в армию, его даже в ополчение не взяли.

Мы с Герой еще немножко поиграли в тот вечер, а потом пришла из магазина Герина мама и они ушли ужинать.

Гера была очень хорошей девочкой – такая маленькая, нежная, с тонким голоском. Ее все любили – воспитатели в детском саду, учителя в школе. Она никогда ни с кем не ссорилась и все делала правильно. Бывают же на свете такие люди !

История вторая

В конце декабря мы с Герой сидели в ее комнате под новогодней елкой, укладывали своих кукол спать и терпеливо ждали наступления праздника.

Сейчас раздастся звонок в дверь, придет с работы папа, все сядут за стол, зажгут елку, станут друг друга поздравлять, дадут нам подарки, потом нас уложат спать, а поздно ночью настанет новый, 1941 год.

Наконец раздался долгожданный звонок, и мы бросились в коридор. В квартиру вошел папа, ведя под руку маленького седого старичка. Тот бормотал что -то на непонятном языке и испуганно озирался. Старик был одет в теплый тулуп, подпоясанный тонким ремешком, на голове у него красовалась большущая папаха. Несмотря на то, что он был так тепло одет, старик выглядел продрогшим, замученным.

– Ну вот, – несколько смущенно сказал папа, – привел к вам Деда Мороза. Будем вместе Новый год встречать.

Папа увидел старика на улице недалеко от нашего дома. Старик стоял под уличным фонарем и плакал. Сосульки висели на его длинных усах, слезы катились по сморщенным щекам, он их даже не вытирал.

В ту зиму в Москве стояли трескучие морозы. . . Одинокий плачущий старик в новогодний вечер на пустынной московской улице... папа, который торопился с дежурства домой, не мог просто так проскочить мимо, не мог не остановиться.

Путая абхазские слова с русскими, старик кое-как рассказал

папе, что приехал сегодня днем в гости к сыну из далекой Абхазии. Отец – самый желанный, самый почетный гость в доме сына, неужели надо посылать телеграмму о его приезде?

Когда старик добрался до дома сына, оказалось, что тот в командировке. Об этом старику сообщили соседи. В квартиру старика не пустили, говорили в ним, не снимая цепочку с входной двери, – когда столько скрытых врагов пытаются подорвать строительство социализма, кто может поручиться, что этот неожиданный гость – не один из них?

Так старик оказался на улице в полном смысле слова. В довершение всего, пока он узнавал в справочном на вокзале, как проехать к дому сына, у него украли баул с вещами. В отличие от бдительных соседей его сына, вся наша квартира приняла деятельное участие в судьбе старика. Его обогрели и искупали на кухне в большом корыте, посадили за новогодний стол.

Мама надела на него папину рубашку. Нет, далеко не последнюю, у папы, кроме этой, было еще три.

Старый абхазец прожил у нас недолго, не больше недели, пока его не забрал вернувшийся из командировки сын.

В ту зиму мы часто ели чудесные свежие мандарины – их присылал нам из Абхазии старик, с которым в новогоднюю ночь мой папа поделился своей далеко не последней рубашкой.

В гостях у тети Вари

Тетя Варя была близкой подругой Гериной мамы. Они дружили с юных лет, работали когда-то вместе на московской фабрике «Красные текстильщики», тетя Варя – художницей по тканям, тетя Соня – по профсоюзной части. У тети Вари была большая дружная семья – братья, сестра, и все они, кроме брата Александра, жили в самом центре Москвы на Манежной площади, рядом с Александровским садом. Я любила у них бывать, они очень по-доброму относились в нам, детям, не сюсюкали, как многие взрослые люди, а говорили с нами понятным, ясным языком, давали нам посмотреть интересные книжки с картинками, доставали с полок коллекции красивых минералов. Порой кто-то из них ходил с нами гулять в Александровский сад, пока наши мамы обсуждали с кем-то из присутствующих

свои нескончаемые служебные проблемы. (Мама даже дома, когда стирали или готовили обед на кухне, решали служебные вопросы – они ведь были профсоюзными работниками).

У тети Вари была громадная квартира напротив Александровского сада – просторные комнаты, большая кухня, солнечная столовая, где за длинным столом садились обедать члены семьи, их друзья и родственники. Тетя Варя, ее сестра Инесса и братья Александр и Андрей были детьми Инессы Арманд, друга, сподвижницы, соратницы по революционной борьбе Владимира Ильича Ленина. Квартиру на Манежной Инессе Арманд подарил Ленин в знак признания ее выдающихся заслуг перед советским государством. В их доме часто бывала Крупская, Арманды были ее очень близкими друзьями. К ним она приходила жаловаться на свою горькую жизнь, на грубые выходки Сталина, он год от года относился к ней все хуже, все нетерпимее. Знала, верила – эти люди не донесут.

Их семью даже в самые черные годы Сталин не тронул. Может быть потому, что имя Ленина в памяти народа очень прочно было связано с именем Инессы Арманд. Икона должна быть незамутненной.

У них в доме хранилось множество подарков от Крупской. Помню прелестную деревянную шкатулку с минералами и полудрагоценными камнями. А на шкатулке выгравирована надпись: «Блошке от Крупской» (Блона – дочь тети Вари). Помню прекрасное, искусно сплетенное из бересты панно, подаренное Ленину крестьянами...

Есть такие люди, которые уже при первой встрече с ними производят незабываемое впечатление.

Я тетю Варю знала с детства, позже мы почти не встречались, но помню ее как будто я ее видела вчера. Это была высокая, статная женщина с правильными чертами лица, серыми внимательными глазами, копной каштановых волос над высоким лбом. Когда арестовали Гериного отца и он из мужа лучшей подруги превратился во врага народа, никто из семьи Арманд не перестал с ней дружить... Многие люди, даже еле знакомые с тетей Соней, завидев ее издалека, переходили на другую сторону улицы, отворачивались при встрече, отводили взгляд в сторону... Многие, но только не тетя Варя и мама Инна – это была старшая дочь Инессы Арманд. (Ее в семье звали мамой Инной чтобы не перепутать с ее дочерью, просто Инной.)

Мама Инна всю жизнь проработала в Институте Марксизма-Ленинизма и преподавала, соответственно, марксизм-ленинизм и все что с ним было связано. Ее постоянно приглашали выступить с воспоминаниями о Ленине, Крупской и ее матери, Инессе Арманд. Это было, как бы сказать точнее, профессией, что ли. Другого не было дано.

Тетя Варя тоже была очень известным человеком. Она была прекрасной художницей по тканям, а еще она много лет возглавляла Союз Художников Российской Федерации. А сейчас вот... я подумала, мы ведь даже в определенном родстве с ней состояли. Моя мама много лет вдовствовала, а потом вышла замуж за своего давнего знакомого, Исаака Самойловича Шапиро, скромного дантиста из Харькова. Его жена с сыном погибли во время бомбежки, а он в это время был на фронте, в самых опасных местах.. Он всю жизнь не мог понять, почему он провоевал всю войну и уцелел, а они... До последнего дня он вспоминал своего малыша... Он всю жизнь ни во что не вмешивался, нигде не состоял и не участвовал, просто очень хорошо умел лечить зубы. Его сестры, Галина и Хиена, были замужем за сыновьями Инессы Арманд, Александром и Андреем. Галина в свое время была секретарем у Якова Свердлова. У моего отчима было с тетей Варей пятеро общих племянников.

И все мальчишки! Внуки Инессы Арманд, они же родные племянники моего отчима.

Это было в День Победы

И еще одно связанное с семьей Армандов воспоминание хранит моя память.

Начало мая 1945 года. Незабываемое время. По радио передают победные сводки. Германия повержена. Все ждут, что не сегодня-завтра объявят об окончании войны. Москва содрогается от грохота победных салютов. Мы не уходим с улицы. Весна, солнце светит вовсю, на деревьях лопаются почки, и так не хочется идти в школу, когда можно прыгать через веревочку или скакать на одной ножке по наспех начерченным на тротуаре куском кирпича клеточкам (мы их называли классиками, а как сейчас называют, понятия не имею).

Мы, дети, тоже чувствуем это всеобщее настроение: ожидание,

волнение... По хлебным карточкам в булочной можно получить замечательные булочки с повидлом, такого раньше не было. Открыли коммерческие магазины, где можно без карточек, за деньги (правда, большие, очень большие) купить всякие вкусные вещи – апельсины, мороженое, икру... Во многих (нет, не во всех!) организациях сотрудники получают американские подарки – посылки из Америки, вещи, собранные американцами для советских людей. Они такие яркие, необычные, как живая картинка из сказки. Нам с Герой тоже кое-что перепало от дяди Сэма. Красивые кофточки, пара юбок. А когда я шла по улице в моих американских белых с коричневыми пряжками туфлях, на меня люди оборачивались. Правда, мама их быстро отобрала и давала носить по праздникам. Но и по праздникам – все равно оборачивались.

Мы с Герой жили на четвертом этаже. А на третьем этаже, прямо под нашей квартирой жила большая семья Большаковых. Эта семья занимала всю квартиру. Соседей там не было. Одни родственники. Это были очень дружелюбные, симпатичные люди. У них в коридоре стоял телефон. И они никогда не возражали, если нам надо было от них позвонить.

В День Победы, 9 мая, мы не отходили от радио, ждали важных сообщений. И только раздался голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза!» (У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю этот незабываемый, этот невероятный голос...), как кто-то настойчиво позвонил в дверь. Мама побежала открывать. За дверью стояла тетя Валя Большакова.

– Соня, Цецилия, вас срочно просят к телефону. Ваша подруга Варвара.

– Соня в магазин побежала, я сейчас иду... – сказала мама и побежала по лестнице вниз. Я увязалась за ней.

– Я слушаю, Варюша, Соня в магазин выскочила, а я здесь. – Она взяла в руки телефонную трубку, приложила ее к уху и вдруг лицо ее изменилось, на глазах показались слезы...

– Как это, когда? Несколько часов назад... Боже мой, какое несчастье! Бедный Андрей! Как я вам сочувствую, как я вас всех понимаю! Мы с Соней сейчас к вам приедем.

Андрей Арманд, младший брат Варвары Арманд, был убит в Берлине в День Победы, 9 мая 1945 года.

Мама так хорошо понимала семью Арманд и искренне сочувствовала их горю – две недели назад, 26 апреля 1945 года от сердечного приступа в возрасте 37-ми лет умер мой отец.

Ленинский бутерброд

*Памяти моей мамы
Цецилии Константиновны Гугель*

Моя мама работала инструктором в центральном комитете профсоюза рабочих тяжелого машиностроения.

В самом начале войны, когда фашисты рвались к Москве, маме было поручено увезти на Урал детей рабочих московских оборонных заводов и организовать для них интернат.

В поселке Бисертъ, в ста километрах от Сведловска (нынешнего Екатеринбурга), находился военный завод. Там производили важные части для танков. Туда мама привезла «своих» детей и взрослых – воспитателей, педагогов, людей, с которыми она этот интернат создала. С мамой поехали тетя Соня с детьми (она была первая помощница мамы) и семья Армандов. (Как я поняла, им было рекомендовано из Москвы уехать).

Мама была прекрасным организатором. В начале сентября 1941 года, через неделю после нашего приезда интернат уже работал.

Я помню, как с нами занималась математикой Герина мама, какие интересные книжки она нам читала, помню первый в моей жизни новогодний маскарад с костюмами, его помогала организовать тетя Варя Арманд. Я была «Котом в сапогах», лучшего костюма у меня потом в жизни не было. Помню, как в день рождения Ленина к нам пришла мама Инна и рассказывала всякие интересные истории про Владимира Ильича. А я тогда так хотела есть, что с трудом слушала, все думала, а что же нам дадут на ужин.

Мы все тогда часто хотели есть. Но я очень хорошо запомнила рассказ Инессы Арманд про ленинский бутерброд.

В этой истории вымысла нет. Мама была директором интерната, Леночка и Владик – воспитанниками. Леночке было четыре года, она была рыженькая, кудрявая и очень хорошенькая.

...Заведующая интернатом, молодая женщина с озабоченным лицом, вздохнула и отложила в сторону лист бумаги, на котором она производила свои сложные математические подсчеты.

Ничего не получается! Если испечь лепешки из той муки, что отложена на Первое Мая, и взять то повидло, что они дают детям по воскресеньям, то на день рождения Ленина у них будет вполне приличный чай... Но из чего тогда печь пироги на Первое Мая?

Правда, кое-что обещал подбросить председатель колхоза – хороший мужик, у самого пятеро детей... Ну, а уж как лето настанет, старшие ребята ему с прополкой помогут.

Огонек коптилки тускло освещал небольшую опрятную комнату. До войны здесь был кабинет директора школы. Сейчас в школе разместился их интернат. В классах, превратив их в спальни, поставили кровати: здание хоть и просторное, да пятьдесят детей разместить – не шутка. Пятьдесят маленьких москвичей в возрасте от пяти до четырнадцати лет привезла она сюда в августе сорок первого года. Там, в далекой Москве, остались их матери и отцы, рабочие оборонных заводов. Но большинство отцов на фронте. А иных уж нет...

Каждый раз, когда она просматривает утреннюю почту, ее в дрожь бросает: а вдруг опять страшная весть... В январе был убит отец маленькой Леночки, в феврале ходил три дня с заплаканными глазами Владик... Когда же это кончится?

Она сорвала листок с календаря. Вот и еще один день прошел... Далеко-далеко, не видимая отсюда, из маленького поселка, затерявшегося в Уральских горах, шла страшная война. Грохотали взрывы, горели здания, гибли люди.

А здесь было тихо и темно. Потрескивала коптилка, на станции прогудел поезд из Свердловска (и на часы не надо смотреть – он всегда приходит раз в сутки, в десять двадцать три), в спальнях спали ее пятьдесят детей, и снились им красивые довоенные сны.

А утром в интернате царил веселая суматоха. Ребята мыли полы, вытирали пыль, несли с улицы пахнущие лесом и свежестью сосновые ветки. Сегодня был день рождения Владимира Ильича Ленина! В гости к ребятам обещала приехать дочь Инессы Арманд, сподвижницы и близкого друга Ленина. (Дочери Инессы Арманд, так же как и семьи других эвакуированных москвичей, жили в поселке неподалеку от интерната.)

Чай удался на славу! Каждому досталось по большой серой лепешке и по несколько ложечек настоящего яблочного повидла.

Дочь Инессы Арманд была худощавой женщиной с умными серыми глазами. Господи, да как же это может быть – вот здесь, в уральской глуши сидит человек, в чей дом запросто приходил товарищ Ленин, человек, с которым Надежда Константиновна по-своейски попивала чаек!..

Заведующая стояла в дверях, смотрела то на гостью, то на ребят, и мысли ее рассыпались и собрать их воедино было очень трудно.

Она думала о своем и одновременно прислушивалась к рассказу гостыи.

– И еще Владимир Ильич очень любил бутерброды, которые мы в шутку называли «ленинскими». Ленин брал большой кусок свежего белого хлеба, мазал его маслом. На масло сверху помещал сыр, а на сыр – варенье. И так ел! Владимир Ильич очень любил эти бутерброды.

В комнате было очень тихо. И вдруг маленькая Леночка громко спросила своим чистым, звонким голоском:

– Тетя, а что такое сыр?

Дочь подруги и сподвижницы Ильича немного растерялась. И в самом деле, как объяснить пятилетнему человеку, который никогда не ел сыра, что же это такое на самом деле?

***Раиса Сильвер** была в Москве инженером-экономистом. После эмиграции (1975) стала руководителем центра для пожилых людей в штате Нью-Джерси, журналистом, ведущей радиопередач на русском радио в Нью-Йорке, экскурсоводом, преподавателем, автором рассказа в американском учебнике, по которому американцы изучают русский язык.*

В течение многих лет ее рассказы, очерки, интервью публиковались в газетах «Новое Русское Слово», «Русский Базар» и др.

Она – автор пяти книг прозы, выпущенных в Израиле, России, Америке. Сравнительно недавно она издала книгу стихов.

Юрий ОКУНЕВ

ПРИЧУДЛИВАЯ СУДЬБА

В молодости, еще в советские времена, работал я в исследовательской лаборатории огромного секретного почтового ящика в Ленинграде. И там, среди многих замечательных людей, довелось мне познакомиться и даже работать вместе с Ваней Коробовым. Перипетии его судьбы до сих пор кажутся мне настолько причудливо-удивительными, что было бы несправедливым позволить им кануть в Лету – это и подвигло меня сесть к компьютеру и отстукать одним пальцем данную повесть. Вот что получилось...

История жизни Ивана Николаевича Коробова – большой роман-триллер, по сравнению с которым известные из классиков приключения провинциалов, приехавших покорять свой Париж, напоминают разбавленный сладеньким чаем коньяк. Если бы автор этих строк был профессиональным литератором, то, конечно же, составил бы по живым следам этот роман под названием «Красное между черным и белым» – ведь и придумывать ничего не надо, пиши, что и как всё было, без малейшего художественного вымысла, который сводил с ума классиков.

Молоденький Ванечка приехал в большой столичный город под названием Ленинград из глухой деревни Щелино, что в Новгородской области где-то на полпути между двумя российскими столицами. Деревня эта была давно разорена не столько трехлетним нашествием немецких полчищ – от всякой войны можно оправиться, сколько четвертьвековой хитромудрёной политикой нашей партии и ее бессменных вождей в области сельского хозяйства. Как известно, разногласия российского крестьянства с советской властью по аграрному вопросу были концептуальными: каждая из сторон желала закопать в землю другую сторону. Сталинские специалисты по этому вопросу победили – поначалу они раскулачили Ваниных

предков, то есть ликвидировали их как класс, затем коллективизировали оставшихся в живых Ваниных родителей, то есть отняли остатки собственности и заставили работать в колхозе. На протяжении десятилетий означенные специалисты аграрной науки много раз грабили согнанных в колхоз крестьян в целях окончательной победы справедливости над капитализмом и прочими темными силами, которые, как освободил селян от рабства император Александр II, так и не давали им насладиться полным счастьем в союзе с более прогрессивным пролетариатом...

Жизнь щелинцев была на самом деле тяжелой каторгой, и избы крестьянские, покосившиеся и черные, как будто в землю зарывались поглубже и вращались в нее от страшного белого света подальше. По всему выходило, что рабство далекое вернулось – земли своей нет, большую часть выращенного отбирают, на трудодень положена жизнь голодная, паспорта отнятые лежат в сейфе у колхозного начальства, чтобы неповадно было сбежать, а если кто вздумал говорить начальству наперекор, то быстренько темной ночью исчезал бесследно. Но и это мог бы превозмочь наш терпеливый и привыкший к грабежу и насилию селянин, однако тут райком по указанию обкома, который в свою очередь и т.д., напустил на деревеньку всю мощь передовой и единственно верной мичуринской науки, возглавляемой разбойным мудозвоном Трофимом Лысенко, который по мудрости и знаниям в области аграрных наук уступал только самому лично Великому Вождю. Основная мысль этой науки заключалась вот в чем: только партийное начальство в районе и области достоверно знало, что и когда крестьянам следует сеять и жать. От такой напасти им, крестьянам, ох как трудно было оправиться. Тут, правда, Великий Вождь залег навечно в мавзолей рядом с самим В.И. Лениным, но поскольку оказалось, что он не во всем был прав, особенно в аграрном вопросе, то вскоре был досрочно выписан из мавзолея и закопан в сырую землю в соответствии с вышеназванными аграрными пожеланиями трудового крестьянства. И тут всем показалось...

Эх, мало ли чего тогда казалось в светлых снах и темному крестьянину в деревеньке Щелино, и высокообразованному профессору в самой Москве. А проснувшись, и тот и другой узнавали – один по радио, другой из телевизора – что новое начальство имело для

крестьян-колхозников новые указания, более прогрессивные, но опять же на строго научной основе того же разбойного Трофима Лысенко. Конечно, ради правды нельзя не сказать, что ряд послаблений для щелинцев всё-таки вышел – крепостное право вторично отменили и паспорта выдали на руки, так что теперь можно было сбежать в город. Да к тому же всем пообещали вот-вот догнать и перегнать Америку и сразу же вступить в полный коммунизм, который, по-видимому, тут же рядом с бегущей перед щелинцами Америкой и размещался.

Все эти события происходили в годы детства, отрочества и юности нашего героя. Ваня ходил в школу в райцентр, который располагался в нескольких верстах от его родного Щелино. Сам райцентр был недалеко от сравнительно приличного шоссе Москва-Ленинград, и от шоссе к нему вела асфальтированная дорога, однако дорога от райцентра до Щелино была, как говорили, грунтовой, то есть не всегда проезжей. Ваню и других ребят иногда подбрасывал до школы шофер колхозного грузовика, но чаще приходилось идти пешком, особенно весной и осенью, когда дорога разбухала от грязи, а еще, когда деревянный мост через щелинский ручей оседал, горбатился и щелился от старости и непогоды, так что на грузовике переезжать его становилось опасно...

Учительница в Ваниной деревенской школе сказала: «Вот, ребята, через три года перегоним Америку по мясу и молоку и приступим к окончательному построению коммунизма. Ваше поколение будет жить при коммунизме – это гарантирует наша родная Коммунистическая партия!» Ваня не понял, что значит «гарантирует», но красивые слова учительницы ему понравились – что ни говори, а при коммунизме в деревне даже мясо будет. Он вообще стал замечать, что ему больше нравится то, чего он не понимает, ибо всё ясное, окружавшее его, никак нравиться не могло.

Например, в школе висел плакат с непонятными словами: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача!» Ване нравилась эта красивая фраза, но он не знал, что такое «милости», иначе взял бы их, раз есть такая задача, а спросить учителей стеснялся. Он сначала думал, что милости – это милостыня, которую нищие, чаще безногие или безрукие еще с войны, выпрашивают на райцентровской автобусной остановке и около

церкви. Но таких милостей Ваня не хотел, ему это не нравилось, а фраза на плакате нравилась – значит, там речь шла о каких-то других милостях. Ванин сосед по парте, из послевоенных переростков, сказал: «Милости – это когда сколько хошь жри картошки». Такое толкование было понятно, потому что касалось основного продукта в рационе щелинцев, но Ваня думал о другом – он ждал каких-то необыкновенных, возвышенных что ли, милостей, ждал, пока не пришла пора отрочества, а вместе с ним осознание того жестокого факта, что в своей деревне он ничего хорошего, о чем говорили в школе и рассказывали по радио, никогда не дождется. И вот настал такой момент, когда Ваня принял на всю жизнь твердое решение – никогда не ждать и не просить ни у кого никаких милостей, а брать и рвать немедленно всё, что ему нужно, и не как милостыню, а как свое, временно другими захваченное... Он первым в классе вступил в Коммунистический союз молодежи и быстро выдвигался по комсомольской линии, смекалисто угадав, что именно в этом направлении располагаются все искомые «милости природы».

Это были времена, когда самого Первого секретаря всей партии, славного Никитушку Хрущева – заступника невинно убиенных и чудом выживших, вдруг осенило по линии сельского хозяйства, вследствие чего начальство велело щелинцам сеять кукурузу, а у них, к сожалению, кукуруза росла плохо. Смахнули бабы черными от земли руками чистые слезы, а Ваня взял старый, еще от раскулаченного деда, чемоданчик, засунул в него свое нехитрое бельишко, положил аккуратненько завернутые в чистый платок 50 рублей, паспорт, аттестат об окончании средней школы, а главное – направление Обкома ВЛКСМ на учебу в вузе, и уехал на попутке в Ленинград.

Жизнь Вани в Ленинграде до его романтического и судьбоносного знакомства со своей пассией-покровительницей Валентиной Андреевной никакого интереса для любознательного читателя не представляет. Он поступил в ничем не знаменитый вуз на факультет радиотехнического профиля, получил в качестве иногороднего и ценного комсомольского кадра койку в общежитии, в комнате всего лишь на четверых, и скромную, чтобы не сказать – убогую, студенческую стипендию. Жизнь в бывшей имперской столице предлагала

много интересных соблазнов, но почти все они оказались абсолютно недоступными Ване – это было ему продемонстрировано самым наглядным и безжалостным образом.

Как-то на студенческом вечере в актовом зале института он пригласил на танец ослепительно красивую девушку в необыкновенно ярком коротком платье, ничуть не скрывавшем ее стройные ножки вплоть до непозволительного для настоящего комсомольца уровня. Темные волосы подчеркивали белизну продолговатого лица девушки, а слегка презрительный взгляд больших черных глаз – ее независимый характер. Ваня такую красоту вообще видел первый раз в жизни. Девушка, которую звали Юлия, как оказалось, не имела никакого отношения к вузу и пришла, по ее выражению, «потусоваться среди интеллигентов». Ослепленный Ваня, возомнив себя тем самым искомым интеллигентом, попытался назначить красавице свидание, на что она, осмотрев его с головы до ног, сказала: «Вы – симпатичный молодой человек, но не потянете меня... Я для вас слишком дорогая!» – и... исчезла. Ваня был тогда потрясен и даже впал в депрессию – снова, как и в деревне Щелино, доступный ему мир был жестко ограничен. Причем отныне убогой жизнью на стипендию и мелкие случайные заработки, да еще всеобщим дефицитом продуктов и товаров. «Как вырваться из круга этих ограничений?» – мучительно думал Ваня. В конце концов, он не смог придумать ничего кроме усиления своей комсомольской активности, но это, как объяснила ему впоследствии Валентина Андреевна, и было, на самом деле, генеральным направлением его движения вверх, направлением прорыва из тотально дефицитной жизни, в которой пребывало большинство населения.

История знакомства Вани с Валентиной Андреевной, которую назвать иначе как по имени и отчеству язык не поворачивается, удивительна до невероятности и, на первый взгляд, может показаться выдумкой беллетриста, что к автору этих строк, ясное дело, не имеет никакого отношения. Если я скажу, что их встреча произошла в столице нашей родины Москве и, более того, не где-нибудь, а в Государственном академическом Большом театре Союза ССР, то вдумчивый читатель, не любящий кормиться подобными небылицами, пожалуй, отложит нашу рукопись в сторону. Тем не менее, так именно оно и было, и я вынужден эту историю пересказать даже с риском

потери некоторых серьезных читателей, ибо, как говорил классик, «нет ничего прекраснее правды, кажущейся вымыслом».

Однажды ранней осенью у Вани случилась комсомольская премия и недельный отпуск в придачу за организацию ударного труда студентов на колхозных полях. Он взял билет в плацкартный вагон и поехал в Москву, в которой отродясь не бывал. В Москве Ваня не торопился, он собирался переночевать в общежитии родственного московского института, но затейница-судьба уготовила ему нечто другое... Одни верят, что наши судьбы полностью предопределены свыше, другие полагают, что только свобода воли определяет судьбоносный выбор той или иной дороги. В случившемся с Ваней, конечно, доминирует предопределенность и почти совсем не просматривается свобода воли. Осмотрев Красную площадь, Мавзолей и Кремль, Ваня пошел в Музей В.И. Ленина, чтобы потом рассказать об этом кому надо. Затем направился по Охотному ряду к площади Революции, чтобы посмотреть памятник Карлу Марксу, но внезапно увидел напротив памятника величественное здание Большого театра. На афише с юношей и девушкой в красивых развевающихся восточных костюмах значилось – балет «Легенда о любви». Ваню вдруг неодолимо повлекло посмотреть этот балет в самом Большом театре – словно само Провидение подтолкнуло его в том единственно правильном направлении.

В кассе театра было написано «Билеты проданы». Ваня пытался разговорить билетершу – мол, дескать, он первый раз в Москве и очень хочет..., но получил в ответ лишь холодный, презрительный взгляд перед тем как окошко захлопнулось. В растерянности Ваня озирался по сторонам, и в этот момент Провидение, которого, как Ваню учили, нет и быть не может, подкинуло ему выигрышную карту. В углу небольшого кассового зала лежал на полу явно кем-то потерянный кошелек, а вернее – красивое светло-коричневое портмоне. Вокруг портмоне уже собралась небольшая толпа нерешительно взиравших на него граждан – никто, однако, не решался в присутствии других взять его, хотя, само собой, воровато прикидывал, как бы это сделать. Ваня среагировал на ситуацию мгновенно – ведь им руководило само Провидение. Он решительно раздвинул столичных интеллигентов и поднял портмоне. Меломаны неодобрительно зашумели, а некоторые придвинулись к выходной двери, чтобы пре-

градить путь наглецу, захватившему чужой кошелек. Ваня тем временем решительно двинулся к двери с надписью «Администратор», демонстративно держа свой трофей в вытянутой руке. Нахально, без стука войдя к администратору, он поспешно, пока его не выставили, предъявил свою находку и заявил, что взамен желает получить билет на вечерний спектакль. Администратор – утомленный посетителями пожилой, многоопытный прохиндей – только из-за этого трофея и стал с Ваней разговаривать. Он раскрыл портмоне и обнаружил там помимо приличной суммы денег, которые его лично давно уже и совсем уже не интересовали, два билета на вечерний спектакль, которые недавно он собственноручно выдал по блату представительной интеллигентного вида даме, а главное – удостоверение личности с корешком пропуска, из которых тут же понял, что дама является сотрудником компетентных органов, в которых он сам значился, ясное дело, внештатным сексотом. Это меняло ситуацию коренным образом, и администратор почти любезно сказал ничтожной Ваниной личности: «Зайдите ко мне за полчаса до начала. Попробуем что-нибудь придумать для вас».

Наш умудренный в детективном жанре читатель давно уже понял, что портмоне принадлежало Валентине Андреевне, которая была в тот день в служебной командировке в Москве и неосторожно промахнулась, опуская портмоне в свою безразмерную сумку. К счастью, по наводке администратора ей позвонили заблаговременно из ее собственной конторы, для которой сиюминутное местопребывание граждан такого уровня не составляло секрета. Убедившись в потере кошелька, Валентина Андреевна немедленно отправилась к администратору, который почтительно вручил ей найденное портмоне и попутно рассказал о крепком, но простоватом молодом человеке из провинции, принесшем свою находку и мечтающем попасть на балет. Он пояснил: «Я велел ему зайти за полчаса – конечно, мы поможем, раз тут такое дело...» Валентина Андреевна протянула администратору один из двух своих билетов и сказала: «Молодой человек, безусловно, заслуживает благодарности, передайте этот билет ему – пусть получит удовольствие». В этом спонтанном решении Валентины Андреевны тоже просматривается некий возвышенный замысел того самого Провидения, которое управляло в тот день поведением Вани. Конечно, можно всё свалить на его величество слу-

чай, который толкает людей на тот или иной путь, но, как говорил классик, самое важное – «не дорога, которую мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать ту или иную дорогу». В тот осенний день в кассе Большого театра нечто, что было внутри наших героев, подтолкнуло Валентину Андреевну и Ваню на дорогу к их судьбоносной встрече.

Ваня был весьма смущен – администратор любезно дал ему билет и не взял денег за это. Дальше больше – у роскошной ложи его встречал пышно разодетый капельдинер, который сначала вежливо попросил предъявить билет, а затем любезно открыл перед Ваней дверь и показал ему место в первом ряду. Капельдинер на самом-то деле оценивал опытным взглядом изошренного агента, не украл ли этот плохо одетый парень свой билет, – он привык к совсем другой публике. Ваня тем временем был ошеломлен открывшейся картиной. Знаменитый «золотой занавес» Большого, сотканный из золотых и шелковых нитей, с огромной золотой звездой и красными знаменами наверху, предстал перед ним как на ладони, – Ваня сидел рядом с бывшей царской, а ныне правительственной ложей, в которой были какие-то иностранцы. Под огнями гигантской люстры сиял роскошный зал – весь в золоте и красном бархате. В это время дверь открылась, и знакомый капельдинер провел на соседнее место «интересную даму уже в возрасте», как заметил для себя Ваня. Дама обернулась к нему и сказала: «Спасибо, молодой человек, за портмоне – это было весьма благородно с вашей стороны». Ваня, наконец, понял всю историю с билетом и проблеял не своим голосом нечто вроде «и вам большое спасибо...» Дама посмотрела на него изучающе и сказала решительно: «Ну, что же, давайте знакомиться – меня зовут Валентиной Андреевной». Ваня промямлил свое имя, потом добавил отчество, но фамилию решил на всякий случай не называть.

Танцевали звезды Большого – Майя Плисецкая, Наталья Бесмертнова и Марис Лиєпа. Ваня прежде видел балет только по телевизору в клубе общежития. Он поначалу плохо понимал суть происходящего на сцене и не улавливал связи между аплодисментами зрителей и нюансами танцев великих балерин, но в первом антракте Валентина Андреевна – тонкий знаток балетного искусства – разъяснила Ване, что к чему. Ване понравилось, как деликатно она рас-

сказывала ему о незнакомых вещах, он был очарован ее мягкой манерой говорить просто о сложном – такую образованную, умную женщину наш герой видел первый раз в жизни. И эта необыкновенная и, по-видимому, весьма влиятельная дама так добра к нему – невежественному лопуху. Ко второму антракту Ваня был едва ли не влюблен в свою соседку, возникшую словно из этой «Легенды о любви», и уже не просто слушал, но, осмелев, всё чаще восхищенно поглядывал на нее. И когда после спектакля Валентина Андреевна пригласила его к себе «на чашечку чая», Ваня смутился и одновременно обрадовался, предчувствуя необыкновенный разворот этого московского приключения.

О случившемся на служебной квартире Валентины Андреевны, конечно, никто ничего толком не знает – это всё, как говорят в таких случаях, кануло в Лету. Некоторые детали мне лично известны из намеков самого Ивана Николаевича, с которым мы приятельствовали в его аспирантские годы, а также из рассказов сплетниц нашего ящика, в которых правда витиевато переплеталась с пикантными домыслами их безмерного воображения.

Инициатива в ту ночь, конечно же, исходила от Валентины Андреевны, и когда Ваня почувствовал нежную, но властную руку дамы в том месте своего тела, где прежде никто, кроме него самого, не бывал, то немедленно ответил взаимностью, вознамерившись по обыкновению быстро исполнить нехитрую мужскую функцию. Здесь нужно сказать, что сексуальный опыт нашего героя – а уж об этом я достоверно знаю – был к тому моменту весьма примитивным. К парочке деревенских баб, конечно же, как вы понимаете, без малейшего изыска, он добавил парочку студенток-провинциалок, пытавшихся утвердить свой столичный имидж самым поспешным и общедоступным способом на узких скрипучих железных кроватях студенческого общежития. Ваня избегал близкого знакомства с городскими барышнями, справедливо опасаясь насмешливо-уничижительного отказа, а на студенческих вечеринках делал вид, что ЭТО его не интересует. А тут Валентина Андреевна – эдакая многоопытная светская львица... Короче говоря, бесхитростный порыв нашего героя – всё сделать по-быстрому одним кавалерийским наскоком – был мягко, но твердо пресечен: «Ваня, милый, не торопись... Пойди сначала прими душ... В ванной комнате найдешь

полотенце и халат... Иди, иди, милый...» Смущенный таким незнакомым ему поворотом дела, Ваня пошел в ванну и, беззвучно матерясь, разобрался не без труда, едва не ошпарившись, с вычурным многопозиционным душевым краном. Честно говоря, он первый раз в жизни мылся в ванне, тем более – среди такой бело-розовой роскоши. Прежде ему доводилось делать это либо в курной деревенской бане, либо в грязноватой душевой общежития на десять помоечных мест. Вытираясь огромным купальным полотенцем и заворачиваясь в белоснежный махровый халат, Ваня прикидывал в уме, что, может быть, эта бело-розовая ванна есть начало его новой жизни. Он не ошибся, он угадал свою судьбу...

Валентина Андреевна задала ему ночь по высшему разряду, о существовании которого он прежде даже не догадывался, да и вообразить ТАКОЕ, вероятно, не мог... Уже под утро, засыпая, ошеломленный и утомленный Ваня прокручивал видения этого фантастического дня – золото и малиновый бархат роскошной ложи Большого театра, ярко освещенная сцена с красивыми артистами, танцующими под красивую музыку, сказочная балерина в развевающихся одеждах и немыслимом прыжке, легенда о любви, бело-розовая ванна, припухлые губы Валентины Андреевны и ее фосфоресцирующее тело при свете сиренево-лилового ночника... Да, это другой мир, это новая жизнь, это его судьба, это его легенда о любви, легенда о любви, легенда о любви...

Вернувшись в Ленинград, Ваня всего один день прожил в общежитии, а затем перебрался вместе со своими пожитками к Валентине Андреевне, благо ее сын – Ванин ровесник – жил со своей подружкой отдельно, в окраинной кооперативной квартире, купленной ему матерью. Через пару месяцев Ваня и Валентина Андреевна тихо, без свадебных торжеств поженились, и Ваня стал совладельцем роскошной трехкомнатной квартиры в старинном доме на Фонтанке. Валентина Андреевна в то время была начальником секретного Первого отдела в нашем почтовом ящике и ровно в два раза старше Вани. Ее муж, крупный партийно-хозяйственный работник, погиб еще во времена расстрельного Ленинградского дела, и она, избежав репрессий только лишь по молодости, одна растила сына и пробивалась наверх – удивительного характера женщина. Однако самое поразительное в истории Ваниной женитьбы заключалось в

том, что этот, казалось бы, явный мезальянс на самом деле оказался прочным союзом и до поры до времени базировался на искренней привязанности и, не побоюсь этого громкого слова, любви. Я это знаю достоверно не только со слов Вани. Когда он начинающим инженером появился у нас в ящике, все, конечно, посплетничали и позлорадствовали по поводу этакой парочки, но потом быстро заткнулись – очевидное счастье влюбленных словно смыло все злобство, оставив лишь недоумение и, может быть, тщательно скрываемую зависть. Это потом, когда счастье развеялось и рухнуло, заговорили опять – мол, всё ясно было с самого начала... мы же предупреждали... Но не будем забегать вперед, обо всём расскажем в свое время, а сейчас, когда Ваня засиял, а Валентина Андреевна воистину расцвела, восславим наших безумных любовников-авантюристов торжественным маршем Мендельсона!

Последующие годы Ваниной жизни вплоть до успешной защиты им кандидатской диссертации, выражаясь высокопарно, но точно, протекали под эгидой Валентины Андреевны. Этот своеобразный «щит Зевса» не только оберегал нашего героя от стрел недоброжелательного столичного мира, но и был превосходной площадкой для домашнего образования, не доставшегося ему в детстве. Жена учила Ваню азам светской жизни, начиная от того, как пользоваться за столом салфеткой, и кончая тем, как ненавязчиво и почтительно кивнуть в кабинете партийного начальства в знак полного согласия с мудрейшими высказываниями оного. Весь многолетний опыт борьбы за существование в жестком тоталитарном мире за свое прибрлатненное место в нем Валентина Андреевна вкладывала теперь в неопита Ваню.

– Иван Николаевич, – уважительно наставляла она своего мужа, – ты обещал сходить в партком насчет приема в партию. Не забыл?

– Они говорят, что разнарядка на прием студентов в этом году урезана.

– А ты скажи, что тебя разнарядка не касается, ты из пролетариев и хочешь быть в первых рядах... ну, мол, готов на любую работу ради партии. Прояви партийную инициативу, а я по своим каналам помогу...

И она помогала, а Ваня проявлял инициативу и вскоре стал од-

ним из первых партийных на курсе. По партийной линии он и далее быстро продвигался по методу ударной возгонки, то есть минуя ряд промежуточных стадий, и на пятом курсе был уже членом парткома института.

Благодаря жене Ивану открылись многие приятные, неведомые стороны жизни – оперная и балетная классика в бывшем Императорском Мариинском театре, спектакли бывшего Императорского Александринского театра с великими актерами Черкасовым, Симоновым, Толубеевым, Скоробогатовым, Борисовым, Фрейндлих, знаменитые постановки Товстоногова в БДТ с участием легендарных Полицеймако, Смоктуновского, Копеляна, Ольхиной... Ваня наконец узнал, что едят допущенные к дефициту люди. Валентина Андреевна отоваривалась в обкомовском спецраспределителе, поэтому заграничный сыр, твердокопченая колбаска, консервированная сайра, балычок, равно как и прочие дефицитные продукты, включая пресловутые «ананасы и рябчики», о существовании которых Ваня знал из популярной агитки советского классика, всегда были в этом доме – некоторые из них Ваня ел и даже видел впервые в жизни. Однако еще раз повторяю: ошибаются те, кто усматривает во всём этом Ванину корысть. Он в те времена был не только глубоко благодарен Валентине Андреевне, но и искренне увлечен этим фантастическим романом.

Окончив институт с вполне приличным аттестатом и с партийным стажем, Ваня без труда распределился на работу в наш почтовый ящик. Здесь и протекция Валентины Андреевны не потребовалась – только лишь мудрый совет да проводка по Первому отделу без проволочек. В том году наш шеф Арон Моисеевич Кацеленбойген защитил докторскую диссертацию, его отдел расширили, и Ваня попал к нему, а вернее, ко мне в исследовательскую группу. Ваня, как говорят, звезд с неба не хватал, но инженерную работу выполнял тщательно, старался, что с учетом его далеко влекущих карьерных амбиций давало интегрально вполне приличный результат. Ему удавалась настройка готовых образцов аппаратуры, а особенно всё, связанное с организацией производства и снабжения.

К тому же Ваня активничал по партийной линии и вскоре возглавил еженедельный политсеминар отдела, а затем стал членом парткома всего предприятия, что было просто находкой для наше-

го отдела, который постоянно журили за низкую политактивность. Кстати, именно Ваня придумал и утвердил на парткоме чрезвычайно «демократичный» порядок проведения политсеминаров – все руководящие работники, кандидаты и доктора наук, а также старшие и младшие научные сотрудники в обязательном порядке должны были отныне сделать хотя бы один доклад на политсеминаре. Демократичность процедуры – поясню для скептиков – состояла в том, что очередность выступлений оставлялась на усмотрение самих докладчиков. Помню, Арону Моисеевичу досталось прокомментировать выступление Генсека ЦК КПСС товарища Брежнева на каком-то съезде или пленуме. Арон отнесся к делу со всей присущей ему серьезностью. На семинар он принес магнитофон с записью речи вождя, сказал: «Здравствуйте, товарищи!» и включил магнитофон. Это было еще в раннезастойный период, когда вождь мог говорить относительно четко и ясно, и его получасовую речь в громкой магнитофонной записи никто в нашей аудитории, естественно, прервать не посмел. Простояв безмолвно около говорящего магнитофона полчаса, Арон наконец выключил его, широко развел руками и глубокомысленно изрек: «Лучше не скажешь!» Аудитория разразилась бурными аплодисментами, к которым был вынужден присоединиться руководитель семинара Иван Николаевич, чувствовавший, конечно, во всей этой Ароновой затее некоторый подвох. Кто-то из наших местных стукачей, разумеется, донес в партком об инциденте, и Ване было указано, что впредь докладчики обязаны высказывать свое личное положительное мнение о выступлении вождя, а не повторять бездумно его речь.

Любопытно, что наше с Ваней сближение также произошло на почве этого пресловутого политсеминара. Мне тогда досталась тема, связанная с каким-то юбилеем «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Стараясь как-то оживить эту долбаную-передолбанную тему, я сосредоточился на биографиях основоположников и в докладе совершенно произвольно, как бы между делом, упомянул, что Карл Маркс происходил из богатой еврейской семьи, имевшей глубокие раввинские корни и по отцовской, и по материнской линиям. Еще заметил я не без озорства, что, судя по некоторым генеалогическим исследованиям, у Карла Маркса и нашего уважаемого шефа Арона Моисеевича Кацеленбойгена

могли быть общие предки. Признаюсь – сделал я всё это не без желания слегка эпатировать публику. Это сейчас всякий, кто слышал что-либо об основоположнике марксизма, знает, что он был евреем, а в те годы, когда слово «еврей» в Советском Союзе считалось едва ли не ругательным на грани матерщины, столь прискорбный факт биографии первого из великих вождей пролетариата всех стран был тщательно закамуфлирован и известен лишь настырным пройдохам вроде меня. Ваня, слушая мой доклад, покраснел от подскочившего давления крови, но осмотрительно промолчал, а затем сухо поблагодарил докладчика и закрыл заседание без обычного оптимистичного финала... Когда все разошлись, Ваня подошел ко мне и, стараясь соблюдать максимальную почтительность, сказал: «Ну, это вы, Игорь Алексеевич, сказанули насчет Маркса... Зачем же так его... с этими буржуазными домыслами... Нельзя же так, без уважения...» Я ответил в тон Ване: «Это, Иван Николаевич, не домыслы, а медицинские факты», а он ничего больше не сказал и ушел, показывая, что разговор о еврействе Карла Маркса ему весьма неприятен. На следующий день я принес Ване толстенный том с биографией Карла Маркса, написанной немецким коммунистом Францем Мерингом, потом я давал ему читать другие книги по истории коммунистического движения, не вполне гармонизовавшие с извилистой, в обход правды, линией партии. Ваня был толковым и благодарным читателем – на этой почве мы с ним и сблизились.

Не могу не признать, что всё это время Валентина Андреевна минимально вмешивалась в Ванину судьбу, оставалась в роли невидимого режиссера-постановщика за сценой, и он вполне самостоятельно и умело играл роль преданного делу партии простого парня из народа, которому она, родная партия, открыла все дороги к своим бесценным милостям. Единственное известное мне активное вмешательство режиссера в судьбу нашего талантливой актёра действительно имело место, когда по сценарию пьесы Ване надлежало стать кандидатом технических наук.

Всё началось с того, что Ваня – конечно же, с подачи жены – попросил меня походатайствовать за него перед Ароном Моисеевичем, а именно – чтобы тот взял Ваню в аспиранты. Я это сделал, но Арон отнесся к идее прохладно – Ваня на ниве науки никак не проявил себя, а однажды честно признался, что у него «от этих формул

голова болит». С другой стороны, перекрыть путь в науку молодому человеку, да еще к тому же члену парткома, было бы неправильным, и Арон колебался... Тут, кстати или некстати, у него появился еще один претендент на аспирантскую позицию – блестящий математик, выпускник матмеха Ленинградского университета, имевший, правда, один серьезный недостаток – его фамилия была Гуревич. Прекрасно понимая сложность проблемы, Арон лично пошел утрясать вопрос с Гуревичем к самому Генеральному директору Митрофану Тимофеевичу Шихину – адмиралу в отставке, кандидату военно-морских наук. Выслушав с каменным лицом Арона, красочно расписавшего те достижения, которые сулит нашему научно-производственному объединению работа молодого талантливого математика, адмирал долго молчал, а затем неспешно и философически резюмировал результат своих раздумий:

«Есть у нас, Арон Моисеевич, люди, желающие превратить предприятие в синагогу, но мы не можем допустить этого. Вот и в вашем отделе наблюдаются некоторые, так сказать, синагогальные тенденции».

Арон Моисеевич глубоко вздохнул, чтобы сердце забившееся успокоить, и по возможности вкрадчиво ответил:

«Что касается моего отдела, Митрофан Тимофеевич, то синагогальная служба в нем невозможна, поскольку не хватает кворума в десять персон мужского пола иудейского вероисповедания, необходимого, как известно, для полноценного миньяна».

Митрофан Тимофеевич не знал, что такое «миньян», но в незнании не любил признаваться и поэтому перевел разговор на общепроизводственные темы. Когда адмирал встал, давая понять, что аудиенция окончена, Арон спросил у него: «Ну, а как же с Гуревичем?». Адмирал ответил:

«Не подумайте, Арон Моисеевич, что это против вас лично, но сейчас очень сложно с еврейским вопросом. Сами знаете – сионизм распоясался и прочее... Я попробую что-нибудь сделать для вас...»

На этом и расстались, а вопрос с Гуревичем повис в воздухе. Повис, однако, ненадолго, ибо в дело вмешалась Валентина Андреевна. Деталей переговоров в треугольнике «Митрофан Тимофеевич – Валентина Андреевна – Арон Моисеевич» я не знаю, но общие контуры дела представляю достаточно ясно. Валентина Андреевна,

говоря без экивоков, предложила Арону Моисеевичу сделку: он берет Ивана Николаевича в аспирантуру, а она обеспечивает прием на работу Гуревича. По-видимому, Митрофан Тимофеевич приказал Первому отделу проверить Гуревича на секретность в свете происков сионизма – отсюда всё и завертелось. Арон Моисеевич безоговорочно принял предложение Валентины Андреевны. Как ей удалось обтяпать дельце с Митрофаном Тимофеевичем, одному богу известно, а нам, смертным, остается лишь строить догадки... Думаю, что Ваня ничего не знал об этой истории, а может быть, и сейчас не знает. В сухом остатке всей той закулисной возни оказалась неизбежной, со стопроцентной гарантией, ученая степень Вани, ибо всем было известно: Арон не допускает провала своих аспирантов!

Не буду рассказывать, как писалась Ванина диссертация и сколько крови это стоило мне. Ни ее название, ни тем более содержание я, естественно, разглашать не могу поскольку не у всех читателей есть допуск по первой форме к секретным материалам. Намекну лишь, что она была посвящена разработке физической модели некоей системы на базе экспериментальных исследований, в которых Ваня принимал участие. В итоге получилась работа без озарений, но вполне добротная, ничуть не хуже той массовой квазинаучной продукции, которая куется в наших почтовых ящиках под грифом «совершенно секретно». Одной из важных функций этого грифа было, между прочим, сокрытие низкого уровня секретных разработок, а подчас и их вторичности по отношению к зарубежным аналогам.

На защите диссертации происшествий не ожидалось... Диссертант сносно ответил на вопросы членов Ученого совета, был зачитан отзыв промышленности, научный руководитель и оппоненты произнесли свои положительные отзывы, к ним присоединилась пара членов совета. Дело шло к успешному финалу, но тут случился казус, который едва не прервал Ванину научную карьеру. Внезапно попросил слова один известный профессор из авторитетных кругов и сказал, что, во-первых, в работе недостаточно, на его взгляд, экспериментальных данных, и во-вторых, он припоминает, что видел похожий подход в какой-то американской работе. Всё это, уверяю вас, не соответствовало действительности, но Шихин, который председательствовал, как-то слишком резво ухватился за «высказанные критические замечания» и в своем заключительном выступлении

сказал, что, судя по всему, диссертация нуждается в доработке, и порекомендовал диссертанту и его научному руководителю учесть «мнение уважаемого профессора». Арон пытался выступить, но адмирал не дал ему слова и по-быстрому объявил тайное голосование. Оно оказалось не в пользу Вани – диссертацию завалили.

Если оставить в стороне всяческие сантименты по поводу переживаний Ивана Николаевича и Валентины Андреевны, которые вынуждены были заплатить ресторану «Кавказский» неустойку за отмененный в последний момент банкет, то главным в тот злополучный вечер было твердое решение Арона бороться до конца. Арон понял, что всё случившееся направлено лично против него и подстроено самим Шихиным, который подговорил маститого профессора взорвать процесс. Зачем это нужно было адмиралу? Ясно проступали два объяснения, которые, сливаясь воедино, рисовали полную картину маслом. Во-первых, Шихину не нравился растущий научный авторитет Арона Кацеленбойгена и подобных Арону «французов» на вверенном ему предприятии – это следовало остановить. Во-вторых, звериным чутьем опытного аппаратчика чувствовал он, что этот Иван Николаевич, из молодых да ранних, и есть тот самый фрукт, который подсидит и, в конце концов, сменит его, заслуженного адмирала, в директорском кресле. Это всё Арон вычислил мгновенно и мгновенно же принял брошенную ему адмиралом перчатку.

Через Ваню, который, в свою очередь, подключил к делу Валентину Андреевну, Арон добился приема у заведующего отделом науки обкома партии. Член партии, доктор наук, он чувствовал себя уверенно, ему, собственно говоря, нечего было терять, хотя я лично опасался Аронова культпохода в Смольный в поисках правды, которая в том историческом здании всегда была в руках шихиных. Я же тогда не знал, какие непозволительно жесткие слова осмелится сказать в колыбели революции Арон Моисеевич Кацеленбойген, а расчет Арона был точным, и он вернулся победителем!

Сцену из спектакля в Смольном я знаю достоверно со слов главного действующего лица. Арона приняла представительная дама лет пятидесяти, по-деловому прибранная с легкой красивой сединой в волосах. Разговор начался с ее вопросов о состоянии и перспективах науки в нашем почтовом ящике, а затем она попросила Арона

оценить уровень компетентности Ученого совета предприятия. Разговор на общие темы шел уже полчаса, когда дама внезапно сама перешла к сути вопроса: «Как же так получается, Арон Моисеевич, что Ученый совет, компетентность которого вы оцениваете столь высоко, принял неправильное, как вы полагаете, решение по диссертации вашего аспиранта?» Арон ответил: «Компетентность иногда входит в противоречие с мнением начальства». А затем он глубоко вздохнул и произнес фразу, которая вошла в анналы исторической хроники нашего ящика периода развитого социализма:

«Дело в том, что Генеральный директор нашего предприятия не любит евреев. Любовь или нелюбовь, как вы хорошо понимаете, чувства интимные, и я лично не претендую на то, чтобы Генеральный любил меня или хотя бы относился ко мне доброжелательно. Тем не менее я не позволю, чтобы нелюбовь ко мне распространялась на моих подчиненных и учеников, я не позволю ломать судьбы молодых ученых только потому, что некто не любит евреев. Почему мой аспирант, русский, кстати, как вы знаете, должен страдать из-за того, что наш директор не любит его научного руководителя – еврея?»

Самое любопытное – чиновная дама не нашлась что ответить, или, может быть, сочла неуместным любой ответ. Арон ожидал нечто вроде – мол, у нас в стране антисемитизма нет, партия всегда боролась с антисемитизмом, равно как и с сионизмом, и, дескать, такой интернационалист-коммунист, как Митрофан Тимофеевич, не может относиться к человеку предвзято из-за его национальности и т.д. и т.п. Но она промолчала... Все знали, что кампанией советского государственного антисемитизма руководит компартия, однако всем полагалось делать вид, что этого нет и быть не может. Надзирательница над всей ленинградской наукой не хотела выглядеть адептом примитивного агитпропа в глазах этого смелого еврея-ученого, и она промолчала, дав тем самым понять Арону Моисеевичу, что на самом деле согласна с ним. В конце аудиенции дама пообещала Арону «разобраться с вопросом» – он почувствовал, что выиграл схватку с Шихиным, хотя еще не знал возможных последствий этой победы.

В действительности последствия победы Арона, как говорят, превзошли все ожидания и были не менее драматичными, чем провальная защита его аспиранта. Через 48 часов после визита Арона

Моисеевича в Смольный Митрофан Тимофеевич срочно собрал Ученый совет с участием Вани и с видом побитой собаки объявил ничего не понимающим членам совета следующее:

«Есть такое мнение, что мы с вами, товарищи, на прошлом заседании поспешили с принятием решения по диссертации аспиранта И.Н. Коробова, поэтому сегодня предлагается продолжить дискуссию по этой весьма актуальной научной работе. Кто за продолжение дискуссии и повторное тайное голосование, прошу поднять руку... Нет, нет, все другие вопросы после... Итак, единогласно...»

Ошалевшие от такого нарушения всех инструкций и процессуальных норм члены совета нерешительно подняли руки, хорошо понимая, ЧБЕ это мнение, когда говорят «есть такое мнение». Только Арон ясно оценил происходящее – адмиралу вставили в одно чувствительное место мощнейший фитиль. Обком партии, конечно, требовал от всех самым решительным образом бороться с проявлениями «еврейского буржуазного национализма», но не терпел, когда это делается с ущербом для белой и пушистой обкомовской репутации. Обком рассылал парторганизациям секретные – как правило, устные – инструкции по дискриминации евреев, но не любил, когда это делается слишком топорно. Комедия Ваниной повторной защиты продолжалась не более сорока минут – он повторил тезисно свой доклад, научный руководитель и два члена совета второй раз кратко похвалили его работу, к ним присоединился председательствующий Шихин, отметивший «большое практическое значение работы Ивана Николаевича для всего нашего объединения», и... Ученый совет единогласно проголосовал за присуждение Ивану Николаевичу Коробову ученой степени кандидата технических наук. Скромный банкет для избранных в ресторане «Кавказский» наконец-то состоялся.

После утверждения в ученой степени Ваня стремительно двинулся вверх по партийной лестнице и в 30 лет стал освобожденным секретарем парткома всего нашего предприятия – эта позиция, пышно именовавшаяся «парторг ЦК», утверждалась самим ЦК КПСС по представлению обкома партии и по согласованию с соответствующими инстанциями отраслевого министерства и госбезопасности. Это были времена, когда мракобесная идея руководящей роли Компартии была раздута до невероятности, и во многих

случаях парткомы были поставлены выше администрации по всем вопросам, начиная от «кто с кем живет» и кончая производственной технологией. Поэтому, когда Ваня стал Секретарем парткома, нетрудно было с трех раз угадать, кто вскоре будет назначен Генеральным директором всего предприятия вместо стареющего адмирала, худшие опасения которого становились реальностью.

Адмирала Митрофана Тимофеевича Шихина уволили накануне Нового года, одновременно Генеральным директором предприятия был назначен Секретарь парткома Иван Николаевич Коробов. Митрофан Тимофеевич сполна познал и бренность служения режиму, который как вознес, так и сбросил, и эфемерность милостей этого режима; Иван Николаевич, напротив, приготовился к новому рывку в служении режиму, открывшему ему свои обильные закрома – он теперь хорошо знал, что такое «милости природы» и как их взять.

Адмирала сняли с должности с тяжеловесной формулировкой – «за срыв установленного правительством срока испытаний оборонного изделия, явившийся следствием допущенных ошибок в кадровой политике и организации подготовки испытаний». Роль Ивана Николаевича в его падении прорисовывалась неотчетливо. Конечно, на уровне местных партийных властей Ваня сделал всё возможное для затопления «броненосца», но, когда дело переместилось в высшие московские сферы, он вел себя осмотрительно, со своим мнением не высывался, давая возможность всей истории самой прийти к почти очевидному финалу – назначению Ивана Николаевича Коробова на должность Генерального директора. Впрочем, подозреваю, что Ванина жена Валентина Андреевна приложила ручку к этому делу и через своих московских покровителей из органов содействовала созданию желательного для Вани антипартийного имиджа адмирала. Такой имидж, конечно, абсолютно не соответствовал действительности. Но – кого интересует правда, справедливость и прочие абстрактные материи в номенклатурном клубке змей?

Заняв позицию Генерального директора крупнейшего оборонного предприятия, Иван Николаевич наконец-то вознесся на такую номенклатурную вершину, с которой открывались немислимого величия карьерные дали.

Никто – ни Митрофан Тимофеевич, ни Валентина Андреевна, ни даже сама троянская прорицательница Кассандра – не мог бы предугадать, какая непреоборимая сила встанет на пути Ивана Николаевича к высшей власти, никто не мог предвидеть, кто и что его погубит...

Ваня узнал Юлию с первого взгляда, как только случайно встретил ее в своем начальственном коридоре, – это та красотка, которая столь неделикатно отшила его когда-то на студенческом танцевальном вечере. То же удлинненное белое лицо с большими черными глазами, тот же незабываемый надменный взгляд... О, какой незаживающей раной пронес он в себе этот взгляд и тот унижительный отказ! Навязчивая идея реванша поселилась в душе Ивана. Да, тогда он был ничтожным студентом из провинциальных наивных простаков, от его искреннего порыва ничего не стоило просто отмахнуться. Но теперь он – один из хозяев этой жизни, властитель огромного предприятия с тысячами подчиненных. Он добился мечты своей голодной юности, теперь ему доступны и подвластны все ведомые и неведомые «милости природы», и это черноглазое чудо природы не является исключением...

Для Генерального директора не составляло труда быстро установить, что новая сотрудница его предприятия по имени Юлия лишь недавно принята на работу редактором в патентный отдел и что ее заявление завизировано начальником первого отдела Валентиной Андреевной. Да, это был крупнейший жизненный просчет его жены, о котором она еще не подозревала. Юлия была немедленно вызвана в кабинет Генерального без объяснения причин. Она, конечно, не узнала в солидном, уверенном в себе мужчине с повадками большого начальника, к которому войти можно было только с разрешения его секретаря, того простоватого и плохо одетого студента, который клеился к ней на том далеком институтском вечере. Никто не ведал, о чем говорили Иван и Юлия на той первой встрече, но по слухам она вернулась в свой отдел с пылающим то ли от радости, то ли от волнения лицом и тут же, не отвечая ничего любопытствующим, отпросилась с работы по личным делам. Никто толком и потом не знал никаких подробностей бурного и кратковременного романа Ивана и Юлии – ни времени, ни места их тайных свиданий... Кто-то видел, как Юлия где-то вы-

пархивала из директорского лимузина, но это никак не раскрывало всей картины...

Я тоже не знаю интересующих читателя подробностей, а фантазировать не хочу, ибо этот рассказ – отнюдь не вымысел сочинителя... Однажды, когда все уже только и говорили о романе Ивана и Юлии, у меня был откровенный разговор с Ваней на эту тему. Мы ведь когда-то приятельствовали и немало сделали друг для друга, а теперь были в одной упряжке, ибо Ваня назначил меня своим замом по науке. Я напрямую спросил его об отношениях с Юлией, с которой был знаком по работе над нашими изобретениями. Ваня резко оборвал меня: «Позволь, друг мой Игорь, воздержаться от ответов на все вопросы на эту тему». Я согласился, что это не мое дело и никогда больше не спрашивал Ваню о Юлии. Убежден, однако, что Валентина Андреевна все сразу поняла и все детали измены мужа отслеживала. У нее для этого был многолетний опыт собирания не лежащих на поверхности материалов о сотрудниках вверенного ей заведения, а главное – неограниченные возможности ведомства, в котором она служила. Правда, после назначения Ивана Николаевича на должность Генерального, она уволилась, чтобы исключить нареканий за семейственность, и перешла на работу в аппарат обкома партии. Однако, вследствие, как говорят, «вновь открывшихся обстоятельств» была вынуждена неофициально вернуться к прежним методам сбора информации.

Тем временем в ящике упорно циркулировали слухи о скандале в семье Коробовых и даже о близком разрыве. По ящику расплзлось множество примитивных сплетен – то ли Генеральный купил своей любовнице квартиру, то ли только мебельный гарнитур... Я не верил всему этому, но тревога возрастала – мне было ясно, что Валентина Андреевна с ее взрывным темпераментом и обширными связями с властью имущими всего этого не потерпит. Было ясно также, что она знает много больше, чем все наши сплетники вместе взятые.

Как-то мне довелось поговорить с ней на банкете по поводу защиты докторской диссертации одним нашим сотрудником. Я, конечно же, хотел выведать, что происходит у нее с Иваном Николаевичем и, надеясь издали, незаметно выйти на интересующую меня тему, спросил, как наш с Ваней проект цифровой мобильной связи

смотрится и оценивается извне. Валентина Андреевна очень сдержанно сказала, что наш проект в целом поддерживается как «полезная инициатива в направлении интенсификации экономики», а потом вдруг добавила: «Только не колите всем глаза своим проектом... Это мой личный совет». Я понял, что слухи о разногласиях в семье Коробовых не напрасны. Пытаясь направить разговор в желаемое русло, я спросил: «Вы не согласны с Иваном Николаевичем в этом вопросе?» Она ушла от ответа: «Мое мнение по вашим производственным делам теперь не имеет никакого значения». Потом Валентина Андреевна извинилась и вроде бы направилась в сторону, но внезапно развернулась и подошла ко мне вплотную. Я увидел ее искаженное лицо и понял, что сейчас будет сказано нечто ужасное. Она проскрипела мне в ухо: «Вы, Игорь Алексеевич, разумный человек... Предостерегите свою приятельницу Юлию от необдуманных поступков... Пусть прекратит играть с огнем...» Я тут же спросил, что имеется в виду. Но Валентина Андреевна мгновенно овладела собой, лицо ее разгладилось: «Она поймет, что имеется в виду, – не сомневайтесь». Я понял тогда, как далеко зашел скандал в семье Ивана Николаевича и как трагически тяжело переживает это Валентина Андреевна.

Ваню сняли с должности Генерального директора через полтора года с формулировкой: «за нецелевое использование бюджетных средств в ущерб оборонным заказам». Имелся в виду наш с ним прорывной проект новой системы мобильной радиосвязи, в которую Ваня вкладывал выбиваемые из министерства средства. Однако истинной причиной стали «вскрывшиеся факты морального разложения Генерального директора» – это разъяснил мне замминистра, к которому я был вызван после приказа об увольнении Вани.

– Если я сумею доказать, что нецелевого расходования в ущерб оборонке не было, вы восстановите Ивана Николаевича в должности? – спросил я замминистра.

– Нет, ни в каком виде! Там дело слишком далеко зашло по моральному облику и тому подобному – вам лучше знать... Если бы они раскрутили аморалку, – замминистра поднял указательный палец вверх, – то Ивана Николаевича надо было бы исключать из партии, а они марасть партию не желают, а посему и из номенклатуры его исключать тоже не хотят.

– Ну, да, конечно... Аморалка – это же так понятно, так мило, с кем не бывает. Короче – свой человек. А чтобы припугнуть, что мол, если будешь рыпаться, раздуем и раскрутим по этой линии, вполне подходит. Правильно я понимаю партийную этику?

– Более-менее...

– Что же с Иваном Николаевичем будет?

– Да ничего страшного не будет, не беспокойтесь за него. Дадут партийное взыскание и пошлют директором какого-нибудь заводика на периферии...

Нельзя сказать, что потопление Ивана Николаевича полностью было делом рук Валентины Андреевны, но не сомневаюсь, что после скорого развода она приложила, и тяжело приложила, свою руку к этому делу. Эта удивительная женщина, подобно шекспировскому Отелло, мстила не своему возлюбленному за его измену, а самой себе за излишнюю доверчивость... Жестоко расплачивалась за провал возвращенного ею актера в срежессированной ею пьесе. Она, рассказывали, сильно сдала после ухода Ивана, рано бросила работу, болезненно замкнулась и постоянно болела...

Сам Иван Николаевич после увольнения бросил не только жену, но и любовницу, и исчез в неизвестном направлении, не оставив ни письма, ни прощальной записки. Он долго не подавал никаких признаков своего существования, так что никто даже не знал, где Ваня скрывается. От нашего нового парторга, который, как положено, был достаточно осведомлен, я узнал, что Ваню перевели директором мясокомбината в Оренбургскую область – партия свои кадры ценит и не сдает, комбинат большой и очень важный. Партия, конечно, наказала Ваню за своевольничанье, но вместе с тем подтвердила старое партийное правило: настоящий партиец может руководить чем угодно – от радиоэлектронной фирмы до мясокомбината. Ему, партийцу, собственно говоря, всё равно чем руководить, ибо у него выработано главное – партийное чутье. Я узнал адрес Ваниной работы и написал ему письмо, но он не ответил. Мне хотелось порадовать его продвижением нашего проекта, но Ваня, судя по всему, решил завязать с прошлым раз и навсегда... Мы больше не виделись и не общались с ним никогда, но я продолжал отслеживать его судьбу через третьих лиц.

Удивительная, фантастическая судьба этого человека продолжала свое непредсказуемое движение и после развала СССР. Иван Николаевич своевременно вышел из партии еще до августа 1991-го – прежний гарант неограниченных «милостей природы» становился обузой. Ваня раньше многих своих бывших партийных коллег уловил, куда ветер дует. При первых же подходящих дуновениях он приватизировал вверенный ему партией мясокомбинат в Оренбургской области, стал его директором-владельцем и преобразовал в крупнейшую в Предуралье процветающую фирму по производству мясных продуктов. Он женился второй раз, у него, по последним сведениям, трое детей. Вилла Ивана Николаевича на берегу впадающей в Волгу реки Самары, среди роскошного сада с бассейнами, фонтанами и павлинами, как рассказывают, напоминает дворец Гаруна аль-Рашида из «Сказок тысячи и одной ночи».

Первая жена Вани Валентина Андреевна, воистину сотворившая его, скончалась вскоре после описанных здесь событий. Она оказалась из тех творцов, кто не может жить без любви своего творения. Иван Николаевич, нужно отдать ему должное, установил на свои деньги огромный великолепный памятник Валентине Андреевне на ее могиле в Санкт-Петербурге. Рассказывают еще, что большой портрет Валентины Андреевны, написанный местным художником по фотографии, висит в гостиной Ваниного особняка.

Удивительно и трогательно, что Ваня не забывает, кто придал ему, парнишке из глухой новгородской деревни, ускоряющий жизненный импульс в ложе Большого театра, обитой золотом и малиновым бархатом...

Юрий Окунев – ученый в области теоретической радиотехники, писатель-публицист, автор научных монографий и книг историко-публицистического жанра на русском и английском языках. Родился в Санкт-Петербурге, после окончания аспирантуры многие годы возглавлял ведущую научно-исследовательскую лабораторию СССР в области цифровой радиосвязи, получившую мировое признание. В Советском Союзе опубликовал 14 монографий и учебных пособий.

С 1993-го года Юрий Окунев работал в телекоммуникационной индустрии США: Получил 28 патентов на изобретения, опубликовал несколько научных статей и монографию. Институт инженеров в области электротехники и электроники (IEEE) присудил ему почетную награду имени Чарльза Гирша.

Юрий Окунев опубликовал несколько книг и большое число очерков в жанре художественной публицистики на русском и английском языках. Книга «The Axis of World History» получила награду USA Book News – «The National 2008 Best Book Awards».

Автор нашего журнала.

Григорий НИКИФОРОВИЧ

ОТ ОРГАЗМА ДО БЕССМЕРТИЯ

ЗАПИСКИ ДРАГ-ДИЗАЙНЕРА Фрагменты книги

Издательство «Дискурс», Минск, 2019;
<https://www.labirint.ru/books/713913/>

Дизайнер веществ и препаратов (драг-дизайнер) – специалист, создающий и конструирующий новые вещества, лекарственные формы и препараты. Драг-дизайн (drug – лекарство, design – конструирование) – это направленная разработка новых лекарственных препаратов с заранее заданными свойствами.

ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ

Самое известное лекарство современности – это, конечно, виагра, последняя надежда мужчин сохранить если не превосходство, то хотя бы самоуважение в мире, отданном на растерзание женщинам. «О дайте, дайте нам виагру, мы свой позор сумеем искупить», – поет бард Тимур Шаов, и он прав.

В первом же раунде клинических испытаний вещества, которое стало впоследствии виагрой, фармацевтическая компания «Пфайзер» столкнулась с необычной ситуацией. Несколько десятков мужчин из числа подопытных наотрез отказались возвращать неиспользованные излишки этого вещества, когда испытания были приостановлены. А после официального выхода виагры на рынок лекарств в США – это случилось двадцать лет назад – за первые три месяца было выписано два миллиона девятьсот тысяч рецептов на «голубую таблетку».

В 2017 году доходы «Пфайзера» от продажи виагры уменьши-

лись: они составили всего миллиард двести миллионов долларов по сравнению с периодом 2008-2013 годов, когда каждый год приносил до двух миллиардов. Потом исключительные права компании на виагру закончились, но таблеток меньше не стало – во множестве появились лекарства-конкуренты и даже подделки. В целом компания уже заработала на виагре не менее двадцати пяти миллиардов. Спрос на виагру продолжается: по некоторым оценкам, эректильной дисфункцией – ослаблением эрекции полового органа – в той или иной степени страдают около тридцати процентов мужчин. Правда, трудно определить, кому из них действительно без лекарства не обойтись, а кто просто хочет подстраховаться. Например, в личных вещах Удама и Кусея, сыновей Саддама Хусейна, вместе с пачками долларов нашли упаковки с таблетками виагры – а ведь наследникам не было еще и сорока.

История открытия виагры часто излагается как образец успешного драг-дизайна. В ней содержатся все его компоненты: разумная биологическая идея в основании, удачный выбор исходного химического соединения, кропотливая работа по его оптимизации, сенсационные результаты клинических испытаний, получение патентов и разрешений на применение лекарственного препарата, налаживание массового производства и продаж, и – наконец – заслуженные феноменальные прибыли. Более яркий пример того, что на теперешнем русском языке называется саксесс стори, найти трудно – и поэтому есть надежда заинтересовать читателя кратким эссе о виагре как тизером (еще одно хорошее русское слово) книги о драг-дизайне.

Разумной биологической идее предшествовали разумные коммерческие соображения: чуть ли не самым распространенным недомоганием человеческого организма является боль в груди, вызываемая стенокардией. Болезнь эта связана с ухудшением кровообращения в коронарных сосудах, снабжающих кровью мышцы сердца. Лекарственные средства, вызывающие увеличение потока крови в сосудах, могут получить широкое применение и, соответственно, принести значительные доходы.

Биологическая же идея основывалась на давно известном свойстве химических соединений с участием азота облегчать боль

при проблемах с сердцем. Учредитель самой престижной научной награды Альфред Нобель всю жизнь болел стенокардией, но когда врачи посоветовали ему принять нитроглицерин, вещество, содержащее азот, он отказался – ведь тот же самый нитроглицерин был главным составляющим изобретенной им взрывчатки. Нитроглицерин до сих пор используется в медицине; но механизм действия азотистых соединений на сердечно-сосудистую систему выяснился сравнительно недавно.

Расслабление стенок кровеносных сосудов – отчего и усиливается кровообращение – вызывает не сам нитроглицерин, а выделяемая им окись азота. Но тоже не прямо: она активирует фермент, ответственный за синтез другого соединения, которое собственно и взаимодействует со стенками сосудов. В свою очередь это соединение распадается под действием еще одного фермента; если блокировать его действие, распад можно замедлить. Соответственно стенки сосудов останутся расслабленными, и поток крови через них останется увеличенным.

Таким образом, задача драг-дизайнеров прояснилась: им предстояло найти химические соединения, эффективно блокирующие этот последний фермент. Взяв за основу природную молекулу, непосредственно взаимодействующую с ним в организме, химики принялись за ее модификацию, синтезировав сотни соединений и проверив их способность блокировать различные виды этого фермента. Одно из соединений оказалось особенно успешным – ему присвоили код UK-92,480 и, проверив, что оно не ядовито, передали в клинику для испытания на добровольцах.

А дальше случилась та самая неожиданность. Болей в груди UK-92,480 не ослаблял, но зато эрекция у здоровых мужчин-добровольцев улучшилась. Испытания свернули и стали проверять новый эффект в лаборатории. Был построен специальный прибор, «искусственный мужчина», состоящий из набора пробирок с нейтральным раствором, в каждую из которых помещался образец мышцы, взятой из половых органов мужчин-импотентов. Когда через образцы пропускали слабый электрический разряд, имитирующий нервный импульс, вызывающий эрекцию, ничего не происходило. Но при добавлении в раствор некоторого количества UK-92,480 сосуды в мышечных тканях расширились – как и должно быть при эрекции.

Последующие клинические испытания UK-92,480 (к тому времени он назывался силденафил) были уже направлены на лечение эректильной дисфункции. Результаты оказались более чем удовлетворительными: по расслабленным сосудам кровь направлялась в мышцы, они набухали и становились твердыми, обеспечивая желаемый эффект. Лекарство вызывало эрекцию достаточно быстро, менее чем за полчаса, и продолжалась она от часа до четырех часов – тоже вполне достаточное время. При этом его можно было принимать как таблетку, и побочных эффектов не наблюдалось.

Теперь следовало разобраться с юридической стороной дела. Патенты на силденафил как химическое соединение уже были получены; за ними последовали другие. Прежде всего патент на применение силденафила для лечения стенокардии: а вдруг конкуренты все-таки найдут способ усовершенствовать процедуру и добьются положительного результата. Далее патенты на технологию промышленного производства лекарства – а синтез исходной молекулы был довольно сложным. И наконец патенты на лечение виагрой (название появилось на этом этапе) расстройства эрекции. Последним шагом стало получение разрешения на продажи виагры в США – оно было получено за рекордные шесть месяцев.

«У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота» – знаменитая фраза оказалась верной и на этот раз. Победа виагры была оглушительной, и журналисты сразу же стали выяснять, кого именно следует называть «отцом виагры». Но авторов патентов, связанных с виагрой, было несколько десятков, и поиск запутался до такой степени, что один из кандидатов в «отцы» вынужден был заявить: «Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обратитесь в пресс-офис «Пфайзера». Официальное же заявление фирмы звучало так: «Жизнь может показаться несправедливой, но всем им платили за работу на компанию, и их изобретения принадлежат компании. В разработке этого лекарства принимали участие буквально сотни сотрудников «Пфайзера». Нельзя указать, скажем, на каких-то двух человек и сказать, что именно они породили виагру».

И все же, как видно из этой истории, судьба не так уж несправедлива к драг-дизайнерам. Они получают редкую возможность

принимать участие в увлекательной деятельности, обещающей настоящее наслаждение красотой интеллектуальных построений и радость открытий. Причем открытий неожиданных, как у Колумба: искал Индию, а нашел Америку, хотел помочь мышцам сердца, а укрепил совсем другой орган... Драг-дизайнеры находятся на самом переднем краю химии и биологии. Но, в то же время, они и не оторваны от реальной жизни, ведь результаты их усилий непосредственно влияют на здоровье и самочувствие людей, причем иногда – во всем мире.

По недавней журналистской оценке, за время своего применения виагра уже вызвала около пяти миллиардов оргазмов; увы, цифра эта явно завышена. На самом деле, по методике тех же журналистов, расчет должен быть таким: двадцать пять миллиардов долларов дохода «Пфайзера» – это около миллиарда «голубых таблеток» по тогдашним ценам. Допустим, из них сработала только половина – полмиллиарда. А оргазм при полноценном совокуплении испытывают, по данным медицины, четыре пятых мужчин и треть женщин – то есть несколько менее шестисот миллионов человек. Поменьше; но даже шестьсот миллионов оргазмов – немалый подарок человечеству от драг-дизайнеров.

ЛЕКАРСТВА И ЮРИСТЫ

Скандал вокруг препарата под названием мельдоний начался в январе 2016 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило его использование спортсменами как во время соревнований, так и до них. Одной из первых жертв такого решения оказалась звезда тенниса Мария Шарапова, дисквалифицированная на два года (после апелляции срок снизили до 15 месяцев). Пострадали также несколько российских олимпийцев, участников летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и зимних игр 2018 года в Пхенчоне. Поскольку еще до того WADA уличила в применении допинга некоторых спортсменов из России, из-за чего они были лишены медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сразу же возникло подозрение, что действия WADA продиктованы политическими анти-российскими соображениями. По сообщению ТАСС, Президент РФ прокомментировал ситуацию так: «Что касается этого мельдония

несчастливого, то, вообще, там история какая-то темная. Мы же все знаем, и специалисты говорят, что он не дает преимуществ в спортивной борьбе, только поддерживает при больших нагрузках сердечную мышцу».

Специалисты, на которых ссылался президент, – это в первую очередь Иварс Калвиньш, профессор, доктор химических наук, академик Латвийской академии наук. Именно он изобрел и синтезировал вещество милдронат – так первоначально назывался мельдоний – в середине 1970 годов в рижском Институте органического синтеза. Советское авторское свидетельство на милдронат Иварс Калвиньш вместе с другими получил в 1976 году, а после развала Советского Союза перерегистрировал его – за собственные деньги – в качестве российского патента на свое имя. Через несколько лет милдронат занял десятое место в России по объему продаж среди всех препаратов всех классов.

Действие мельдония заключается в том, чтобы оптимизировать использование кислорода в организме для производства энергии. Известно, что он вмешивается в биосинтез другого важного вещества – карнитина. Как следствие, увеличение уровня кислорода приводит к повышению работоспособности и уменьшению физического и психологического перенапряжения. Мельдоний заинтересовал военных и использовался в афганской войне, помогая солдатам в зонах высокогорья. Утверждается, что этот препарат восстанавливает кровоток в сердечной мышце в случае его нарушения, то есть является кардиопротектором. Но мельдоний не может считаться допингом: он восстанавливает функции организма до нормы, а допинг делает что-то сверх того. В одном из интервью профессор Калвиньш высказал мнение, что весь скандал вокруг мельдония – чистое лобби американцев, у которых на рынке препарат не доступен. Вместо того, чтобы препарат зарегистрировать, американцам было легче его запретить, подвел итог Калвиньш.

До переезда в США я двенадцать лет работал в Институте органического синтеза и знал Иварса Калвиньша молодым кандидатом наук, энергичным, деловым, талантливым и обладающим немалым чувством юмора. Помню, на внутренней стороне двери одной из комнат его лаборатории, всегда открытой в коридор, красовалась огромная цветная фотография генерального секретаря ЦК КПСС

товарища Л.И. Брежнева в маршальском мундире со всеми возможными орденами на груди. «Формально правильно, а по существу издевательство», – говаривал в таких случаях предшественник генсека В.И. Ленин. Наши с Иварсом научные интересы пересекались редко – хотя одна публикация в соавторстве все-таки была, – но за созданием, изучением и применением милдроната я следил и получал эту информацию из первых рук.

Что касается «чистого лобби американцев», я с Иварсом не согласен, но в том, что мельдоний трудно зарегистрировать в FDA в качестве лекарства (а такие попытки, насколько мне известно, предпринимались), он прав. Дело в том, что длительная многоэтапная процедура клинических испытаний – основное, но не единственное требование FDA к лекарственным препаратам. (FDA, Food and Drug Administration – Федеральное агентство США по пищевым продуктам и лекарствам.)

Например, FDA хочет как можно больше знать о том, с каким именно ферментом или мембранным рецептором или иным белком взаимодействует регистрируемое вещество и продукты его распада. Не берусь судить, достаточно ли сведений такого рода было собрано о мельдонии – с точки зрения FDA, конечно. Кроме того, по правилам FDA, лекарство – это медикамент для лечения определенного заболевания: гипертензии, пневмонии, ишемической болезни сердца, онкологических заболеваний и так далее. Средства для облегчения состояний с нечетко определяемыми клиническими признаками: усталости, перенапряжения, недосыпания к «лекарствам», согласно FDA, не относятся. Наконец, FDA не будет разрешать к применению для терапии какого-то заболевания лекарство пусть новое, но менее эффективное, чем уже существующие. Одним словом, мельдонию, скорей всего, не суждено продаваться в США в качестве лекарства. А вот успех мельдония среди так называемых биологически активных добавок (БАД), мне кажется, гарантирован, и скандал, который все еще продолжается, пойдет ему только на пользу.

Правда, заработать на продаже БАДов удастся значительно меньше, чем на лекарствах – во всяком случае, на американском рынке. Уже не первое десятилетие высокая стоимость лекарственных средств является одной из самых горячих тем политических дебатов в США. На моей американской памяти все, как один, кан-

дидаты в президенты страны обещали сделать лекарства более доступными потребителю, однако выполнить обещания не спешили. Сегодня кое-кто из левых прогрессивных политиков, отчаявшись, предлагает даже распространять их совсем бесплатно – еще справедливее, чем это было в покойном СССР. В качестве главной причины дороговизны лекарств они называют непомерную жадность фармацевтических компаний, годовая прибыль которых составляет пятнадцать-девятнадцать процентов. Что будет с притоком вложений в фармацевтическую промышленность, если законодательно ограничит норму прибыли – а для производства лекарств нужны десятки миллиардов долларов, – политики не говорят...

Но это – общеэкономические соображения, применимые, в принципе, к любой отрасли капиталистического хозяйства. В производстве же лекарств есть отдельная специфика, тоже вносящая вклад в увеличение их стоимости. Фармацевтические компании хотели бы продавать свой продукт как можно большему числу потребителей – тогда цену, в среднем, удалось бы снизить, сохранив объем выручки. Но потребители лекарств – пациенты, люди, страдающие от болезней. А болезни бывают разные, и количество заболевших той или иной болезнью варьируется в весьма значительных пределах. По оценкам Всемирной организации здоровья, птичий грипп, скажем, затронул всего несколько сотен человек во всем мире, а гепатитом В поражены около двух миллиардов – четверть населения планеты. Между тем процесс разработки лекарственных средств, начиная с драг-дизайна до клинических испытаний до промышленного производства, один и тот же во всех случаях и затраченные средства будут примерно такими же.

Кстати, о клинических испытаниях: как организовать массовые испытания, если больных совсем немного? Каков будет уровень достоверности результатов? Ведь известно, что чем меньше объем выборки, тем менее надежны выводы об эффективности лекарства: законы статистики обмануть невозможно.

А в фармацевтической индустрии США есть еще и свои особенности. Переместить драг-дизайн, клинические испытания и производство в страну с дешевой рабочей силой – Китай, Индонезию, Вьетнам – нельзя: очень трудно поручиться, что там будут строго выполняться принятые в США стандарты. «Бюрократические ро-

гатки», – говорят политики, теперь уже с правой, консервативной стороны; но требования FDA продиктованы желанием уберечь человеческие жизни. Полвека назад конгресс США принял «Поправку Кефаувера-Гарриса», обязывающую производителей лекарств предоставлять FDA убедительные доказательства безопасности их продукции – этот законодательный акт стал ответом на трагедию, случившуюся из-за препарата талидомид.

Талидомид (Thalidomide) появился на рынке ФРГ в 1957 году как снотворное и успокоительное средство, выпущенное компанией «Грюненталь». Через несколько лет выяснилось, что у многих женщин, принимавших талидомид, рождались дети с деформированными частями тела. По всему миру было около десяти тысяч таких случаев, из них более половины – в ФРГ; в тогда еще существовавшей ГДР препарат не был разрешен к применению. Только сорок процентов детей с врожденными дефектами выжили. Талидомид был снят с производства в 1961 году.

Но еще до этого одна американская компания подала в FDA заявку на производство и продажу талидомида. Правила тогда были помягче, и компания ссылалась на клинические испытания, проведенные в Германии. Однако эксперт FDA Френсис Келси заявку отклонила и, несмотря на давление, предложила компании провести свои собственные испытания. Так повторялось несколько раз, пока не появились сведения о жертвах талидомида. В 1962 году президент Кеннеди наградил Френсис Келси высшим отличием, предусмотренным для гражданских служащих на федеральной службе, а в 2010 году FDA установила ежегодную премию имени Келси для своих выдающихся работников – первой премию получила сама Келси.

Погибших детей не вернешь и искалеченных не исправишь; но можно, хоть в какой-то степени, компенсировать нанесенный ущерб. Суд над компанией «Грюненталь» начался в Германии в 1968 году и окончился в 1970 году соглашением, по которому компания заплатила в специальный фонд помощи пострадавшим 100 миллионов марок; еще 320 миллионов добавило правительство ФРГ. Фонд действует и сейчас, но полностью за счет правительства, хотя компания продолжает процветать; последний взнос в фонд она сделала в 2008 году – 50 миллионов евро.

В отличие от Германии, правовая система Соединенных Штатов устроена так, что компенсации за вред, причиненный здоровью, могут быть значительно выше, а гонорары адвокатов и вовсе чрезвычайно велики. Правительство же не будет брать на себя хоть долю финансовой ответственности за ошибки фармацевтических компаний. Поэтому им всегда следует считаться с возможными судебными издержками, что, разумеется, тоже приводит к повышению цен на лекарства. По-видимому, самыми нашумевшими тяжбами последних пятнадцати лет, связанными с лекарствами, были процессы вокруг препарата виокс (Vioxx) компании «Мерк». Противовоспалительное средство, помогающее снимать боль при артритах, вышло на рынок в 1999 году и приобрело большую популярность: его использовали около восьмидесяти миллионов человек во всем мире, и продажи виокса достигали двух с половиной миллиардов долларов в год. Однако в 2004 году препарат пришлось изъять из обращения, поскольку у некоторых пациентов развились серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Компания отложила 970 миллионов долларов на юридические расходы и еще почти пять миллиардов на выплату возможных компенсаций пострадавшим и приготовилась защищать свою позицию в судах.

Они не замедлили последовать. За последующие годы состоялось несколько судебных процессов, где компания была ответчиком. Они проходили примерно одинаково: в суде первой инстанции компания признавалась виновной, и истцам, пострадавшим от виокса, назначались компенсации размером в десятки миллионов долларов. Однако при апелляции чаще всего эти приговоры отменялись, и роль виокса как причины тяжелых заболеваний – а то и смертей – оставалась недоказанной. Шестеренки юстиции вращаются медленно, и только в 2011 году компания смогла снять с себя обвинения, по отдельности договорившись с прокурорами сорока четырех штатов и федерального округа Колумбия о том, что она заплатит штраф в размере двух третей от тех самых 970 миллионов долларов и отдельно еще 322 миллиона за нарушение правил маркетинга виокса.

А рынок, ранее занятый виоксом, немедленно захватил конкурент, препарат селебрекс; его не запретили, но производителей лекарств обязали широко информировать пациентов о возможных

опасных побочных эффектах. С тех пор любая реклама лекарства на экране телевизора неизменно содержит не только восхваление его достоинств – в чем главный смысл рекламы, – но и предупреждения о его недостатках. Вряд ли это ограничение нравится рекламодателям; но, как бы то ни было, продажи лекарств в США постоянно растут, и на рынок выходят все новые препараты.

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ БЕССМЕРТИЯ

Вообще-то, бессмертия человеку мало. Ему нужна вечная юность – никто не хочет вечной старости, бесконечного угасания тела и духа. Чтобы оставаться молодым – да еще вечно, – человек готов заплатить любую цену. За возможность овладеть заветным эликсиром молодости люди идут на обман, подлог, преступления – как солидарно свидетельствуют мифы древности и художественная литература.

Тем более странным был судебный иск за номером 652533, поданный в 2012 году на рассмотрение Верховного суда штата Нью-Йорк. В нем истец требовал привлечь к ответственности как раз тех, кто предоставил ему возможность кардинального омоложения – притом бесплатно. Еще более странно, что одно из первых сообщений об этом иске появилось в престижном научном журнале, «Nature», – заурядным мошенничеством такой журнал никогда бы не заинтересовался.

Но этот случай имел к науке прямое отношение. Его предыстория лежит в семидесятих годах, когда советский биолог А.М. Оловников выдвинул гипотезу о существовании в клетках фактора особого типа. Клетки взрослого организма могут делиться – воспроизводить себя – лишь определенное количество раз, после чего наступает смерть. Связано это с тем, что при каждом делении концевые защитные фрагменты главной молекулы жизни – ДНК – укорачиваются (такие фрагменты называют теломерами), и в конце концов информация, необходимая для воспроизведения клеток, оказывается поврежденной. Таким образом, срок жизни клетки ограничен заранее – длиной теломер.

Однако в некоторых клетках – например, клетках зародыша – допустимое количество делений гораздо больше, иначе зародыш не

смог бы превратиться во взрослый организм. Да и предел деления взрослых клеток меняется от организма к организму – у мышей, скажем, он иной, чем у человека. Значит, есть какой-то природный регулятор, который в некоторых случаях может добавлять к теломерам новые фрагменты – в этом и состояло предположение Оловникова.

Он оказался прав: об экспериментальном обнаружении фермента теломеразы в клетках сообщили американские ученые – профессор Элизабет Блэкберн и ее аспирантка Кэрол Грейдер в статье 1985 года. За это открытие и последующие исследования теломеразы они вместе с Джеком Шостаком были награждены Нобелевской премией по физиологии и медицине 2009 года. Оловникова в списке лауреатов не оказалось; зато родная Российская академия наук присудила ему Демидовскую премию 2009 года, не избрав, впрочем, ни академиком, ни членом-корреспондентом.

Раз теломеразы предотвращает укорачивание теломеров, а те, в свою очередь, защищают информацию, записанную в ДНК, можно попытаться регулировать предел, поставленный природой для деления клеток, с помощью регулирования активности теломеразы. Если удастся усилить ее естественную активность, количество воспроизведений клетки может увеличиться – в принципе, вплоть до бессмертия, – а при искусственном снижении активности воспроизведение можно остановить и, тем самым, клетку уничтожить.

На этом месте проблемой заинтересовались фармацевтические компании – замаячила надежда на создание «средства Макропулоса», пилюли, дающей бессмертие. Но интерес поначалу был слабым: во-первых, клетка – не организм, а во-вторых, как уже было сказано, человечество жаждет не бессмертия, а безостановочной юности. Наука, тем временем, продолжала заниматься механизмом действия теломеразы, и в январе 2011 года все в том же журнале «Nature» была опубликована работа, ставшая в этой области сенсационной.

Исследователи из Гарварда делали взрослым мышам, которые старели быстрее, чем обычные, инъекции веществ, активирующих теломеразу. Результаты были ошеломительными: у мышей появились явные признаки омоложения – кожа стала более упругой, клетки и ткани, уже было вырождавшиеся, частично восстановились, причем это относилось даже к нервным клеткам. Похожие данные

получили и другие научные группы: так, в августе 2012 года мадридские ученые рассказали, что после внедрения в организм годовалых мышей гена, кодирующего теломеразу, продолжительность их активной жизни увеличилась на 25 процентов.

Конечно, это – лишь отдельные эксперименты в контролируемых лабораторных условиях, причем с мышами, а не с людьми. Но такую прямую подсказку биотехнологическая промышленность упустить уже не могла. Калифорнийская компания «Geron», и ранее имевшая дело с веществами, активирующими теломеразу, разработала новый препарат – экстракт растения, используемого в медицине Китая и Японии. Препарат назвали ТА-65, и для его дальнейшего усовершенствования и продажи создали новую компанию с штаб-квартирой в Нью-Йорке – она-то и стала предлагать желающим пилюли молодости.

Естественное старение болезнью не назовешь – и поэтому ТА-65 получил всего лишь статус БАДа, биологической добавки к обычной диете. Проведенные на добровольцах испытания обнаружили улучшение функционирования иммунной системы, зрения, сексуальной активности (почему-то только у мужчин), кожного покрова и др., как сообщалось на сайте компании. Пошли продажи; цену установили сравнительно доступную: за тридцать капсул, возвращающих молодость, – всего порядка 200 долларов.

И все было бы хорошо, но в мае 2011 года компания пригласила на работу нового вице-президента – специально для завоевания зарубежных рынков. Ему предложили также самому регулярно принимать ТА-65, чтобы возможные потребители еще больше поверили в омолаживающие свойства препарата. Так он и сделал – а в сентябре у него обнаружился диагноз: рак простаты, после чего компания немедленно его уволила. Мало того, она подала на бывшего вице-президента в суд, утверждая, что он нанес ей убыток в два миллиона долларов, связав свою болезнь с ТА-65 в разговоре с потенциальными партнерами. Он, в свою очередь, подал в суд на компанию – так и появился иск за номером 652533. В самом деле, средство, позволяющее продолжать деление здоровых клеток сверх отмеренного им предела, может таким же образом повлиять и на клетки раковые. А уровень активности теломеразы в раковых клетках и без того гораздо выше, чем в здоровых. Потому-то раковые

клетки и размножаются почти бесконтрольно и безостановочно: они практически бессмертны – их теломеры хорошо защищены.

Судебный процесс завершился в 2014 году; по единодушному решению присяжных, компания была оправдана. Истец не смог доказать, что его болезнь вызвана TA-65. Сегодня те же тридцать капсул вечной молодости можно купить в Интернете за 100 долларов, а в России – за шестнадцать тысяч рублей; рекомендовано принимать по капсуле в день, если вам до пятидесяти лет. А после шестидесяти – по четыре.

TA-65 – слабый активатор теломеразы, найденный не с помощью драг-дизайна, а скорее того, что называют этноботаника, поиска биологически активных веществ в малоизвестных растениях. Систематические исследования химических соединений, взаимодействующих с теломеразой, начались несколько позже, но со временем сфокусировались на другом направлении – не на активаторах, а на ингибиторах. Ингибиторы теломеразы предполагается использовать в онкологии для подавления деления раковых клеток; один из таких ингибиторов, иметельстат (Imetelstat), уже дошел до второй фазы клинических испытаний. Разрабатывает его все та же компания «Geron».

Однако мечта о бессмертии не пропала; во всяком случае, маленькая компания в Рено, штат Невада, продолжает драг-дизайн эликсира вечной юности. В результате тщательного изучения более трехсот тысяч соединений исследователи нашли вещества, увеличивающие содержание теломеразы в клетке на шестнадцать процентов. Если удастся увеличить его на сто процентов, утверждает на сайте компании, старение можно остановить. А когда этот показатель перевалит за сто, начнется заветный процесс омоложения – а там рядом уже и бессмертие.

Не все ученые верят в эти проекты. «Магическая пилюля? – скептически отозвалась нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн. – Я думаю, что мы уже прежде были в такой ситуации миллион раз». И все-таки – а вдруг? Может быть, драг-дизайнеры снова преподнесут человечеству подарок, на этот раз – самый драгоценный. Хотя без судебных процессов, поверьте, все равно не обойдется.

Григорий Никифорович – биофизик, доктор биологических наук. Работал в научных институтах и университетах Минска, Риги, Тусона (Аризона) и Сент-Луиса (Миссури). Автор трех научных монографий и около 150 статей.

Автор и соавтор научно-художественных книг «Беседы о жизни» (М.: Молодая гвардия, 1977) и «Почти природные лекарства» (М.: Молодая гвардия, 1987). Под псевдонимом Ник Грегори выпустил детективный роман «Сорвать банк в Аризоне» (М.: Время, 2005). Публикации в литературных журналах: «Зарубежные записки», «Зна-мя», «Нева», «Иерусалимский журнал», «Вопросы литературы» и в сетевых изданиях. Живет в Сент-Луисе.

Немало лет он посвятил изучению творчества выдающегося русского писателя Фридриха Горенштейна и выпустил о нем книгу.

– Я не желаю твоего возвращения в СССР... Ты погибнешь там или проживёшь серую жизнь, будешь вечно бороться неизвестно с кем или выклянчивать своему таланту преференции у ничтожных людей, тут много всяких «или». Я предлагаю тебе остаться здесь, заниматься чем ты хочешь, иметь в друзьях и любимых кого заблагорассудится, наконец, думать так, как научен. Стать гражданином мира.

Андрей Оболенский

Ну что, брат Пушкин? Как твои дела?
Дети? Жена? Журнал? Дороговизна?
А здесь у нас одна сплошная тризна
И сплетни: тот не ту, не та дала.

Те же дороги, те же дураки,
Но бенкендорфы страшно поглупели,
Нам цапаться не нужен casus belli,
А мелочь жрет по-прежнему с руки.

Михаил Ковсан

О том, что его собираются убить, президент России узнал в четверг, в 20.12 по Гринвичу, во время прощального ужина с британским премьер-министром в лондонском Мэншн Хаус. Перед первым тостом президенту подложили несколько листов с текстом заранее приготовленного короткого спича. Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил еще один лист. На нем бледным шрифтом была набрана одна только фраза по-русски: «На Вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие три-четыре недели. Отмените все зарубежные поездки».

Андрей Остальский

Исходя из личных соображений и предав анафеме как крупных писателей диаспоры, так и литературную диаспору оптом, Быков, сам того, вероятно, не сознавая, поднимает довольно серьезный вопрос... Никто не понуждает Быкова любить Бродского, Довлатова, Лимонова... То, что он так зациклился на зарубежной русской литературе, скверно говорит не о ней, но о нем..

Владимир Соловьев

«Бродский был человеком с большими комплексами, неуклюжим, косноязычным, застенчивым, а потому – довольно высокомерным, – сообщает Пекуровская. – Если Довлатов чего-то не знал, он благодаря природному чувству юмора мог себя представить героем-неудачником. Для Бродского признать себя хоть в чем-то неудачником – большая трагедия».

Геннадий Кацов

Пастернак предпочел остаться объектом ненависти, травли, унижений, которые и свели его в могилу. Провидицей оказалась Цветаева, писавшая Борису Леонидовичу еще в начале 20-х: «Вы не израсхуетесь, но вы задохнетесь».

Давид Гай